КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1929

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 4

АПРЕЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1929 ЛЕНИНГРАД

★

ОТПЕЧАТАНО
В 1-Й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-31800. П.13. Гиз 31437.
Заказ 796. • Тираж 14.500.

Шпион.

(Роман.)

Николай Никитин.

I.

— Значит, поручик... Все кончено. Завтра...

— Да, господин полковник... Завтра...

Кафе сверкает белым лаком стен, овалом зеркал, обвитых резными гирляндами, белыми кадками, — в них зеленеют лимоны. Западное солнце — золотая радость — лежит в глазах у женщин. Уяздовская аллея дымится ароматами, весной, цветами, красивыми синими костюмами, серым фетром, свежестью перчаток, прелестью дня — надежд — любви. Крик газет, взгляды, шорохи весны делают мужчин сильнее, проще, а каждая женщина таит в себе какую-то тайну, какое-то большое позволение. Это обостряет каждый жест. Прогулка, газоны, скрипучий гравий. Каждая представляется желанной, и каждый хочет желать. Что желаю я? Я? Полковник Маклецов... Что я могу сказать поручику?.. Пора выходить из кафе... Я ничего не желаю.

Да... сегодня я себя чувствую плохо... Опять эта отвратительная соленая слюна. Тошно. Ноют ноги, точно исходил тысячи верст. И в голове так непонятно пусто — и тоже тошно. У поручика Михайловского розовое, как этот день, лицо... Какой пестрый, в искру, костюм... Милый Чичиков... Неужели я тебя вижу в последний раз? Какой ты курносый... ты... этот поручик Михайловский .. Зачем у него расстегнут пиджак?.. Тонкий пух лежит, как трава овсянка, по скулам и на подбородке.

— Поручик, вы бреетесь... дома? Сами?

Нет, еще хорошо. Еще звенит голос... Еще гитара... Ха-ха, молодость... Седые нитки... Играй еще, гитара... играй...

Поручик Михайловский смотрит куда-то вдаль — устремленно и пусто — и отвечает так вяло, как будто мысли у него не здесь. Как будто он уже далеко — где-то там, за тысяну верст.

Конечно, сам... Ты — все сам. Хозяин, мужик... Сзади кучерявятся волосы и падают космочками на мягкий воротничок, и на самом краю предательствует маленькая желтая полоса. Если сейчас обря-

дить тебя в рубаху, в дырявый картуз... поручик Михайловский станет парнем из деревни Сухие Броды... Да, конечно, из деревни Сухие Броды, где все так же клянут себя, жизнь, коров, власть, работу... Четыре Георгия, чин прапорщика, Галиция, кровавый Сан... Как все это было далеко .. Мечта — барин?.. Нет, мужик с блестящим погоном. О чем он думает сейчас?.. Я? Нет, он, он. Вот он идет молча, медленным, пехотным шагом. Какие шишки на ботинках!.. О чем он вспоминает — о деревне, о России ли, или о том неуклюжем пароходе «Саратов», когда везли их, как баранов, в грязный лагерь Торн... Что? Вы молчите? Армия Перемыкина... Наша народная армия. К чорту жидов, большевиков и монархистов! Да здравствует чистка! Да здравствует Савинков и демократия! Да? Так, что ли?.. Играй, гитара.

Или, может быть, Данциг... Этот аккуратный и серый город? Милый мой, не все ли равно, о чем мы теперь вспоминаем... Жизнь идет так, как она должна итти; цветы растут, как это предначертано господом богом... Вы можете их подрезать, пикировать, пересаживать, но вы не уничтожите жизни. Что ж, улыбка... Вот смеется эта блондинка. Это, конечно, над тобой, милый мой Михайловский... Над шишками твоих ботинок... Милый мой, ты не франт... Мировая демократия знает, что поручик Михайловский не франт... Начальник связи 1-го красного стрелкового полка... Псков... Балахович... Помнишь, какой ты был щуплый, когда колыванцы схватили тебя на велосипеде. Ты был тогда — «красный». За шинелью казенный пакет: «Товарищи пролетарии, немедленно обмундируйте сапоги»... Ну, что ж, ты быстро перекрасился, тебя обмундировали в английскую униформу, и ты стал благоденствовать... Опять — «господин-офицер», начальник связи 3-го колыванского...

Да здравствует свобода, родина, революция... Но...

— Слушайте, Михайловский. Сегодня у капитана Минуты вечером еще тридцать тысяч марок... Хорошо... Вооружение... Сволочи эти паны, дадут ли...

— Все в порядке, полковник. Гранаты, револьверы. Я знаю.

— Вы все знаете... едва ли... Когда вас обстреляли в прошлый раз... с чем вы вернулись? С простреленным плечом. Милый мой, деньги есть деньги. Хозяин кормит собаку только до тех пор, пока ей не обломают ноги... А там... крышка.

Что ты смотришь на меня собачьими глазами? Хочешь возразить... Ну что? Стал тише. Ты молчишь. Дисциплина, голубчик. Смотри веселее... Я ему улыбнусь. Ну вот так, улыбайся и ты. Это лучше, чем скулить.

— Вы уж лучше слушайте, Михайловский... Сегодня здесь мы видимся в последний раз. Деньги вы получите сегодня специальным пакетом. Вы... с Мошниным, Освальдом Тома и Якимовым переходите у Стародуба. В погребке они вас будут ждать, у пана Пошиманского. В деревне Рли первая связь... Николаев Филипп... особенно не верьте, Николаев — это вторая очередь... Зовут его Филиппкой, может служить.

в Чеке. Спросите сперва Серого... Ищите Серого. Иван Дрогин... Кличка — Серый... Дезертир, живет в лесу... конокрад... Ищите осторожно... Отсюда пойдет местная вербовка. Дезертиров на матушке Руси — полная мошна. Главное опасайтесь столкновений. Я отправлюсь со второй партией. Подам знаки. Без меня не делайте никаких больших актов... Конечно, если возможен поджог, займитесь... Справляйтесь обо мне на хуторе... За Касьяновым... Хутор беженца Стефана Тома, если потеряете Освальда... Или в деревне Рли. Вернее — на хуторе.

— Я хотел спросить, сколько будет у нас...

Что за нерешительный тон? Ты боишься за наши силы? Надо предложить тебе папиросу... Однако однако... Дисциплина, милый мой. Впрочем... нечего пугаться. Ах, хоть бы на сегодня ты переменил воротничок...

Что он удивился?.. Да, да, ты смущаешься, что ли, поручик? Ничего. Все обойдется. Смелее... Хорошо, что он умеет молчать. Скоро не будет ни блестящей Варшавы, ни лакированных кафе, ни нежных душных, как трава, пани... Польское местечко Стародуб, переполненное тмином и старыми еврейками... А потом? Что потом? Потом Россия развернется перед тобой... Болота, вереск, ольха, кособокие деревни. Лирика, бандиты, матершина...

— У вас есть родные?

Мы идем медленно. У меня кавалерийский косолапый шаг, и поручик Михайловский старается попасть со мной в ногу. Он сбивается. Это мешает ему. Или — он отяжелел от мыслей?.. Он робеет. Он ничего не замечает. Сигарета обжигает ему пальцы.

Приятный дым, чудесный день, играют стриженные липы... Кричат кучера фаэтонов, лошади хлопают ушами и бич торчит весело и прямо.

— Что вы молчите, Михайловский?.. Что с вами?

— Отец... — улыбается поручик и чешет за ухом, каскетка у него сдвигается набок: — отец, думаю, жив ли... Грыжей страдал. Еще брат Николашка. Теперь уже большой... Позвольте, когда мы были в девятнадцатом под Псковом, ему было тогда четырнадцать, что ли, или пятнадцать?.. Да. Сейчас парню двадцать, девятнадцать. Полковник, простите, а вы... У вас кто-нибудь есть там?..

— Там? Нет, милый мой, ни там, ни здесь. Я счастлив, я один. Ну что ты?.. Тоже улыбаешься. Ведь ты же ни черта не понимаешь в этом... в этой собачьей жизни. Дурак

— Ну, а Николашка? Что он делает?

— Не знаю... Крестьянствует... Что ж ему делать?

А ты не мечтаешь. Впрочем, о чем тебе мечтать, носи свой потертый воротничок. Нет, ты мечтаешь. Ишь, завертелись в глазах складки... Пахота, деревня, земля, хлам... Вот я тебя... Прыгали за лестящими офицерскими шнурками. Ничего, ничего, из тебя вытрясут мечты, как пух.

Ты — углублен в себя. Стальной, походный портсигар. Склонив голову набок, как птица, поручик снова закуривает.

— Итак... Михайловский... Запомните еще раз. У капитана Минуты... Знаете все? Дальше. Стародуб... Да по нему не болтайтесь. Сидите крепче в кафе Пошиманского. Последняя явка. Заберете дополнительно гранаты. Удостоверения написаны на полотне? Так... Зашейте их в шинели. Аккуратно. Дальше... Ждите меня в районе Рли. Соблюдайте порядок, осторожность, информируйтесь. Со мной переходит вторая группа. Вы, кажется, интересовались... Ну хорошо. Мой отряд соберется из тридцати человек... Полковника Гартвельде тоже... Но это уже на другом участке... По границе за эту весну войдет две тысячи человек... Гранаты, вооружение, люди. В районе Рли мы найдем, наверное, остатки отряда поручика Краута. Вы довольны?

В этом году очень красивы каштаны, — хорошая, удачная весна.

— Господи...

У него заблестели глаза... он раскис.

— Господи... да ведь мы.... Ведь это чорт знает что... Ведь сперва одна губерния, потом другая, потом.... Ведь это, господин полковник, кулак...

— Осторожнее, на нас обращают внимание.

— ... Ведь им крышка!

— Едва ли... Едва ли...

Скучно. Приятно, — поручик остолбенел. Он идет рядом, как дурак, облитый ледяной водой. Надо его успокоить. Люди любят ласку и внимательность.

— Вы понимаете, Михайловский... Я шучу, конечно. Операция длительная, и нечего кричать с бухты-барахты.... Словом, Карапет, не волнуйся.

— Так точно, господин полковник.

— Ну вот, возьмем экипаж... На Холодную.

Бич щелкнул упрямо... Лошадь распустила живот. Варшава, Варшава, чудный край .. Весело несется коляска. Мы молчим.

Поручик попрежнему устремлен вдаль и даже не замечает моих взглядов.

Огромны, нелепы эти комоды. Здесь у пассажей еврейского рынка — мы расстанемся. Михайловский прыгает с пролетки. Я сойду вместе и обниму его.

— Дорогой мой, счастливого пути... Значит вы идете завтра. Никаких перемен. Еще раз слушайте: ваше основное дело — организовать и найти связи. Через неделю... через полторы — ждите нас. Словом, к концу недели старайтесь не отлучаться из Рли. Ну, не волнуйтесь, я приведу хорошую компанию... Ну, поцелуемся... Итак, на хуторе у Тома.

Он опять молчит.

— Значит... до встречи в России.

Он спокоен.

— Не впервой, Иван Васильевич... Встретимся.

Он равнодушно зевает и смотрит с улыбкой на усатого кучера.

Скотина, — мне остается наспех пожать тебе руку и сесть в экипаж.

Экипаж плавно трогается. Михайловский молчит. Кругом него кучками горланят евреи с чепухой на руках. Кричит и суетится Брама. Бегут бабы с плетеными корзинами.

В обвисшем, мятом костюме он стоит неподвижно посреди рынка, — у него прилипли подошвы к этим широким плоским булыжникам. Смеется старая еврейка в парике.

Мягко качаются кожаные подушки экипажа. Кажется, я краснею. Стыдно. Поручик мог заметить мои играющие слова и этот жест... ручкой.

Экипаж плывет в зеркалах кофеен. Цокает усатый кучер. Греет солнце. Скоро кончится все это... Я сниму свою мягкую фетровую шляпу. В зеркале на углу опять мое лицо — слегка припудренное... Я не буду бриться каждый день.

— На Электоральную...

На тротуарах по-весеннему снуют люди. Нарядные дамы плывут в духах. Орут газетчики:

— Новый заговор коммунистов!.. Англия предполагает... Новый заговор!..

С удил лошади капает пена.

Медленно движется серый узкий аэроплан с польским военным знаком.

2.

Здесь?.. Дожидают ли они меня?

Над головой висит золотой крендель. Золото промыли дожди, на завитушках скользит самое настоящее дерево. Устал. В последние дни совсем измотала Варшава... Капитан Минута готов срывать проценты и с контрабандиста и со шпиона... Просто жмот. Ругался из-за копеек, как на базаре.

Лампочка освещает крендель... Что же я медлю? В погребе кто-то затянул романс.

Не хочется уходить из тихого, темного города, пропахшего тмином, деревом, нуждой. Два еврея везут в шарабане бочку с селедками. Их деды жили в Стародубе, их дети... Впрочем, кто знает, может быть их дети живут сейчас в Москве. Пишут, что оживилась Тверская и в ресторанчиках поют цыгане. А он, полковник Маклецов, скитается по захолустьям.

Стародуб... И рядом — граница. А там еще тысячу верст — и трамваи, цыгане, автобусы, концерты, странный мир большевиков.

Смешно. Хорошо бы сидеть на крылечке и только глядеть в это темное небо, знать, что жизнь устроена, быть довольным — и не тащиться в эту темную, ночную пропасть.

Звякнула дверь. Согнутая крючком фигура...

— Что за лайдак здесь слухает? Боже мой, я не узнал пана полковника... Извините, пан полковник. В такую мглу можно потерять самого себя... Пожалуйте, пан полковник, вас уже ждут и славно веселятся.

— Это ты, Бронислав...

— Это я, пан полковник. Осторожнее, не зацепитесь о ступеньку.

Он распахивает дверь и кричит в погребок:

— А вот... и пан полковник

В маленькой комнате чад. За столом — Петров, Свидерский, тонкий и изящный Крон... Петров, конечно, пьян... Свидерский со своей гитарой.

— А, пан полковник...

Они хохочут и лезут целоваться. На столе колышется огонь свечей. Вспыхивает рыжая голова девушки. Она сидит в углу. У нее жадные и пестрые, как перстень, глаза. Она молчит. Перед нею тарелки с объедками, узкий бокал, скатерть, залитая красным вином. Около стоит высокий и плотный брюнет — руки в карманах. Мохнатая английская куртка. Кажется, что там он нащупывает револьверы. Он улыбается? Да это мне!.. Он толкает лакея... Это, очевидно, о нем говорил капитан Минута.

— Не путайтесь, пан Пошиманский, перед моими глазами. Вы и есть тот самый начальник, которого мы ждем? Да не заслоняйте от меня полковника, пан Пошиманский... Здравствуйте, что вы мне скажете, полковник?

— Стародуб — прекрасное начало.

— Прекрасное начало дальше. — Однако брюнет весело улыбается: — Ну вот, теперь мы знакомы... Я люблю официальность, господин полковник. А вообще я — Цвибак Арон.

Не напоминает ли это испанскую мелодраму? Испанец Цвибак и испанец Маклецов.

— Да, я знаю... вы поведете нас.

— Капитан Минута вам сказал?

— Да... сказал. Водки? Спасибо, Свидерский.

Теперь папиросу... Сколько ей? Лет восемнадцать. Что за рыжая девка?

— Как вас зовут?

Молчит... Облизывает рот... Глаза у нее вставлены. Или это нарочно придумано? Все сделано красками.

— Ну, как же вас зовут?

— Венера.

— Венера?

Она, спокойно подбирая широкий рукав шелкового халата, потянулась за папиросами.

— Вы удивлены, я сама так назвала себя. Вам кажется это безвкусным? Я после сладкого всегда курю.

Я удивлен. Это какая-то бессмыслица. Я ничему не удивляюсь. Но ты уже отвернулась к Петрову. Я тебе неинтересен. Вот как.

Откуда же она? Может быть, ее выбросили из Варшавы как последнюю, больную дрянь? Дым, смешное и дикое имя — ей приятнее этот опухший пьяница?

Нужно почувствовать себя хоть немного пьяным.

— Эй, еще графин чистой, пан Бронислав... Выпьем за вашу страну — лакеев и женщин. Я сегодня именинник... Поручик Петров, Венера, за вашу страну

— Польша — не моя страна.

— А где же ваша страна?

— Нет... потеряла... Но вы пейте, пейте, все равно.

Она обняла Петрова.

Я стою над ними с бокалом. Она может подумать, что я хочу ей понравиться. Да разве можно стараться для этой девки?..

— Пейте, веселитесь... Женщина — это последнее счастье.

Чего я злюсь? Зачем я швырнул в угол бутылку?

— Закрывай ставни. Мы переходим в кабинет... Что? Водку? Да, и водку.

— Чисту приказывает пан? А то старку, ангельску, перлувку?

— Катай все. И перлувку, и ангельску, и чисту, поджарь миндаль. И фисташки. И шато д икем дамам. Лед.

Какая у Цвибака наглая, красивая морда... Спекулянт... Масштаб: Берлин — Варшава. Контрабанда. Обвесил себя «диамантами» по волосатому животу и спине... На груди, подмышками — нитки, похожие на морские жемчуга... Искусство Парижа. Все ложь и дрянь...

— Господин Цвибак...

Но Цвибак не слышит. Он притворяется или действительно заснул на этом сальном диване? Впрочем, ему не впервой шагать через границу... Как отъелся... Тебя хорошо кормят советские проститутки... ты им несешь диаманты, — на себе, в карманах... кокаин в желтом, как несессер, чемоданчике... Я стучу ножом по столу.

Это нехорошо. Я распускаюсь.

— Господин Арон Цвибак! Хорошая кожа! Английская? Очень хорошая. Вы уверены, мы благополучно перейдем?

Он делает вид, что спал...

— За переход? Конечно, да... Но кто не рискует? Даже лошадь рискует. Я обнадежен за вас, господин Маклецов. Такая чудесная гвардия, что я падаю под стол от восторга.

Он зевает. Или это новое притворство?

— Я знаю, полковник, превосходный путь, — просто облизать пальчики.

Он хлопает меня по плечу.

Что за хамство! Я не приглашал тебя к фамильярности. Мы нужны ему так же, как и он нам. Почетная охрана...

— Что ж... я рад...

Цвибак пьет водку и равнодушно разыскивает в салате огурец.

— О, полковник, я уверен за себя, как за ходячую крепость. Мы развесим их кишки в случае чего. Я сам бывший военный человек, мой кольт имел хорошие дела. Какие ноги!.. Обратите внимание, эти ноги имеет эта женщина. Это не ноги, это австралийский банан. Еврей — это энциклопедист, не смейтесь, господин Маклецов, кой-какое образование мы получили тоже.

— Энциклопедическое.

— Нет, это сама жизнь. Хотя моя профессия приказывает мне молиться богу, и я верую в это, как тысяча евреев... Но... я — бывший унтер-офицер. Я тоже имею фантазию.

— Значит бог есть....

Шелк рубашки окружает ее. Вот она повернулась. Ее спина как легкий взмах шашкой. Взволновались складки.

— Поручик Петров, позвольте мне поцеловать вашу даму.

Действительно, контрабандист прав, ее кожа пахнет бананом. Только не бери меня за уши. К чорту, сволочь!

Ее лицо почти призрачно. На красных маленьких губах рана. Тошно. Подкатывает опять соленая слюна. Я толкнул... Да, я ее толкнул. Она сжала рот от боли, но никто не слыхал. Она смотрит на меня... Я не знаю, что со мной. Ты поняла, ты отвечаешь. Ну, я молчу... ну, что тебе надо?.. Что с тобой?

Ты лучше. Дай мне прижаться. Как лошадь, она передернула спиной. Ты шепчешь: «здесь лакей»... — Хорошо, я не буду нервничать.

Мысли несутся — вино, бутылки, лакеи... Я опускаюсь на диван, ближе к ее спине... Лакей... А через месяц спросит капитан Минута: «Послушайте, лакей Маклецов...» — Лакей союза родины, защиты, свободы... Неужели мне не удержать смех?.. Ее рука на моем лице. Ничего, никто ничего не заметил.

Надо встать, усмехнуться и взять бокал.

— Ваш бокал, Цвибак.

Цвибак тянется с бокалом. Нет, я хочу чокнуться с ней. Это она удержала меня от истерики. Она ничего не сказала. Но почему мне так неприятно, как будто действительно я услыхал от нее: «Ну да, не воображай о себе... Ты, конечно, лакей».

Цвибак налег на плечо...

— Что же вы не слушаете, господин полковник?

— Нет, я слушаю, Цвибак... Я слушаю.

Цвибак грохочет, точно у него в утробе бьется жеребец.

— Значит для Цвибака бог есть... Так, Цвибак?

— Чека есть для Цвибака, господин Маклецов.

Чека!.. Почему так громко? Вот даже обернулся Петров. Цвибак опустил глаза. Это мне не нравится. Знаем мы эти сказки. Скользишь по ребрышку... Чорт знает, может быть через два часа за ручьем господин Цвибак вытащит свой кольт, «имевший уже дела», кусты оживут и нам на плечи сядет застава в красных звездах? Да кстати... звезды?

— Готовы ли звезды? И красноармейские значки?..

Офицеры гогочут, им бы только трепаться с бананами. Чему смеется Петров? Губы Цвибака шевелятся. Вообще, что значит капитан Минута?.. Что может знать наверное капитан Минута?

Сейчас надо выйти. Подышать ночью. Там — на крыльце.

В зальце темно. Горит дежурная лампочка. Как скучно храпит Бронислав за стенкой. Уж не дочка ли ему эта рыжая Венера? Классические ноги... Сюперьер... А что если Цвибак — чека?.. Едва ли. Впрочем, что может знать капитан Минута! Чудаки, провинциалы... Восстания, поджоги, террористические акты не ближе пятидесяти верст от границы? В поля, в леса, где не проскочит заяц, — и оттуда в города с гранатой, с фальшивкой в кармане... Там можно — «и далее». Непримиримая борьба... «Где можно — открыто с оружием в руках, где нельзя— тайно, хитростью и лукавством...» Семнадцатый век? К чорту мысли!

Два часа. Пора выходить. Надо выгонять их из кабинета.

Довольно наслаждений.

Рыжая Венера сидит на столе, поджав ноги. На ней только туфли.

Два часа.

Щелкнула крышка хронометра. Звонит сигнал. Венера прижимает к груди рубашку.

— Поручик Петров, поручик Свидерский, лейтенант Крон...

Рыжая Венера целует в затылок лейтенанта.

Рыжая Венера выходит со свечкой, она накинула короткое пальто на голое тело. Она светится, как мягкий пахучий плод из отдирающейся кожуры.

— Прощайте...

Это кому — я сказал? Рыжей Венере...

Чорт возьми, а может быть я тебя никогда не забуду! Кто знает, что случится в последнем рейде. Вот я взгляну на тебя, и в этом все мое счастье, мое наслаждение. Мысли мои, моя фантазия, наверное, лучше, чем лапавшие тебя руки. Ну, ну, до свидания, мое ненасытное счастье!

Весна. Каштаны. Варшава, чудная Варшава. Она далеко. Теперь все далеко... Прощай и Стародуб. Дома стоят, точно колоды. Мертвый город, трава пахнет, как ладан. Венера смотрит с крыльца. Надо итти в переулок и остановиться у изгороди... Ну да... я вам приказываю. Пальцы в рот, господа. Слушать команду! Много пьете, Цвибак? Вы не желаете ли облегчиться?

Нет, Цвибак, конечно, не желает.

Вот, там уже ждут люди.

— Господа, тверже шаг!

Кругом ночь. Согнувшись в сырой крапиве, баня как старуха. Около бани — несколько человек солдат. Вот он, один из них — большой, огромный, точно пятно, — бросил папиросу. Сверкнули искры в землю.

— Это я... фельдфебель Петельков, господин полковник.

— Все в порядке?

— Так точно... Так что десять человек... Ванька — болен...

— Какой Ванька?

— Господина поручика Петрова бывший вестовой...

В темноте шопот. Сырая трава шаркает и хлещет по сапогам. На горизонте желтые пятна. Ничего, еще время есть. Скучно.

— Сознайтесь, Цвибак, втайне все евреи большевики?

— Что называется тайной, господин полковник? Евреев много били...

Вот уж в темноте кордоны. Однако трясет лихорадка. Что это — страх? «Скорее формальности... господин капитан». Мы вас не знаем, и вы нас не знаете. Мы никогда не были знакомы, мы никогда даже не видели друг друга. Я не знаю ни вашей формы, ни ваших любезных глаз, ни вашего шопота, ни значков вашего отдела. Ничего... Мы — никто... и идем в пустоту. Мы топочем, точно стадо. Мелькнул столб... Россия... Скорее вниз в поле, направление на синий лес.

— Цвибак, не свистите...

Что знает о Цвибаке капитан Минута? Если все провокация? Если этих пятнадцать человек сразу скосит пулемет?.. Может быть, Михайловский уже в подвале пьет советскую воду?

— Цвибак, куда вы смотрите?

— Что за нервности, полковник!.. Человеку хорошо, — человек свистит и смотрит. Я замечаю вашу нервность.

— Не рассуждайте. Теперь рассуждаю я. Крон, передайте, чтобы сзади прекратили галдеж. Проверьте оружие.

Какой-то сантиментальный осел с границы машет фуражкой. Хорошо, что лес. Душно и сразу темно. Когда выйдем к линии надо разбить людей на три группы. Одну пустить вперед... выделить дозор... Две другие — с флангов... Опять разговор. Тише.

— Крон, позовите ко мне офицеров. Я назначаю вас своим адъютантом... Вы слушаете?

— Так точно.

Однако у тебя дрожит голос. Боишься... Ничего...

— Цвибак, вы следите за направлением...

В половине третьего мы должны быть у берез. В три сорок проедет разъезд... В три часа сорок? Значит в три сорок я пропущу первую группу. «Часовые сменятся в три сорок». Так... и проедет разъезд... И второй разъезд? Так... очень хорошо... Значит за вторые пятнадцать минут я пропущу другую группу... Хорошо. Вот уже Крон...

— Так, господа... Вы получ ете задание здесь. На месте никаких объяснений. Поручик Петров, вы командуете первой группой. Свидерский — второй... Почему перемена?.. Потому, что другое направление. Нас ведет Цвибак. Путь наиболее безопасный. Если не случится экстраординарностей, мы имеем пятнадцать минут свободного времени...

— Как, значит через пятнадцать минут?..

— Не через пятнадцать...

— Значит не Соймским болотом?..

— Да, не Соймским.

— И мы там?

— Поручик Петров, не перебивайте меня... Итак, вы перебегаете от берез до канавы за пять минут... Не встречая никого, вы сразу удаляетесь в лес и порываете связь со мной... тыла вы не знаете... Обходите населенные места, держитесь севера. Смирягин в вашей группе знает местность, как свои пять пальцев. Уйдя вглубь на сорок верст, вы рассеиваете группу в Мытищах... Селитесь здесь... или на хуторах по-двое невдалеке от Касьянова... В Касьянов не заходить ни в коем случае. В районе первых тридцати верст уничтожайте всякую опасность... И ждите меня. Если меня не будет... ждите новых указаний... Теперь — Свидерский... Если группа Петрова наткнется при первых же шагах, вы, ничего не ожидая, ведете наступление на чекистов. Никакой пощады! Вы должны прорваться и истребить. О раненых не беспокойтесь. Я уведу их обратно в Польшу. Не рассуждая, форсированным маршем в Громовские леса, север Святодуховского уезда, — там задерживаетесь и рассеиваетесь в районе Мытищ и деревни Рли... Ищите родственников, бандитов и дезертиров. Установите в Рли связь с Михайловским. Если он там... Если, конечно, он там.... Впрочем, глупости... Ждите там меня или моих указаний... Если же Петров проходит спокойно, Свидерский идет за ним через пять минут, и если сопротивления нет, то в тридцати, в сорока шагах ждите меня, маскируясь. Я прохожу при вашей поддержке, если понадобится; если же вас заметят, то я немедленно поддерживаю вас... Я с вами связан... А вы, Петров, забудьте о нас, вы идете только вперед. Ну, счастливо! Все в точности объясните взводным и людям. Ни пуха и ни пера... Дайте папиросу... Что вы шепчетесь? Свидерский... Какое безумие!..

Чорт возьми, почему мы свертываем сразу вправо и куда идет эта канава?.. Здорово вязнут ноги. Однако он идет так, как у себя на дворе. Канава влево — и мы тоже... А дальше — яма... А потом Цвибак выскочит, сверху же нас забросают гранатами... Опять стоят... Как я отстал от них! Свидерский нервничает. Чорт! какая глина, они размесили ее... Догоню. Надо спускать предохранители. Странно, Цвибак опять остановился... Что такое? Люди уже начинают переглядываться. Не прошли ли мы... и не лезем ли мы прямо в капкан? Небо бледнеет. Синька ползет с востока. Цвибак опустил голову... Зачем ко мне идет Петров.

Что вы?.. Что вы смотрите?

Ничего, передернул плечами, скрипнула кожа куртки... Переглянулся со Свидерским... А опять то же самое... Безумие? Может быть, безумие... О чем они шепчутся?.. Что? Они оба подходят к Цвибаку, правый локоть прижат к бедру. Сказать им — не нервничать — или выждать?.. Нет, посмотрю... Может быть, еще не поздно. Да, посмотрю...

Цвибак ничего не чувствует, его голова исчезает в тумане. Странная голова огурцом, вот она идет вглубь, в плечи... Сейчас они возьмут его под локти и бросят оземь. Цвибак приседает, это Петров сжал его за плечо... Куда они пошли?

— Ты долго еще будешь стоять, паршивая морда?

Кто это кричит? Петров.

Или это ветер трогает лес?.. Нет, я распустил вожжи, я сейчас соберу всех. Кончено, кончено, Цвибак упал... Сейчас. Они увидали. Яма нарочно. Сопротивление бесполезно.

Они возьмут нас живыми и будут пытать на допросах. Мы попались. Стрелять в нас нет расчета. Сейчас нам крикнут о сдаче. А мои дураки — бросят гранату или сдадутся?

Кричат. О сдаче, что ли? Наконец-то...

Ничего, я спокоен. Еще есть время. Еще можно посмотреть вблизи, — я всегда успею, прижав мушку к губе, надавить курок.

Да не осень ли?.. С осины сел на плечо лист. Странный лес, даже весной не фыркают тетерева.

Кто-то крикнул:

— Чемодан.

Я уже ясно слышу.

Сюда бежит Крон. Паника?

— Крон! Что с нами?

— Он не хочет итти, господин полковник.

— А, я теперь понимаю. Вот как, он не хочет итти...

— Он забыл чемодан.

— Какой чемодан?..

— Маленький чемодан. Его чемодан... с контрабандой. Английский.

— Диаманты?

— Да, диаманты... диаманты...

Крон суетится, как портье или лифтер. Ну, мы сейчас пойдем.. Мы сейчас разберем... Однако этот Цвибак умеет реветь. А они смотрят, как бабы на базаре.

— Это она... Эта рыжая грязь открывала мой чемодан и положила туда салфетки. Это...

Рыжая грязь... Она? Как бы я тебе размозжил голову! Чорт, я так стиснул зубы, что передний опять заболел. Он шатается в десне, точно отбитая от забора доска. Чего я разозлился? Ну, пусть рыжая грязь! Стукнуть бы его в затылок.

— Это — она гнилая проститутка!..

— Цвибак!..

— Пусть она засунет их в живот, я разрою ее насквозь.

— Цвибак!.. Или вы встанете сейчас, или...

Тебе нравится револьвер?.. Хорошо, ты уже поднял голову, но за два часа твоя морда уже обросла шерстью. Нет, это рассвет.

— Цвибак, я говорю второй раз.

— Я не могу итти...

Ты не можешь итти?.. Обратно? А тебя не разыщет Минута? Разве ты далеко зашел?..

— Поручик, возьмите его.

Так, ты поднялся.

Хорошо, я иду, но только до здесь... Только — до здесь. Я вернусь к этой стерве, я не могу...

Жалко. Кругом смотрят глаза, а я с тобой разговариваю. Люди. Да, мы стоим посредине, сейчас выхода нет. Надо, чтобы каждый понял мою руку С этой минуты все — здесь, в моих пальцах. Сжать кулак. Люди. Это ничего, это помогает, когда злость бежит откуда-то со спины и бросается в голову сквозь горло. Вот теперь. Так.... Все-таки у меня сжимаются глаза...

Хороший удар, у него здорово скрипнула челюсть.

— Не только здесь, но и там... Я отпускаю вас с пятой советской версты. Понял, болван?

У него дергаются плечи. Да и у меня... Цвибак забыл про диаманты. Тело — как мешок. Ничего. Холод за спиной. И ноет в груди, что при спуске... Молодцы Они хорошо понимают приказания. Уже пошли. Бегут. Два тридцать. Петров хромает. Еще не залечил ногу... Уйдет ли он в этом году из-под пули, как в прошлом?.. Прижались к земле... Может быть... что там мелькает? Ветер, ивы... Низко упали ветви, наверное в воду. Тихо... Это — ветер... Хорошо, что Петров идет сзади. Болтает гранатой. Мальчишка. Снова легли... Отчего в кустах серебрится? Воздух ли... ветер?

— Цвибак, что это — кусты?

— Кусты есть кусты...

Однако Крон посинел.

— Крон, первый раз. Не бойтесь. Цвибак, отпустите мою руку. Вы видите, все спокойно.

— Ой, лучше бы мне не видеть. Чтобы я когда-нибудь связался с целым по[illegible]ком.

Свидерский обогнал первую группу... Дурак! Кавалерист! Ему бы нестись на пятьдесят шагов впереди сотни, пригнувшись к лошадиной шее... в правой руке шипит шашка под мордой коня и сзади рассыпанная линией лава казаков, и дикий крик из глоток, копыта, храп коней... А-а-а!.. А-а-а!..

А-а-а-а-а-а!

Чорт!.. Это, кажется, крик? Да! Это Свидерский танцует со своими на горке.

А-а-а!..

Что за бред?.. Я сплю?.. Или в «Скала» седьмой номер — данскозак? Пахнет духами. Аплодисменты...

Огонь. О-г-о-нь! Нарвались. Вижу ли?.. Чорт, чтобы разодрало мне глаза. Где же мои?

Да! Да!

Еще раз фыркнула, как кошка, граната.

Да!

Да! Мы уже на поле. Как это случилось, что Цвибак выскочил вперед с кольтом?

Цвибак, Цвибак... Он стреляет всю пачку... Молодец!

Кто со мной? Нет, Крона нет.... Наверное, в канаве. Не пошел.. Испугался. Белые штаны. Педераст с курчавым затылком!

Ложись. Стреляй залпами на кусты.

Кто со мной? Петельков... Колыванский обоз? Ничего. Закусил нижнюю губу. Зверские, сладострастные глаза.

И у меня судороги. Венера!

Третья обойма вон... Четвертая. Вставай! Свидерский забегает вбок.

Какие ивы?.. Ветер или воздух?

По ивам. Залп. Пошли.

Молодец фельдфебель Петельков!.. Вешал во Пскове? Вешал. Вырезал звезды? Вырезал. Белая гвардия идет...

Неужели у меня нет ног? Спасение только впереди. Или петля.. Пуля. В глотке застрял комок. Надо сказать: бить по иве гранатами.. Но где же голос? Как будто кричишь во сне.

Все вперед, продираясь сквозь гущу... Кругом треск. Мы бежим в лес, как звери, стиснув зубы. Где же зуб? Зуба нет. Черные ногти в земле и во рту песок. Гравий... Что это? Слюна с кровью.

Остановлюсь. Послушаю. В ладони раскрошенный зуб. Разгрыз. Это тогда перед горушкой на Венере, когда судорожно работал револьвер. Зуб шатался, как доска.

Прощай, зуб. Я один. Сзади — безмолвие. Передних мне почти не слышно.

Вскоре здесь залает собака и, понеся нос по земле, помчится вдоль розовых, как женские ноги, сосен.

Надо осмотреть местность... Вы последний, господин полковник. Вы отвечаете за весь рейд...

Они вправе ловить, они хорошо сражались.

Много дичи, много ветвей, много тропинок.

Люди ушли туда, сюда, эдак. Я один. Я остался... Растеряются собачьи ноздри. Собака закинет морду и залает в небо. И, взъерошив хвост, забьется собака, нервничая на натянутом ремне чекиста.

Вот лес стал просторнее.

Я пойду ароматными коридорами до мытищенских пустошей. В ушах еще играет музыка схватки. Но в памяти ни одного лица: сплошные носы, крик, широкие ямы вместо глаз. Будто я долго глядел на футуристические афиши... Бой — это наклеенные на плакат куски и части.

Это — родина.

Надо взглянуть на карту... Пунктир — болота, кружки — леса... Здесь выход на шоссе. Надо итти боковыми дорогами.

Здесь межевая канава. Перепрыгнуть... Где этот шум? Выстрелы. Что это? Тарахтит. Сердце?.. Нет, это где-то там, за лесом. Едут на телеге. Придется свернуть в лес...

Итти вдоль дороги, кустарником.

Еще сырая трава. Вот дорога скользнула вправо. Опять канава. Весь бок ее порос опенками.

Из-за просвета елок ничего не видно. Да нечего и смотреть, — телега едет прямо на меня. Прятаться нельзя.

— Стой, ребята ..

В телеге два красноармейца.

Лошадь лениво машет хвостом. Надо стать на дороге.

— Чего тебе?

— Подвези, товарищ. В Касьянов, что ли?..

— В Касьянов... Садитеся.

Красноармейцы смотрят подозрительно.

— Товарищ, а вы откуда?..

— Грим возили в Метелкино... Там в батарее спектакль...

Метелкино... батарея.. Это, очевидно, младший.

— Так...

Едут молча. Бородатый солдат — тот, что постарше, — вдруг соскочил с телеги. Держит лошадь на вожже. Другой побледнел.

Они боятся меня...

Надо решать. Иначе донесут. Сбросить их в лес. Пусть гниют. На лошади добраться до К сьянова. Там, не доезжая, можно ее оставить.

Да, конечно, надо... Именно так.

— Ну-ка, слезай с телеги... Здесь косогор.

Косогор... Косогор.... Это мне. Знаем мы твой косогор.... Готово... «Здесь, ты говоришь, косогор?»

— Не дергай вожжами. Надо спрыгнуть. Так...

Только два выстрела. Да это проще простого! Пожалуй, кто-нибудь жив. Чорт с ним, его счастье.

3.

Что?.. Что?.. Как горячо лбу.. Да это машет тот с бородой... Родимое пятно... Культпросветчик... Знаем, знаем ваш грим... Чекист. Следишь, предашь...

Пуля... Стой! Извозчик, стой!.. Как тебя?... Как тебя там?

А-а-а ..

Падаю, кончено. Погубили. Это его руки... Нет. Совсем нет. Теперь уже не его. Мягкие, горячие. Точно рыжие котята.

Обнимай! Обнимай меня крепче, Венера! Души меня... Меня заливает красным. Котята... Котята...

Что?.. Что?..

Да... Совсем не то. Зеркало в оловянной оправе. Сверху щурится Ленин. Или что? Крестьянин подает руку матросу.

Очень хорошо. Это — солнце. А, это солнце! Это оно обливает голову, как из чайника... Надо вставать... Третий час.

Сколько я спал? Часа четыре. Да. Крепко, хорошо. Хороший день.

Надо умыться. Пойду вниз.

Но впечатления сна еще стоят. Они прозрачные — как стекло. Только ли сон? Разве один сон? Нет, ведь я все-таки убил... Сразу двумя выстрелами двоих... Лошадь в березняке под Касьяновым... Как она пошла!.. Она пошла — тихо и спокойно, как старик... Пошла домой. Все-таки неприятно... Грим. Грим. Грим. Ничего не грим... Наверное соврали, наверное чекисты... Пусть гниют... А если не чекисты?

Лестница скрипит под ногами, и этот скрип отдается, как какая-то боль. «Вдруг не чекисты?.. Конечно, не чекисты. Действительно возили грим...»

И навстречу с каждым шагом — поет лестница: грим, грим, грим...

«Нет, чекисты, чекисты...»

Упрямая лестница наперекор поет: грим, грим!

Как я добрался до Касьянова? Взял койку в Доме крестьянина. Спал. Сколько прошло? Три часа. Надо отсюда уходить... Пора. Пора. Четыре часа.

Да, четыре... Ничего не помню.

Какая грязь! Помои. Кошки. И куда ни ткнешься, всюду пахнет отхожим местом.

За стеклом лежат селедки, баранки и ситный.

Дешевая карамель в вазе. Около стойки возится высокий и мрачный человек, похожий на Петра. Это, очевидно, буфетчик. Хозяйственный мужчина. Черные и жесткие, как вымазанные дегтем, усы. Ну чего щуришься?..

— Скажите, товарищ, где бы помыться?

— А ступайте на кухню. Рукомойник там.

Нечего сказать — любезно. Надо умыться, завести знакомство.

— Что ж для постояльцев не устроите удобства?.. Вот так Дом крестьянина.

— Было бы что...

Отвернулся. Занялся с огурцами. Мрачный субъект. Пессимист. Ишь, сел и хрустит огурцом. Надо бы и мне солененького. Хорошо бы дернуть. Маленький стаканчик. Сгрызть огурец. Вымыться... И ноги тоже. Очень горят с похода. Напрасно не снял сапог перед сном. А где мои? Как те?... Все ли благополучно у них? Добрались ли до хуторов?

— Слушайте, а мне бы ноги помыть.

— Мойте.

— А где же, в чем?

— А я почем знаю. Здесь не баня...

Так... Принялся теперь пить чай. Теперь грызет сахар. А я вот сейчас топну на тебя и крикну всей чайной: «Сволочь, дрянь, советская паскуда! Кончена твоя большевистская власть». Что с ним станется?.. Вот и те мужики взъерошатся. «Встать смирно!» Да, я скажу. Я сейчас скажу.

— Встать смирно!

Он обалдел. Мужики вскочили.

— Вы кто здесь? Хозяин? Вы для чего здесь поставлены, вы что хотите, чтобы вас отправили в ГПУ?.. Саботаж.

Буфетчик покраснел и замялся. Пившие в углу чай мужики вскочили, оторопев.

Здорово я говорю.

— Вы за что получаете здесь жалованье? Чтобы жрать казенные огурцы? Где заведующий?..

— Позвольте... Товарищ....

Так, вытягивайся...

— Где заведующий?

— Позвольте... Товарищ...

— Не позволю... Где заведующий?

А не перекричал ли я? Не кончится ли это скандалом? Впрочем, наоборот... лучше. Лучше намозолить глаза. Возьму еще выше. Все равно сразу нельзя оборвать игру. Но нужно кончать, иначе это дело действительно выльется в скандал.

Буфетчик уже испуганно суетится.

— Заведующий, извините, по рыбу ушли... Но ведь я с вами, товарищ, разговариваю никак не грубо...

— Вот именно грубо. Вы должны помнить. Вы для советской власти или советская власть для вас?.. Стыдно.

— Позвольте....

— Ну ладно, о чем говорить...

Кто это стоит за спиной и, кажется, хочет подойти? Подозрительный субъект. А не перекричал ли я?.. А вот, — скажет он, — мне тебя и надо... Здравствуй, полковник Маклецов. Это ты сегодня ухлопал красноармейскую заставу, убил политпросветчиков, но ведь они тебе ничего не сказали, они молчали, а ты побоялся. Они — честные люди, они везли красноармейцам грим. Они подсадили тебя на подводу. А где лошадь? А где они? В лесной канаве. И на лбу дырка. Смотрят в небо, в верхушки. Ты струсил. А я все знаю, все знаю, господин полковник...

Да... он держит меня за руку. Это он мне говорит:

— Ну чего ты расстраиваешься?..

Или это мне слышится? Это только неврастения. Помолчу, что он скажет дальше. Чорт возьми, неужели я провалил все? Сейчас ухлопаю... Да... Так. Потом через кухню. Там дверь. Сквозь двор. Через забор, в зады... Шалишь. Маклецова не просто взять. А не оцеплено ли кругом? А-а, ерунда! Дурак какой-то, мальчишка. Но я ему должен что-нибудь сказать. Я его оборву.

— Вам что нужно, кто вы такой? За такие дела надо в ГПУ...

Что такое?.. Он улыбается. Это он говорит:

— Так я ж и есть ГПУ.

— Вы?..

— Да я ж...

Это так глупо, так непростительно... И такое лицо, косицы... Точно мальчишка с озера, ему бы бреднем ловить карасей. Смеется. Конечно, на меня. На моем лице глупость и изумление. Надо улыбнуться, вздернуть щеки за ниточку. Продолжай, паяц... Ты хорошо начинаешь. Смеяться. Смеяться. Показать документы? Нет, это подозрительно... Просто поздороваюсь... Вот так... Приятели. Парень хороший. Я назовусь....

— Уполномоченный Артельсоюза... В командировке.

Парень кивает, но... быть может, он ни на иоту не верит мне.

— Погодите, товарищ... я все-таки умоюсь! — Надо натянуть на лицо улыбку, чтобы как-то загородиться от спокойных и внимательных глаз парня.

Над плитой сушатся полотенца. В чану преет белье, обданное кипятком. Пар из чана идет к потолку. Нет, я ничего не понимаю. Тут же возятся кошки. Хорошо хрустит капуста под сечкой. Знатная баба — стряпуха. А мясо уже варится в котле. Ползает солнце вместе с мухами по хлебу. Что такое? А не приставили ли его ко мне? И я брожу здесь, как муха на ниточке.

Мыться. Вот так...

— Еще ковшичок, гражданка повариха!

Горят глаза, проясняется.

— Хороша холодная вода, когда хочитца пить...

Литературные реминисценции, товарищ... а за забором дежурят чекисты. Нет. За окном милое, как голубь, небо. Поросенок лежит в крапиве. Спокойно, уютно жить этому поросенку. Ржавое ведро, помои... «Варшава, Варшава, чудный край...»

— Полотенце?

— Есть, товарищ.... На полотенце....

Тепло у этой стряпухи. Образа, розовый Иисус на картине («скоропечатня Сытина»), пасхальное яйцо. Зиновьев над комодом. Взбитая, душная постель. Вот женюсь на стряпухе, буду целовать ее в мягкие слюнявые коровьи губы, торговать папиросами... А она смотрит так, точно понимает мои мысли. Как знать, женщины и кошки понимают больше, чем мы думаем. По ночам меня будут беспокоить стаи мух из кухни. А я уткнусь в коленкоровые подушки. Повариха занесет на меня свою мягкую ногу... и потом сдавят кошмары... Чорт, но ведь она действительно ухаживает. И зеркальце, и гребенка....

— Спасибо, голубка.

— Да на здоровье... Буфетчик наш, известно, ирод. Без конфорта к публике. Я раньше в «Сербии» номеранткою была... А теперь....

Все урчит, урчит, как ручей... Бывшие люди. Номерантка. Никто не доволен, а все живут. А когда она была довольна?

Однако полковник... У вас, полковник, неприятные глаза... Не перед смертью ли?.. Вчера у политпросветчика тоже застыл глаз, как туман над полем. Зачем я его убил?.. Из опасений, из опасений. «Варшава, чудный край». А этот еще здесь... Курит, точно на дежурстве. Собственно к чему я привязался? Как отвертеться? Ну, игра началась. Махорку курит. Бедное, несчастное ГПУ! Смотрит, завидует моей кожанке... Какая жадность в глазах!

— Пойдем, что ли... У меня есть с полчаса свободного времени.

— А потом уезжаете?..

— Да, в уезд.

Что? Чуть ли не допрос. Хорошо по дороге зайти в пивную и там поболтать с этим парнем. Если уж игра началась, надо ее вести, хоть и без козырей. Зачем он привязался? Он хочет говорить, но стесняется, мнется. Вечер прекрасен. Город все тот же. Церкви как куличи. Колокол бьет ко всенощной. Старухи с костылями. Комсомолка в кепке, сандалии, носочки... толстые икры. Мягкая пыль в улицах. Что же изменилось?

— Вы где ж работаете?

— Я?..

Он запнулся. Ну, не смущайся! Выходит, что я тебя подталкиваю, а ведь ты должен был бы сейчас схватить меня. Ведь за карманом, наверное, болтается маузер. Или у тебя другое задание?

— Я в Нежадове... Красноспасской волости. Уполномоченным.

— Так. Буду и там. Ну, зайдемте в пивную. Буду я и в Нежадове. Наша промартель собирает кору для дубления кож.

В пивной пахнет селедкой, горохом, мужиками, кислым пивом. Конечно, здесь пьют и водку.

— По стаканчику тяпнем?

Улыбаешься? Значит можно. Подбежал парень в грязном переднике.

— Пару пива, шпроты, яиц... И половинку.

— Никак нет-с... Половинки не можем.

— А, бросьте!

— Нет-с... не можем.

Он смотрит. Парень на него косится. Перемигнулись. Так, значит тебя послушают...

Подали водку в бутылке из-под сельтерской.

— Хорошо ли живут в Касьянове?

— А чем же плохо!.. Хорошо живут в Касьянове. Как не жить тому в Касьянове, кто больше ста получает? Хозяйство свое, корова. Буржуями живут... Это не мы. Мы день-деньской настраже революции.

Выпили. Пьет хорошо. Одним глотком. А не притворяется ли?..

— Работы много?

— Хватит работы

— Еще стаканчик?

— Спасибо... Бандиты одолевают. Боремся беспощадно. Ваше здоровье! У нас бандиты — первый сорт. Знаменитые бандиты. Так по нашей волости и известно: раки превосходные и бандиты...

Что он думает обо мне? Кажется, ничего. Наслаждается шпротами. Мокает хлеб в масло. Парень отощал. Не очень-то тебя кормят. Даже залоснился от еды. Подкачала водка.

Похоже, что на свежего человека он готов наброситься, как нищий на блины.

— Отменный рак в наших краях... И бандиты — отменные. Днем и ночью мы на страже... Вот вчера поймали Серого. Хорошая была работа.

Как — Серого?

Тише! Тише! Значит, провал...

— Какого Серого?

— Какого? Бандита Серого. Знаменитый бандит...

Опять ест... Поймали Серого! Может, и Михайловский засыпался? А с ним — отряд. И новые. Все, кто пришел на явку. Да доедай же ты шпроты. Вот это новость, — поймали Серого... Леший дернул меня дать явку на Серого. Все полетело к чорту. Один Цвибак гуляет с диамантами по Невскому.

— Так... Отменные раки, отменные бандиты. А мы вот не знаем, что делается в деревне. У нас, в Ленинграде, веселье, оркестр... Вечером пойдешь в кино...

— Нам не до кино. Мы в работе по-локоть. Деревня нынче — фронт. Полтора года ловили. Серый был образованный парень... Я вместе с ним на одной парте сидел. Острый был продельник. Порох однажды выдумал и полдеревни сжег. Некогда нам веселиться... А хочется! Иной раз такая тоска возьмет, — поля да навоз, коровы да бандиты. Смерть хочется душевного развлечения... С приезжими отводишь душу.

— Как же поймали?

— Известно.... как ловят.... Довольно погулял!

Парень берет папиросу, перегнул папочный мундштук, откинулся на спинку стула и, затянувшись дымом, с наслаждением закрыл глаза. Или он дурак... или... Тише, он хочет говорить. Пожалуй, ловит меня в беседе.

— Трое их было. Смелый, Серый и Добрый... Серого прикончили... Революция победила.

— Какая же здесь революция?

— Нынче все революция... Каждая наша трещина — именем революции.

— Именем бога.

Нет, мне не надо было смеяться.

Парень вдруг подозрительно поглядел прямо в меня. Но ничего, не смутился. Он уверен в себе.

— Нынче наш бог, гражданин, и есть революция. Вот ее именем. А вы будто сомневаетесь?

— Нет, нет, я техникой интересуюсь... как вы прикончили.

— Что техника?.. Везде расставлены ловушки.

Парень взял бокал с пивом. И от этого спокойного движения, от этой уверенности, разлитой в парне, становится страшно. Забилось сердце. Конечно, я ничего не знаю. Везде раскинуты ловушки. Кончен Серый. Явка — на него. С ним — Михайловский. За Михайловским сегодня утром ввалилась группа. Серый — это точка. И от него идут связи — во все стороны, радиусом. Каждый радиус держит чекист именем революции... Где же Смелый? Кто этот Смелый?..

«Рушить и уничтожить все подозрительное и вредное на пути». Капитан Минута, я хорошо зарабатываю деньги... Я помню ваши инструкции... Союз спасения родины. И Савинков в Варшаве.

Но пусть он договорит до конца.

А быть может наоборот...

Не он, а я выдаю себя на каждом шагу. Даже не словами.

Каждым движением, взглядом, скованностью, губами...

У парня приказы, и больше он ничего не хочет знать.

«Допивай пиво и пойдем. Любишь пиво? Пей, пей.... Куда бы его завести? В укромное местечко. Но ты храбр, паршивый мальчишка, ты берешь меня наугад, нашарап. По подозрительным глазам. Хочешь итти за мной, провести нитку от точки к связям... Или я — связь к точке... Нет, милый, я — точка, а не Серый. И я тебя сегодня оборву».

— Еще пива?

— Нет, будет.

Ты ждешь, спрошу ли я про Смелого? Если спрошу — подозрительно; если не спрошу — тоже. А я вот так, незаметно.

— Ну идемте, мне пора... Так — как же? Убили второго... этого... как его....

— Нет. Ушел. Смылся в поле. Смелый ловкий был бандит. Да сейчас уж некуда ему податься.

Жалкие лампы кино брызжут навстречу. От этого еще глубже тень. Что это за плакат? «Факир Томура, изумительная сила воли, потрясающий факт природы, прокалывается иглами через тело насквозь в присутствии врачей тт. Гинсбурга и Гехта. Никакой таинственности! Никакой мистики, никакого чуда! Только воля, сила и чудовищный характер».

Я тоже тень. И ты тень — мой спутник. Мы тоже можем проколоться.

— Пойдемте подальше от этих теней. Вот в переулочек.

Он молча соглашается. На главной, как ее, Ленина, что ли.... гам, точно на вокзале. Конечно, не услышат. Переулок короткий, я думал длиннее. Делать нечего, посидим на бревнышке. В воде качается мутная весна. Сбоку длинный забор, за ним мигает огонь и уютно пыхтит машина.

— Что это?

— Лесопильный и деревообделочный завод. Строимся понемногу. Работаем.

Вот здесь-то я и кончу тебя... под машину. Ну, прощайся! Держи руку в кармане, я не боюсь, я опытнее тебя, милый мой. Отсюда — на мостик. Тишина... А где же мостик?.. Где же в самом деле мостик?

— Хорошо бы на ту сторону пройти.... в сосны... Мостика нету?

— Хорошо бы, да мостик снесло половодьем. Нынче приходится в Заречье кругом итти... По шоссе.

Он отвечает так, точно у него связан язык. Ты думаешь?.. Думай, думай.... Готовишься. Конечно, конечно, будь так же осторожен.

На том берегу молчат дома. В тучах волнуются сосны. Слышен только плеск у старых свай. Заводские огни сверкают, как шляпки гвоздей. Мостик снесло.... Что же, хорошо и это... Здесь я пройду вброд. По грудь самое большее. А ты будешь валяться у забора... Мостик? Это даже хорошо, что твой мостик снесло. Чем больше препятствий, тем более затрудняется погоня.

Так. Начинается. Курок взведен. Теперь только вынуть из кармана. Милый мой, я работаю автоматически. Хоть бы удобнее подставил мне голову. Висит слева узкий кусок месяца, розовый — как банан... Как тело... Стройный, как ее ноги, когда она, поджавшись, сидела на столе — в погребе горбатого поляка... Соленая слюна. Мне тошно...

Не разберу, наивно ли это... Он курит... Знает ли он свою обреченность? Или он надеется на себя?.. Или он ровно ничего не знает? Он просто плод моего страха. Мелькнул его зрачок, косится. А может, он уже готов к прыжку и за забором караулит засада? Он водит меня, и куда бы я ни пошел, я оставлю за собой след. Если засада, я кончен. Если — нет... Но почему он прямо сказал? Это, конечно, маневр... как с Шахетом. Двойная игра на откровенность. Чудесный ящик престидижатора и иллюзиониста. На этой откровенности тогда хлопнули Шахета, когда он уже втерся в ГПУ. Хороша страховка!

Ну, довольно, прощайся с этим светом, мальчишка!.. Вот еще секунду, — мелькнут розовые ноги...

Он стал... Что это? Идет солдат с винтовкой. И второй? Второй солдат с винтовкой. Так. Стрелять, бежать, а они уже рядом. Конец. Они обходят меня с боков, чтобы сжать, а этот схватит за локти. Я кинусь вниз — в кручу, в воду. Я ничего не теряю... Тень. Полковник Маклецов завершил свою миссию. Пора найти точку ненависти и страха...

— Товарищ, дай огоньку...

Броситься... Чего я медлю? Зачем я даю огонь красноармейцу?.. Растерялся. Теперь я уж не успею схватиться за револьвер. На шишке у него оторвалась звезда.

Нет, мимо. Благодарит. Проснесло.

Волна откатилась.

Страх, иллюзии, фокусы.

«... прокалывается насквозь в присутствии тт. врачей...»

Тошнит.

Значит они охраняют завод. Вот почему мальчишка был спокоен. Ему легко играть, он знаете свою колоду карт.

Тошнит.

Да. В темноте видна еще тень. И будка. Из будки торчит в небо штык, как стрела.

Сейчас все проступает из темноты, будто китайский рисунок в воде.

— Охраняют?

— Охраняем...

— Такая большая охрана?

— Стало быть, надо большая... Сволочей и предателей много...

— Это верно, это верно. Сволочей много.

— О прошлой неделе пожар был.

— И как?

— Известно, гнезда контрреволюции... Следствие нашло поджог. Две мастерские сгорели, древесного материалу почти на сто тысяч... Машинное спасли. Слава богу.

— Вы коммунист?

— Партейный...

— Надо спать, идем к дому. Сегодня, я думаю, поздно ехать в уезд. Темно.

Он не спрашивает меня. Впрочем, чего ему спрашивать? Коммунист первым скажет, что он коммунист. Итак... пожар... Машинное спасли. Не Михайловский ли начал выполнять задание?.. Сегодня ночью я уйду во что бы то ни стало. Если Михайловский... Да, скорее Михайловский... А я боялся. А может быть, и не Михайловский... Рейнгольц из Пскова? Инструктор всеобуча... нет... Задания не могли перемениться. Кстати, надо его повидать. Рейнгольцу пора в Питер. Засиделся.

Опять переулок. Грязь. Тени.

Ничего, я от тебя избавлюсь сегодня...

Идет, посвистывает. Над городом разгулялся вечер. Уже уходят из кино. Кончился первый сеанс. Придут домой, присядут к самовару. Мальчишки еще долго будут гулять с девчонками — до зари. А мы с тобой, точно неприкаянные, привязались друг к другу, два проклятые брата — Авель и Каин. Несладко.

— Несладко...

Начинает он. Странно ловятся слова. Может быть, ловятся и мысли... А он любит поговорить...

— ... и бандитам, конечно, несладко. Конечно, разное есть. Но думаю я, что и бандитам несладко жить... Мы ведь тоже умеем различать.

А разве тебе горько? Или ты тоже с трещиной? Пуст кошелек? Изменила девчонка? Грызет скука?..

Жить хорошо только фанатикам.

— Прощайте, товарищ... Спросите в Нежадове Виктора Орлова...

Спутник мой неожиданно скрывается во тьму. На краю площади горят огни пивной. Светит нарисованный на стекле рыжий бокал с проливающейся пеной. Что за чорт! Странно. Непонятно. Отчего он ушел? Сорвался сразу, точно с гвоздя.

Спутника нет. Он растаял за базарными ларьками. А может быть оттуда ты дощупываешь меня — агент, шпион, тень... Да, это, конечно, прием... Проводят радиусы от меня к связям. Осторожность, полковник! Внимание. Бдительность. Ты гуляешь на ниточке чекиста.

Или все снится мне: Стародуб, голые ноги полячки, наконец ночь в России и Виктор Орлов, рассказывающий песни о душе бандита? Болтливый мальчик, выдуманный чекист.

Нет ничего: ни моего отряда, ни города Касьянова с куличами на каждой улице.

Лишь игра. Лишь любовь.

И я в кожаной, мнущейся, как сапог, куртке, с трудкнижкой кооператора Легасова в кармане, стою перед исшарпанным порогом, стараясь вспомнить свою роль. Только ли я актер? И кто мне навязал эту пьесу

Мелькает передо мною веселое, как кипяток, лицо стряпухи. Но я уже ничего не слышу. Спать до двух часов. И ночью уйду в Рли, чтобы оборвать нитку. Нет — рядом, здесь, у Касьянова... Пойду на хутор к эстонцу Тома. Пусть поищут в уезде. Так лучше.

Баба испугалась меня.

Мгновением — в смертельной усталости — я раскалываюсь, как орех. Чорт с ней, с бабой. Все — пустое. Нет ни жизни, ни нравственности, ни любви. Никаких богов нет.

Сапоги будто два камня...

Хорошо вытянуться и уснуть без тревоги. Хоть бы только раз в жизни мне довелось уснуть, как в детстве, не думая о завтрашнем дне.

Нет ли клопов. Все равно, не услышу. «Только до двух.... До двух... Правило. Рли... Нет, на хутор... На хутор...»

Но ведь здесь наверняка клопы.

За окном опять банан... Или нет — это маленькая люстра над эстрадой «Вероны». У еврея скрипка — как кусок мяса. Не оттого ли он играет так плотоядно?.. Итак, мы в Берлине, капитан Минута... Или это твой агент — у него клетчатый узкий костюм... «Где можно — открыто, с оружием в руке; где нельзя — тайно... хитростью... лукавством...» Сколько стройных и ловких проституток.... Дженни, ты прижималась ко мне в подземке, в углу — у автомата со спичками, шоколадом и папиросами. Нас не видно с перрона. Автомат загораживает. Только три минуты до прихода поезда. Пустынный асфальт станции. Из подземных труб тянет холод, слышен гул мчащихся в земле электрических поездов. Сейчас прогремит и остановится на сорок секунд голый поезд в желтых лампочках с редкими ночными пассажирами в фетре и в черных котелках... Вот он ушел, звякнув стрелкой, и, заскрежетав, исчез в черной круглой дыре, и вслед за пропадающим гулом — вслед красному сигна-

лу — вспыхнул над аркой другой — зеленый, как моя нежность к тебе.., Ну еще останься со мной, хоть три минуты... Сторож? Ничего, я ему дам сигару. Где же ты искренна?.. Там — на паркете «Вероны», в узком зале между двух барьеров, где невыносимо от духов, пыли, пудры и запаха женщин, — где вы все, танцуя друг с другом, изображаете нам лесбианок, — где вы плещетесь, как рыба в горле реки, стаей мечущая икру... Или здесь — за автоматом, у железной решетки поздемной станции?

Огромные белые фонари жестоко обнажают всю нашу скуку. Если бы мы показали себя совсем обнаженными... Наши руки. Нашу грязную душу. Милая Дженни, мы с тобой — такая дрянь, что нас даже не стоит убивать. Жалко кусочка металла, на который затрачено столько работы.

Какая чепуха — искренность!..

Твой бульдог всегда при тебе. Он смотрит на все твои фокусы, на всех твоих любовников и любовниц. Он знает каждую складку твоего белья, запах, смешавшийся с духами, — больше, чем свой ремень. Он искренен. Он презирает тебя.

Деньги — ненависть. Деньги — любовь.

Гремит новый поезд... На тебе деньги... И на собаку — на.

«Два часа... хутор... два часа».

... Оборвать нитку... прощай, Виктор Орлов.... «прокалывается насквозь в присутствии врачей.... Никакой таинственности, никакой мистики... только сила воли».

... ты уцелел... ты ушел... или «только сила воли...»

... Может быть, ты еще встретишься со мной... Загадка?.. Фокусник?..

4.

Ушли мрачные мысли. Хорошо, что я выбрался из города. Прекрасный сарай у Стефана. Приятно поспать. Природа — все-таки самое лучшее благополучие.

«Ночь прошла, — и завтра опять поход... Тень исчезла».

Сегодня солнце, жара на крыльце, накопление сил.

Вокруг хутора — поля и березы. Там — в березах хлопочут и торгуются птицы. И здесь — над конюшней — они толкутся, то беспрестанно взлетая вверх, то снова скрываясь под соломенной крышей. Они наполняют воздух движением и шумом, как кухарки на рынке.

Стефан Тома колет дрова; поленья звенят и сверкают, отскакивая от топора, точно сахар.

Стефану хорошо и покойно. Складывая поленницу, он поет песню, может быть сочиненную только что.

Два девчонка в амбаре,
Белая и черная...
С белая девченка играют,—
Черная плачет...
С черная играют,—
Белая плачет.

— Стефан, скоро ли они придут?..

— Скоро. Микаловский присылал человек. Казал час.

Я не хочу итти на фабрику,—
На фабрике дым.
Я беру телегу
И еду пить вино.

Весело поет старик. Кажется, что он играет с поленьями. Так ловко он их бросает, колет и берет новые. Будто с каждым ударом топора он находит новое слово для песни.

Я поеду далеко
На веселой лошади...

— А ты не пойдешь с нами?

— Нет. Я не хочу.

— Почему ты не хочешь?.. Ты что же, большевик?.. Получишь денег... Сколько ты хочешь?

Стефан плюется и вдруг хватает топор и с размаху врезает его в толстый чурбан, так что топорище дрожит, как струна. Из этих глаз струится злобное чувство. Это — новость.... Значит годы идут — и люди меняются.

— А-а... — кричит Стефан Тома: — надо мне твоя деньги! Я хочу ехать на родина. Я уже получил в Касьянове от нашего агент эстонский бумага. Надо мне деньги? Мне надоело твоя большевик... Большевик... Я больше не знаю политика.

— Но ведь Освальд пойдет.

— А-а... теперь не пойдет Освальд... теперь я не отпускаю сына в бандит... Освальд напрасно ходил с вами, Освальд я тоже достал бумага, он хочет тоже родина. Освальд уже не есть дезертир. Я плевал на белый, на все. Мы продадим дом... Амбар.... Я хочу иметь эстонска жизнь.

Тома оглядывает хозяйство так, точно смотрит на самого себя в зеркало. Четырехугольный, крытый по бокам, двор стоит как крепость. Каждый угол, камень, жердь — его руки. Вспоминаются день и час, — тогда еще была жива жена, они вместе покупали эти кованые железные ведра... Как же не купить такую вещь? Теперь их купят тоже. Им недолго осталось блестеть у колодца... А колодец он рыл сам, когда Освальд вернулся с фронта... А потом Освальд ушел к белым. Перед этим помогал и Освальд...

Все пойдет на продажу... И колодец с прекрасным колесом, и ведра. Тома всей пятерней хватается за бороду, будто удерживая себя от страшного гнева; злость переполняет его, переливается через край, и если ей дать волю, она зальет даже двор, и Тома в безумии начнет крошить топором все, что только попадется под руку. Но он скрепился, и краснота медленно сплыла с затылка. Он уже перебирает пальцами кудрявую короткую, посыпанную сединой бороду и бормочет: «Жалко... Жалко..»

Сила этого мужика так же крепка, как его убеждение... Он прикажет сыну, и сын его послушается. Потерять Освальда... Чорт с ним! Но какой пример? С самого начала разваливать отряд. Чем сдержать? Дело не в Освальде...

Бандиты... Чорт возьми, точно черпаешь воду горстью. Без конца... Ну обстоятельства управляют людьми...

Вот уже идут эти люди... И Михайловский... Петельков — пьяный... Свидерский с гитарой. А с Петровым кто-то чужой.

Этот чужой подходит так, будто он готовится к прыжку. У него сморщенный лоб и выцветшие глаза... Конечно, он немного боится меня, оттого он так развязно и громко хохочет... Он стоит в стороне. А ребята как будто рады. Петров старается держаться прямо... От Свидерского пахнет водкой... Ну ничего, целуйся. Мы же ведь связаны здесь кровью и круговой порукой... Михайловский глядит издали. Он смущен, солнце играет у него в бороде, борода рыжая, как у Иуды... Ну... ну, поцелуемся все.

— Михайловский, я вас не узнал... Уже с бородой... Быстро у вас.

Как он загорел здесь! Еще краснее кажется шея рядом с синим воротником рубашки. Он как-то невероятно чист... Смущенностью глаз похож он на Ваньку-вестового... Может быть, ты повторишь его судьбу? Такие обыкновенно проигрывают. Или нет? Нет, тут что-то другое...

Все говорят сразу, и я ничего не понимаю.. Что? Люди рассеяны по деревне и готовы в любую минуту... Литература роздана. «Очень хорошо». Дан наказ, как работать в деревне. «Тоже хорошо».

... Мужики, как всегда, недовольны. Мужики всегда недовольны, — это уже такое сословие. Почва есть... Что ж, хорошо.

— Вот я привел Смелого...

— Как? Это вы, Михайловский?.. Ах, вот какой Смелый? Что ж, я уже слыхал. Вот он какой!..

Парень смеется. Он снял шапку и рад моему удивлению... Значит он самолюбив. Это тоже хорошо... Хорошо, что Михайловский умеет работать.

— Михайловский...

...«Но что за странный налет в глазах Михайловского?»

Из окон несется аромат свежей жареной свинины... Наверное, Свидерский хлопает пробкой. Звенят стаканы.

Михайловский упорно глядит в землю.

— Ну, Михайловский, что ж вы сделали без меня?..

Он нагибает голову... Все у него просто и тихо.. Странно, — это его движение сразу мне напомнило Орлова... Вот, конечно. Вот именно так закурил папиросу и даже перегнул мундштук, чтобы задерживался в складке никотин. «На третий день после перехода я пришел в Касьянов, на завод разыскивать брата...» Так, так, я был прав, думая о тебе.

— Кстати, как брат? Николай или как его...

— Николай... Николашка... — он отвечает, точно вспоминая что-то давнее: — Нету, пропал. Говорят, работал... потом ушел... Может, в Пскове, может тут... А где, не знаю... И мать толком не знает ничего... И дома не бывает... Мать совсем одна, погибает хозяйство... Ну вот. А какое было хозяйство!.. Холмогорки-коровы, телята, бараны... Каких водили лошадей! Теперь совсем пустой двор.

Он отряхивается, сбрасывая с глаз паутину воспоминаний, и опять рассказывает о заводе:

— ...Нашел одного парня, недавно рассчитанного с завода за пьянство, познакомился с ним в Касьянове, в пивной... В Касьянов ходил поздно, под вечер... Парень дал только план... да накануне оставил бензин во дворе, в штабеле бревен... А всю операцию провел он — Михайловский... В день поджога пошел справляться в завод, спрятался и в двенадцать ночи перерезал от конторы телефонные провода, в час ночи зажег деревообделочную мастерскую и забил главный снабжающий кран... в первую минуту не знали, где взять воду... река тогда еще стояла... хотя лед был уже тонкий... Огонь работал хорошо.

— Где же вы живете?

— Да там же... у матери. Прячусь в бане... как зверь.

Я, кажется, смеюсь. Не обиделся бы он. У него физиономия свертывается.

— Ничего, Михайловский... Сегодня выйдем на люди.

Он вздыхает... Напрасно... уж не думал ли ты, что тебя будут встречать с колоколами.

— Господин полковник... ждем вас завтракать.

Это — кто? Петельков — хозяйтсвенный человек, обозник... Ладно, сейчас.

— Идем, Михайловский...

Изба полна солнечным медовым туманом. Мокнут сочные темно-зеленые огурцы, утопающие в рассоле. Дышит укроп. Звенят шкварки на сковороде. Золотится румяная корочка свинины. И сверкает среди хлеба соль... Мои фламандцы нагнулись к столу и, кажется, готовы вгрызться, как тигры. Мясо, еще вздыхающее жаром русской печи, шипит под ножом Петелькова... Он артист, он разрезает свиную ногу непрерывающейся лентой, разбрасывая ее по столу — с тарелки на тарелку, чтобы потом ловко рассечь на ровные порции. Капает звездами сок и жир. У Петрова чешутся руки, — он уже хочет опрокинуть стакан. Он жаден и тороплив, он — настоящий кондотьер, хвататель жизни. Аромат еды раздражает ноздри, точно муха... Дергаются челюсти у Петелькова. Эти оба — Петров и Петельков — сейчас думают только об одном: как стакан водки захлестнет желудок — и через минуту побежит мгла к голове, разобьется отрыжкой... как эту отрыжку хорошо заесть хрустящим прожаренным куском мяса, круто обмазанным свирепой горчицей... крякнуть — и, забрав из румяного глиняного горшка, только что принесенного с погреба, ледяной ядреный огурец, хлопнуть второй

стакан. Смелый, высунувшись в окно, спешит докурить папиросу такими затяжками, что в папиросе трещит табак. И даже Михайловский повеселел, как будто впереди нас ждут только победы... как будто в мире все спокойно и над всем величествуют груды пищи — молока, яиц, огурцов,— как будто можно, забыв обо всем, упиться водкой, беспрестанно мокая в стакан свою бороду... Долой тени!.. Не надо вопросов! Да здравствует жизнь, лишь бы жизнь!.. Сметаны? ну давайте и мне сметаны... Огурцов, хлеба, водки! Да здравствуют огурцы!..

Свидерский играет на гитаре марш. Вот капля пота упала на черную деку. Играй, играй жестокий марш! Пока бежит кровь, пока есть чем наполнить стакан, пока блестит зелень в полях, пока я еще могу кулаком раздробить крышку стола, что нам все евангелия в мире!

— Пейте, ребята... Сегодня в ночь поход, а зато завтра к вечеру мы помчимся на телегах с деньгами... Наловим в деревнях девчонок... К дуге привяжем бубенцы. Погуляем, попируем... А там? А там опять Варшава — чудный край... Смелый, ну где брат твой Серый?

— Брат мой Серый... .

Смелый смеется. Конечно, он доволен водкой, доволен компанией... Ведь это просто бандит... Надо дружить и с этим.

— Как же попались? Я слыхал: кончили Серого.

— Кончили. Провокаторы были. Два сапожника из милиции. Самогоны.

Смелый хмурится... Странные глаза, они неожиданно выскакивают, как собаки из конур. Сердится? Или еще тяжела ему память?

Он закусил губу, и задрожал уголок.

— В общем мы сами себя решили... Шайка наша ведь из троих была — Серый, Добрый да Смелый. Серый — брат мой, на командных курсах служил, — в артиллерии. Дисциплина не понравилась, ушел. Штаны заставляли в конвертик складывать.. И с той поры стал он несчастный дезертир...

— Свидерский, оставьте гитару...

Мне все-таки следует отвернуться. Много чести для бандита впереться в него и слушать его басни.

Свидерский опустил гитару на пол, люди для него — вино и песни. Только Тома одинок. Он сидит у печки, как чужой, даже головы не подымет.

— Серый мне стихи писал, — говорит бандит. Его глаза, вялые от водки, вдруг зацветают. — Шикарные стихи... Много мы поухлопали, двух начальников милиции сложили, и не было бы нам конца... Жалко. Добрый стал тяжелым, погремушки полюбил, золотую мелочь. Девок одаривать, мужикам сбывать. «Брось, — говорю, — Добрый, мелочь... из-за нее решимся». А он никак, точно пьяный, жадность невозможная в человеке! Тут я пристал к брату. «Кончим, — говорю, — Доброго». А он мне не дозволяет. «Жалко, — говорит, — не могу, я с ним работал»...

Но потом пошла за нами милиция, как по веревке. Начал я допекат «Эти вещи его — что наводка. Давай решим». Уступил мне Серый. «Ладн только, — говорит, — не мучай. Не хочу я, чтобы видал он. Помира будет и клясть товарища. Нехорошо нам». Так идем мы ранним утр по дороге. Серый стихи читает, а я внезапно ударил Доброго в голоі из нагана. Обернулся Добрый и еще крикнуть успел: «Серый, за чт меня губишь?» И напрасно убеждал я брата, что не товарищ — Добры а наводчик, все равно выдал бы. Не верит Серый. Через полгода втер лись к нам два самогонщика-провокатора. Обещала им милиция, ежел сумеет, помочь. Долго щупал Серый. Ничего, доверился... Будто люди Раз пришли мы на ночевку. Серый лег. А я караулю. Такой взяли мы порядок. А те двое вышли, надо, — говорят, — улицу посмотреть. А Серый вдруг и говорит: «Обидно, ржи еще нету. Летом надо сразу в рожі бежать...» И в окошко смотрит. Поле напротив пустое, в зеленях еще Срашно вдруг мне сделалось. «Почему, — спрашиваю брата, — так говоришь?» — «Я, — говорит Серый, — не для тебя и не для себя. А в будущее наставление». Не успел я глазом моргнуть, как те с улицы в голову ему из карабина. Вскочил Серый и вскрикнул: «Добрый ко мне пришел». Я скачу в окно. Слышу, меня зовут. Я кричу: «Засада!» Ничего не понимаю. Понесся в зеленя. А по мне уж с колена милиция стреляет.

— Ну? Интересно, что же случилось дальше?

— Ну, спасибо сбоку лес...

От печки вдруг подымается Тома, подходит прямо к парню и берет его за плечо:

— Ты ходил глядеть на труп твоего брата? Милиция его выставлял.

— Нет, не ходил.

— А-а, не ходил.... Жалко не ходил.

Старик, краснея, отходит. Так, вопрос поставлен. Ну, что ты ответишь, Смелый?

Ты подглядываешь и за мной? Готовишься? Правильно, готовься! Тебя слушает твой командир.

Смелый вздохнул в стакан с водкой и быстро отставил его, точно желая швырнуть в угол.

— Что ж, труп... А я — живой. Нынче за мою голову советская власть больше дает...

Петельков берет его за рукав.

— Не шипи... шкварка! Не в чайной... Нечего хвастаться. Расхвастался жук: я, — грит, — на навозе сижу.

Смелый посмотрел на него через плечо и скривил губу, как нож.

— «На навозе»! Я здесь свой, а ты чей? Меня вся округа знает. Меня начальство боится. А тебя кто? Ты чей?..

Он глядит в темнеющие глаза Петелькова. Не тишина ли подбадривает его? Он нахально усмехается.

— Польский шпеон... Вот кто ты. А я — здешний потомственный, почетный бандит.

Михайловский оглянулся, Свидерский опять тронул гитару. И будто от аккомпанемента, будто только именно при этом аккомпанементе Смелый понял свою пьяную славу и спокойно, с гримасой, говорит нам, вчера перешедшим рубеж:

— Что?.. Я — гроза. Я — барин. А кто вы?

Надо выйти на улицу. За спиной начался галдеж. Что же это он сказал? Да, он сказал... Он сказал...

Все они стали кричать. Только Стефан Тома молча стоит у печи. Он важно выпятил губы и бормочет что-то в себя.

Солнце за ригой. В ворота глядит просторное поле. Если бы гранатой взорвать все прошлое, чтобы ничего не осталось за спиной, и итти по меже... итти вдаль... Вот как там идет мужик, а за ним, спотыкаясь, бредет лошадь. Сейчас они будут дома, в деревне. Хозяйка раздует на крыльце самовар, и сквозь плетень над огородом повалит черный дым из самоварной трубы.

Михайловский опять в окне. Не наблюдает ли он за мной? Или у него те же мысли... Точно из лесу собирается сумрак, и делается зябко. Там, в избе, опять успокоились, и Смелый опять хвастает:

— Кто поймает меня?.. Вчера, к примеру, доносют в розыск, что я ночую у Карла-эстонца. Вызвался агент.... Витька. Прямо шел, чтобы кончить меня. Думал: один я. Входит в избу, а я в соседней каморе спрятался с парнями. Только он сел, глядит: в каморе на кровати три карабина. Тут и я выхожу. «Витька, — говорю, — за мной, что ли?» — «Нет, — говорит, — что ты, бог с тобой...» — «Со мной-то, — говорю, — бог, а с тобой отряд?» — «Да нету, — говорит, — никакого отряда. Я в гости к Карлу...» — «Ах вот как, храбрый чорт!.. На шарап хочешь? Ну, кончай». Он это мнется передо мной, как гад. Разозлил меня. «Раз в гости пришел, сволочь, пей... Пей, — говорю, — второй». Выпил и второй. «Ну, — говорю, — теперь третий». Выпил сука третий стакан до половины и упал под стол. Утром проснулся, схватился за кобуры. А они оба висят на гвоздике. А я уж караулю. «Выспался, — говорю, — Виктор?.. Опохмеляйся, что вчера не допил, и беги. Спасибо, что меня поберег».

— Ушел?

Это спрашивает Петельков.

— Ушел... к чортовой матери.

— Чего ты не кончил его?.. Слабо было дать по головке!

— А зачем?.. Расчета нет, мокрое зря копить... Если бы мне теперь хорошие документы. Ушел бы я от вас на Урал... Хорошие люди на Урале. Как ты думаешь, даст мне полковник документы?

— А зачем тебе?..

— Мне ребята обещали, что полковник даст.

— Да зачем?..

— Буду жить...

— Жениться, может, задумал?

— Что ж... Может, и жениться. И я не обсевок.

— На свадьбу позови...

— Ух... И закатил бы свадьбу!.. Аршинные пироги, сладкое вино.. Кровать бы купил металлическую...

Смелый даже застонал.

— С шарами... Может, и даст полковник... после похода. А? Как думаешь? Что ему стоит? Я думаю: даст....

— Чего не дать. Даст...

— Деньги будут... Документы будут. Я бы ножки ему поцеловал, каждый пальчик....

Во двор идут двое солдат из отряда...

— Здравствуйте, ребята. Ну как? С благополучным переходом!

— Здравия желаем, господин полковник.

Это — Смирягин. Тоже колыванец, по службе связи. Сидел в Польше, стосковался на савинском пайке. Ефрейтор. В полку — всегда с гармошкой да с шутками. Второй молчит. Чорт его знает кто он.

— Ну как? Знакомых нашел, Смирягин?..

Смирягин садится рядом. Садиться и второй. Надо угостить их папиросой. Второй отказывается: «Не курящие». Смирягин шмурыгает в усы и благодарит.

— Вот что, господин полковник. При станции встретил я счетовода, Гольцев по фамилии, хочет быть нашим... Через него жене весточку дал.

— Когда же жинка придет? Вы осторожней со счетоводами...

— Должно, сегодня ночью. Бельишко принесет. Портянки чистые схлопочет... Вот извольте, ваше благородие, с законною советскою женой на дороге встречаться, под забором. В походе-то, говорят, что на травке: мягче...

Он хохочет счастливым, веселым смехом... Ночью придет жена. Жена — может быть это большое слово.... Или нет, — это нарядное слово. Это та капля, что заставляет его смеяться.

— Ребята, иди в избу. Там закуска есть и вино.

Почему я отослал их? Из зависти? «Принесет бельишко...» Значит есть дума... Вот о Смирягине думает. Курносая... Может быть, плакать будет. А обо мне? Да ведь я же утверждал, что я счастлив — я один. Разве это действительно счастье?.. К делу! К делу!

А Освальда нет. Пропал Освальд.

Освальд остался... Конечно, его спрятал старик. Кончить старика... Впрочем, теперь уже не к чему. Завтра пойдем, уничтожая все встречное. Главное — военный отдел в Касьянове. Военный отдел... Надо позвать Михайловского...

— Михайловский... Да не сюда. Выходите во двор...

Михайловский медленно спускается с крыльца. Мешковат... Да, он, конечно, мешковат. Но он вернее. На кого же положиться? Свидер-

ский — гитарист. Петров — пьяница. Петельков? Петельков — верный человек да дурак и зверь.

— Пройдемтесь вдоль двора.

Выскочила из конуры овчарка. Понюхала воздух. Зачесалась неистово. И, поглядев на прозрачный месяц в небе, глухо протявкав, скрылась опять в конуру.

Надо приласкать Михайловского... Он нуждается в слове... Просто, ясно с ним договорить.

— Знаете...

Да есть ли у меня ласковость? Осталась ли? Отчего же так косится Михайловский? Может быть, ничего нет. И каждое мое слово отдает ложью. И он это чувствует.

— Я верю вам как единственному достойному офицеру, Михайловский.

— Спасибо, полковник...

— А ведь когда-то вы называли меня просто: Иван Васильевич. Варшаву, около Брамы, помните?

— Помню... Да, там меня здорово затерли.

Зачем я ему говорю? Ведь Михайловский теперь вспомнил все: и неуклюжий рынок, и кучера, и еврейку, и даже то, что я думал тогда. Вот именно это-то он и вспомнил сейчас... А может быть, лучше? Он поймет, что я все держу в руках. Но Михайловский умеет выдерживать спокойствие... Пожалуй, чуть-чуть у него порозовели уши... Вот он хочет спросить.

— Вы что-то хотите спросить?

— Нет... я...

— Ну, ну, говорите, поручик!

— Я хотел спросить про Крона... Вы верили ему?

— Он убит... и потом я никогда не верил ему. Ему, как многим.

— Убит? И Ванюшка Якимов убит. И рядовой еще.

— Да. Мы потеряли троих.

Больше: четырех... Мы еще потеряли Освальда. Этого он не должен знать. Надо перевести разговор.

— Слушайте, поручик. Я назначаю вас адъютантом.

— Покорно благодарю, полковник.

Ничего. Как будто хорошо. Да, это ему приятно. Все обойдется... Ломит каждый нерв в голове, пожалуй надо лечь спать. Странная двойственность — так же, как тогда в Варшаве у еврейского рынка. Ну, к делу...

— Слушайте, Михайловский. Завтра много работы. Банк, совет, военный отдел. Завтра мы должны захватить Касьянов... Пошлите Смирягина в Рли. Завтра от трех до четырех, вернее сегодня ночью, на пятьдесят седьмой версте должен собраться отряд. Наши и еще остаток отряда поручика Краута из местных... Вы были у Николаева Филиппа?

— Был... Он говорит: никаких таких делов не знаю, ведать не ведаю... Никого не знает.

— Взять его оружием. Врет! Знает... Каждому обещать добычу и выдать авансы. Но на всякий случай с Филиппом держитесь осторожнее.

— Да двух-то человек он обещал дать... Есть тут бандиты. Боевые парни.

— Берите их. Дайте Смирягину точную инструкцию для этих людей.

— Да ведь они не идейные.

— Что за чорт, Дмитрий Семенович!.. О чем мы с вами говорим? А Смелый? Мы выполняем военное задание. Поняли? Вы получаете деньги... Ну... и какие же тут идеи?.. И вообще мне адъютанта с идеями не надо. Бросьте ваши идеи. Тем более что идей нет. Нет идей, дорогой. С большевиками кончились все наши идеи.

— Слушаюсь... Только позвольте мне в Рли сходить. К Смирягину ведь жена обещала притти.

— Вот именно потому я и посылаю Смирягина... И потом я не знаю, что сейчас там. Пусть Смирягин передаст деньги вашей матушке. Вы должны быть при мне...

— Иван Васильевич... А поручик Краут здесь...

— Он местный... Года три тому назад он кое-что делал здесь по нашим заданиям.

Он ничего не делал... Это плохо, милый мой. Что с Краутом? Устроен на службу и успокоился, и больше уже нет никаких известий. Центр махнул на него рукой, но я его вытащу.

— Он местный... Мы ему собрали отряд, но он ничего не успел сделать. Маркичев знает остатки этого отряда. А поручик в Ленинграде... Пока мы не нуждаемся в офицерах.

Больше я тебе ничего не скажу. Довольно с тебя. Идиоты, им кажется, что они могут шляться взад да вперед, как по Невскому...

В избе засветили лампу, и двор от этого сразу погрузился в мрак. За забором темно, а весенняя ночь тепла и нежна.

— Михайловский, я хочу спать. Пойдемте. Все будет исполнено?

— В точности.

С порога встречает крик. Посередине избы скандалит Петельков. Петров храпит в углу.

— Чего ты орешь, Петельков?

Мерзавец, он подходит ко мне шатаясь. Старая солдатская шкура. Только попал в Россию — и успел уже распуститься.

— Я не ору.... Я говорю... Где Освальд?

— Где Освальд? Во-первых, встань смирно.

— Я и стою смирно... Вы мне лучше скажите, где Освальд? Прикажите, я убью старика.

— Иди спать...

Ребята молчат, но все они, конечно, на стороне Петелькова. Он это чувствует. Оттого он так и кричит взбудораженно:

— Мы идем страдать за порядок, а Освальд бежал.

Выскочил старик из-за печки. Зачем же ты выскочил, дурак?..

— Освальд не надо страдать. В Россия не был порядок. Освальд не бежал. Я сам прятал Освальд, — кричит старик и бьет себя в грудь. — Убей меня! Когда в Россия был порядок...

Разлагаются... Необходимо их сейчас расшвырять по сторонам, как собак. Крикну.

— Молчать, Тома!.. Петельков, успокойся...

— Что «успокойся»? Освальда покрыли... А мы — мясо?.. Господа офицеры...

— Петельков ..

— Да, я... я — Петельков... А где Крон? Любимчики... Дворяне... На границе сбежал. Я видел. Вот расстреляйте меня...

Свидерский отвернулся нарочно... Михайловский удивлен. Да... я соврал... «Лучше не кричать, лучше спокойно». Прикажу отчетливо и хладнокровно.

— Встать всем, когда начальник говорит. Поручик Михайловский, запереть Петелькова в амбар, пусть проспится. Завтра выпороть... И всем приказ: спать. Тома, положи мне тюфяк и подушку в сени...

Сейчас на минуту выйти, пока идет расправа. Хлопнуть дверью, не громко и не слабо. Вот именно так, как надо.

В избе затихло. Так. Хорошо. Пьяного Петелькова со связанными руками запирают в амбар. Прекрасно!

Огромная тишина наполняет поля. Большие черные полосы. Они точно подчеркивают спокойствие. Изредка всхлипывает в амбаре фельдфебель. Теперь можно домой.

Чего это дожидается Михайловский? И ты подтянулся!

— Разрешите доложить, господин полковник. Деньги Свидерский выдал. Петельков арестован...

— Я видал... Смирягин отправлен?

— Сейчас отправляю...

— Скажите ему, чтобы он приготовил инструменты к утру... Мне, может быть, понадобится взломать шкаф... Он, кажется, слесарь.

— Слушаюсь.

— А теперь спать. Спокойной ночи, Михайловский.

Чорт дернул меня надеть офицерские сапоги. Завтра не натянуть без крючков.

Спать... Все-таки содрал ногу. Вот теперь легко... Спать...

Сквозь щели сеней — в пруду, как челнок, качается белый месяц. Летают низко ласточки. К дождю, что ли?.. Понемножку все угомонилось. У каждого свои мысли: как братья, как сыновья, как родные деревни?..

А что у меня? Тень, сегодняшнее, и дальше... Все!

То есть ничего.

Свидерский вышел дежурить на дорогу. Он тихо подпевает:

Еще томлюсь тоской желаний...
Еще стремлюсь к тебе душой...

Ничего... Ничего... Пой про телятину!

И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...

Воспоминания... Сумрак? Что ж, ты опять в кафе? Я вижу твои голые ноги на кушетке... И за занавеской храпит Бронислав... Спать! Только Тома еще не успокоился... Что он там ворчит?...

— Разве в Россия бывает порядок...

«В Россия...» Спать! Надо заставить себя спать...

А Витька... Ведь это же, наверное, Орлов...

Спать!

Попадешься...

Опять Свидерский...

Еще томлюсь...

Витька, может быть, здесь... рядом... нюхает... А мы без караула...

Только Свидерский...

Это он... Он не спит. Он не будет спать. Он —

Еще томлюсь тоской желаний...

5.

Быстро прошла ночь. Кажется, что Свидерский всю ночь проиграл на гитаре.

«Еще томлюсь тоской желаний...» никак не вылезет из головы. Крепко как клин.

Перед актом он всегда мрачнеет... Что ж, значит еще жив человек. Об Орлове надо серьезно подумать... Кто знает?

Петельков сегодня шелковый. Получил десять розог.

Мы идем, рассыпавшись версты на полторы друг от друга.

Ноги еще спят. Точно гудит в них сон.

В полях — сырой теплый туман от болот.

Смелый идет сзади, за моей спиной. Он что-то хочет сказать и не решается. Вдруг где-то сбоку, из-под дороги выскочила деревня — стадо крыш... Кой у кого дымят уже трубы...

Смелый говорит застенчиво:

— Бороды...

Дело, конечно, не в Бородах. Ты хочешь просить и вертишься...

— Я хочу вас просить, полковник...

Ну, конечно, я так и знал... Документы? А потом — на Урал, свадьбу играть, воровать коней... Никаких я тебе документов не дам. Какое мне до тебя дело?.. Потом... Потом, может быть дам... Документы? Дай вам только документы... Однако он настойчив, он хватает меня за рукав...

— Зайдем, полковник, в Бороды...

Так это не документы!.. Что же это?

— В чем дело?.. Чего мы там не видали?

— Зайдем...

Он просит так, точно у меня в кармане его любовь, деньги, жизнь... Впрочем, ничего не видно в этих щелках кроме тупости и скуки. Я преувеличиваю. У меня свои мысли...

— Что там, в Бородах?

— Зайдем... Там в конце деревни враг мой живет коммунист Петр Кузьмич. Давайте его пришьем.

— Коммунист?..

— У, еще какой!.. Мышьяк, а не человек. Он мне жизнь испортил.

— Ладно.

Он даже удивился, что я ему ответил так просто и коротко. А о чем думать? На конце деревни стоит новая изба...

— Позови остальных...

Смелый побежал за ними. Мы подходим... В деревне только куры меланхолически копают траву... Вот старуха глядит на нас, снимая с забора подойники.

Мы вошли в чистую, но неуютную избу. Хозяин поднялся... На столе самовар. У печки красивая баба качает зыбку. В углу вместо иконы Ленин, наклеенный на кумаче. Хозяин, конечно, смотрит на наши красноармейские звезды. Пить чай? «Что ж, можно выпить...» Какие смешные чашки!.. Новый советский герб... Ого, он узнал Смелого. Теперь он старается сообразить, кто мы такие и причем тут Смелый. Но не в мужицкой привычке сразу спросить: «А собственно кто ты такой да что тебе надо?..» Разговор ведется исподволь — с погоды да с хозяйства. Мужик угощает нас сахаром, неторопливо двигается по избе. Брови у него сошлись. Умный мужик. Неприятное, жесткое лицо. Время от времени он взглядывает на Смелого, полагая, что Смелый арестован нами... Но... кажется, он заподозрил... Брови у него свернулись в узел. Значит он испугался. Смелому не надо было смеяться.

Вот он уж подходит к порогу... Смелый не выдержал. Нехорошо, что он вылетел из-за стола... Впрочем, все уже ясно.

— Стой, дядя Петя, не уходи... Я знаю, у тебя обрез в сенях, на полке... Вот он, твой обрез... Я его взял.

Мужик побледнел и сразу понял все. «Парень, что с тобой? Парень!.. Парень!» Баба перестала качать зыбку и бросилась к ногам Смелого. Он отшвырнул ее каблуком, и, когда она заголосила, Свидерский освирепел и, сорвав с печки портянку, забил ей рот.

Мне надоело смотреть. Надо приказать Смелому.

— Стреляй...

Он завел мужика за печку. И поставил его там на колени и вернулся к столу.

— Стреляй... сукин сын.

— Вот сейчас, только чай допью.

Мужик молчит... И я вижу по его глазам, как в нем борются две мысли. Если он подымет шум, мы его убьем наверняка... А в тишине — может быть все пройдет, может быть тихо уйдем, как пришли.

Смелый медленно допивает стакан.

А коммунист ли этот мужик?.. Какая ж разница? Одним мужиком больше, одним меньше... Впрочем... И Ленин в углу...

Вдруг в зыбке заплакал ребенок, и мужик зашикал на него. Смешно... и я не могу удержаться от смеха... Но мужик ничего не понял. Вот как! Даже я вздрогнул. Мужик крикнул одновременно с выстрелом Смелого и упал.

Сундуки обшарены. Можно выходить. На крыльце сидит Михайловский.

Он мне ничего не говорит. Петров подал Михайловскому золотое кольцо:

— Возьми, твоя доля.

— Нет, нет! Куда к чорту, не хочу я!

Ах, так! Он разыгрывает недотрогу. Бьет на чистоплюйство. Нет, в отряде все отвечают за все.

— Возьмите, Михайловский.

— Я же только караулил...

— Возьмите... Я приказываю!

Теперь ты не смеешь отказаться. Ты скис. Это плохие признаки. Посмотрим, что будет дальше с тобой. Тебя нельзя было оставлять одного.

Мы проходим через деревню по боковой улице к шоссе. Теперь уже близко. Солнце поднялось, и шоссе белеет издали, как бумага... У плетня сидит старик-пастух и наблюдает за подпаском, собирающим стадо.

На пятьдесят седьмой версте нас дожидают лошади и пятнадцать человек солдат. Ребята играют в карты. Дисциплина...

— Встать!

Маркичев докладывает... Вчера в двух волостях появился карательный отряд. «Отряд б/б»... Борьба с бандитизмом. Я так и думал. Надо все-таки работать скорее.

— Так и рыщут, господин полковник... Вчерась в нашей деревне обыск был, батька меня в хлеб спрятал.

Это — Витька... Но меня он потерял.

— И еще, господин полковник.. Два человека недавно прошедшие... подозрительные, один в красных штанах... По-моему, агенты... Один с винтовкой...

— Почему же не задержали?

— Да боязно было... Думали, не стоит зря мутить.

— Петров, догони, возьми людей.

Первая телега уехала вперед.

Внизу за бугром они уже дожидают нас. Над ними крепкая синяя сосна.

Петров протягивает документы...

— Чьи? Поймали все-таки.

Петров указывает на молодого парня в красных галифе и в военной фуражке. Рядом с ним стоит другой. Простая куртка, пиджак из солдатского сукна с черными пуговицами. Что? У него нет никаких документтов. Он очень внимательно оглядывает меня и как будто совсем не волнуется. Но он окаменел, он боится выдать себя движением ресниц. У него бурое, красноватое лицо человека, привыкшего к ветрам и ко всяким погодам.

— Чем занимаетесь?

Он посмотрел мне в глаза, потом в землю, взвешивая свои слова.

— В Касьянове, в кооперативе...

— Приказчик?..

Он покачал головой и вздохнул. Так... Начинается комедия.

— Отвечайте мне сразу... номер кооператива и отдел.

Он замялся.

— Какой отдел?..

Я сам не знаю ни номера лавки, ни отделов, но он краснеет... он беспомощно задвигал губами... и...

— Собственно... не в лавке... Я в конторе больше...

— Отвечайте сразу: адрес и должность.

— Конторщик... В канцелярии.

— Почему соврали?

— Думал: спокойнее...

— Конторщик? И давно вы конторщик?

Он как будто снова перепугался, задумался, наморщил лоб.

— Что вы меня ловите в самом деле? Что я — преступник какой?..

— Не ломай петрушку... А когда спрашивают, отвечай... — сказал ему Петельков.

— Да кто вы такие?.. Я вас не знаю. Покажите ваши бумаги... Может, вы бандиты какие...

— Бумаги-и...

Это засмеялся Свидерский. Неизвестный, прищурясь, вглянул на голубой сабельный шрам Свидерского — через щеку, от пуха к губе, — на опухшие его глаза... и точно узнал его. У Свидерского спустились низко, как ставни, черные ресницы — все, что осталось от красоты и нежности юноши-кавалериста, — и там за ставнями скопилась пристальная и желтая муть, и оттого, что Свидерский то приподнимает, то опускает ресницы, — кажется, что в глазах кипит желтая капля. Это понял неизвестный. Он не сопротивляется, когда его обыскивают.

Оружия нет. Что делать? У второго — в красных штанах — документы бывшего члена РКП, вышедшего из партии... Капля начала играть... Ну, теперь, не стоит мешать Свидерскому.

Очевидно, оба парня просто следили за нами. Надо покончить сразу. Но в таких делах лучше уступать Свидерскому... Он расправляется изящно и мучительно, как кошка.

Времени еще хватит. На дороге тишина. Вдали медленно хлопочут крылья мельницы.

Неужели не чувствуют они, что выхода нет? Тот, что в красных штанах, просит у Смелого папироску... но никак не может ее закурить...

— Где оружие?

Вот, вот... Свидерский начал уже забавляться.

— Какое оружие?.. Что вы, товарищи.?. Какое оружие?..

Неизвестный побагровел.

— Где винтовка?..

Орет Свидерский.

— Да что вы, товарищи, вы, должно, спутали нас, никогда у нас винтовки не было...

Заметив нас, они могли спрятать у дороги оружие. А может быть они нарвались случайно... Если же нет, то, уйдя от своих, взглянув на дорогу, они, конечно, не рассчитывали встретить наш большой отряд. Ясно: нам попалась разведка. И если бы я не подоспел, то солдаты пропустили бы их.

Конечно, эти двое сейчас могли надеяться только на случай. Либо кто-нибудь покажется на дороге, либо бабы-молочницы спугнут нас, либо проедут из волости в город волостные милиционеры... а может быть, Витька Орлов устроил здесь засаду...

Может быть, вскоре появится из лесу отряд «б/б». Они надеются взять меня в волости... Но никто не знает моего плана... Даже наши. Даже Свидерский. Я сегодня сяду им на голову... Все-таки не надо затягивать.

— Игнатий Степанович...

— Сейчас.

Свидерский вильнул улыбкой, как хвостом. Он подходит к парню в красных штанах. Рядом — неизвестный. Свидерский продолжает спектакль. Скорее бы... Время. Время. Он указывает парню на неизвестного.

— Ты знаешь его?

Парень мнется.

— На дороге встретились... Ну, говорит, пойдем вместе... в город, то есть в Касьянов...

— Знаю, что не в Париж. Не об этом спрашиваю... Знакомы? Место службы знаешь? — переспросил Свидерский.

Парень косится на его начищенные офицерские сапоги и отвечает уклончиво:

— Дак ведь слыхали уже... что в кооперативе... Лавка номер два. Все ясно.

— Морда. Ясно! Тебе ясно!... Тебе ясно! — кричит Свидерский и, отскочив, закидывает руку за спину, потом с разбегу хлещет парня по скуле. Скула задергалась, точно она была на резинке.

— Теперь тебе ясно?

Парень упал на колени и захныкал.

— Что вы делаете, товарищ?.. Убейте меня сразу... Возьмите и убейте.

Свидерский отмахнулся.

— Ну что с тобой разговаривать... А ты... — сказал он неизвестному, — чего ждешь?

— Жду, что отпустите... Перед советской властью я никак не виноват.

— А если мы не советская власть?..

— И перед бандитами не виновен.

— Бандиты!.. Брось представляться младенцем...

Неизвестный усмехнулся и махнул рукой:

— Не взыщите за слово... Так у нас зовут. От слова не станется.

— Дай правую руку...

Свидерский рассматривает руку неизвестного, потом берет его за средний палец и, держа руку навесу, обращается ко мне...

— Ну что?... Скорее, Свидерский! Что мне тут смотреть?

— Обратите внимание, средний палец — невинен, чист и не намят, как младенец... Видали конторщика?.. Посмотрите лапу... Ногти, пальцы... Господин конторщик, может быть, левша?..

Неизвестный молчит.

Свидерский спрашивает меня глазами и шепчет мне:

— Я слышу... по чутью...

— Скорее же, Свидерский! Мне некогда. Неужели вы не видите?

Свидерский командует.

— Он, наверное, держал не перо, а собачий хвост... Да и то не по будням, а в праздники... Готовь, ребята...

Солдаты захохотали и изготовили на суку петлю.

Неизвестный взглянул на петлю, на мельничные крылья, на парня. Глаза у него завернулись белой пленкой, и видно было, что все окружающее уже начало терять свои контуры. Вдруг он собрал в складки лицо... Он старается что-то вспомнить — или, быть может, желал все забыть? Это не удается ему. Перед его глазами точка, и от нее он никак не может отвести взгляда. Это — сук на сосне.

Свидерский вдруг расхохотался, — очевидно, на свои мысли — и, подведя неизвестного к сосне, сам накидывает ему на шею петлю...

Свидерский приказывает солдатам:

— Подымите этого....

Солдаты нагнулись над человеком в красных штанах.

— Ей ты... хочешь заработать жестянку?.. Хочешь? Вешай товарища.

Парень шатается в руках у солдат, они толкают его к концу веревки.

— Ну... хочешь? Отпущу на все четыре стороны...

У парня отвисли губы, он задыхается. Ему нехватает воздуха, и в этом всхлипывании нельзя различить слов. Он только косится на своего неизвестного товарища. «Связаны»...

— Ну? — крикнул Петельков и матюгнулся. — Отвечай господину поручику!..

— Сволочи!.. Сволочи!.. — закричал неизвестный и вырвался. Веревка соскочила с сосны. Но вот его снова подхватывают солдаты...

— ... знаю я тебя, гадину! — все еще кричит он: — ... колыванцы... сволочи... белогвардейцы...

— Колыванцы! Да вешайте же его.

Свидерский набросился на солдат. Петельков снова поправил петлю и опять накинул ее на шею неизвестному.

Теперь неизвестный стоит спокойнее. Он все сказал. Он вздрагивает в руках солдат через каждые десять-пятнадцать секунд, как от электрического тока.

— Ну, будешь вешать?.. Ей, ты, красные брюки!..

Свидерский играет с парнем.

Парень будто во сне схватывается за конец веревки.

И в эту последнюю минуту Свидерский спрашивает неизвестного:

— А этого, дорогого своего товарища, знаешь?..

Неизвестный молчит.

— ... палача своего знаешь?..

Неизвестный замотал головой... Отказывается? Не хочет говорить. Веревка жмет ему шею. Он вдруг замахал рукой и залепетал. Парень в красных галифе, не дожидаясь, когда солдаты приподымут неизвестного, сам со всей силы налег на веревку... и повис на ней. Неизвестный подскочил над землей, как мячик, на целый аршин... Неизвестный вздернут. А парень сидит на корточках, впившись в веревку...

Хороши друзья! Солдаты отнесли труп на десять шагов от дороги — в кустарник. Теперь надо итти.

— А что с этим?

— Что? Повесьте, стреляйте... Что? Как хотите...

Смелый кидается ко мне.

— Ваше благородие, пожалуйте этому парню жизнь...

— Почему?

— Он по нужде работает...

— Ты что ж, знаешь его?..

— Знать — не знаю... В пивной видал, говорили... Он тогда в розыске служил.

— Ну... как?.. Свидерский?..

Свидерский пожал плечами.

Смелый держит меня за руку:

— Я вам десять голов предоставлю, ваше благородие... А его отпустите, вы ж обещали...

— Ну... Игнатий Степанович!

— Мне все равно... — отвечает Свидерский. Он уже устал.

— Вы — начальник...

Смелый смотрит мне в глаза. Великодушие — приятная вещь... И если Свидерский может тешиться, то отчего не потешиться мне...

— Петельков, спусти с него штаны и дай десять шомполов. Пусть благодарит бога, что выписался из партии...

Во время экзекуции парень ногтями рвет куски земли. Наконец Петельков пнул его ногой, и парень, точно пакет, скатился в канаву.

Пора садиться в телеги. Смелый подходит к распластавшемуся в канаве парню:

— Ну, лярва, целуй мне сапог... Да заруби на носу... Это я — бандит Смелый — даровал тебе жизнь.

Парень потянулся к его ноге. Мне сделалось тошно. Я стреляю. Зачем я стреляю?.. Но ведь я не целился.

Почему же бандит Смелый вздрогнул и упал сразу, не согнувшись, как аршин.

Петров, взволновавшись, подскакивает:

— Что такое, Иван Васильевич? Что вы?.. Что вы сделали?

— Надо...

— Иван Васильевич!.. Иван Васильевич!..

Он поражен и испуган. Смешно смотреть на растерявшиеся движения старого пьяницы. Я успокою его:

— Игра вообpажения... Понимаете?..

— Ну... — Он взглянул мне в рот и подумал, не сумашедший ли я...

Теперь он качает головой, и, что-то забормотав, усаживается на другую телегу. Отряд шумит. Петров, наверное, старается объяснить солдатам, что я подозреваю Смелого в измене, что Смелый подослан к нам. Вздор... только он и может придумать. А верит ли он сам в свои догадки?.. А если нет? Все вздор... Пусть поволнуются. Это их взбодрит лучше водки.

Я прыгну на передок первой телеги. Лихо. Оглядеть всех... Подобрать людей взглядом и крикнуть весело крепким, командным голосом:

— Смирно. Без разговоров. По местам!.. Рысью марш!

Телеги тронулись и затарахтели по шоссе. Быстрая езда... Щебень искрами выскакивает из-под колес.

На опушках — ландыши. Сквозь лес — маленькое, как дыня, солнце. Оно еще в тумане, в облачках, точно в листьях.

Город близко, — он дымится росой. Церкви, купола, багровые крыши. «Спит христианский мир». История воспоминаний!

Кажется, не поздно...

— Михайловский, сегодня мы опять расстаемся... Вы распустите на время отряд. Нужно приготовиться. Остается пока только офицерская группа. Поодиночке вы переезжаете в Ленинград... Отправляйтесь с разных станций. Я один уезжаю из Касьянова. В Ленинграде идите на квартиру баронессы Бухштабе: Екатерининский канал, у Казанского

собора номер двадцать пять бе.... Поняли? Там спросите Сименсона.... Это — поручик Краут... Он работает слесарем в хозяйственной части Смольного. Но никому его не раскрывать. Даже Петрову... Старайтесь найти квартиры отдельно друг от друга... Говорят, спокойнее в районе старого Невского, у лавры... В этом поможет Сименсон. Поняли? Ну, что еще?

— Значит нас будет трое. Я, Петров и Свидерский...

— Да... Петелькову и Маркичеву дайте инструкцию держать связь с ребятами здесь.

— А оружие?

— Оставьте.

— Так ведь они же будут грабить!

— Ну и пусть грабят. Какое вам дело?

— Так.

— Пока им грабить нечего... Деньги у них будут. А спустя месяц или два я снова их возьму в работу.

— Так.

— Что вы такаете?

— Да нет... я ничего, господин полковник.

Господин полковник... Именно господин полковник. Скажите, какие сентиментальности... Что-то у тебя кроется под этим твоим «так»?.. Ну, я тебя не выпущу... Жизнь? Скажите, пожалуйства, жизнь? Жизнь — контракт... Играешь в карты... Ну, не думать... Не думать. Это кому? Это мне. Да, я приказываю себе: не думать. «Так».... Акт... Акт... А-к-т... Чем он сегодня кончится?

— Михайловский, отбросьте все. Сейчас перед нами акт. Я беру военный отдел... Петрову — сберегательную кассу. Это — смежные дома. Вы на улице несете охранение. Как будто все?

— Так точно, господин полковник. А вы нас найдете?

— Не беспокойтесь...

Найду ли я вас? Впрочем...

— Впрочем... (я кажется, улыбаюсь... но это ничего. Сказать ему? Пожалуй, лучше сказать... я все-таки должен знать, доверяю я ему или нет? Если не доверяю... Нет, это все глупости... Крон — аристократишка и дрянь, но свой... Крон теперь тю-тю. Но что значит Крон?.. Если аристократишку заберет ГПУ... Нет, я, конечно, доверяю... Он молчит... Собственно глупо молчать, Крона нет... Вот только он... Да, именно ты... Рыжая борода. Я и должен доверять тебе)... Все мы будем целы... Если Сименсона нет. Это не может быть... Но если Сименсона нет — люди на вашей ответственности. Меня же ищите в трактире «Коммерческий» около Сенной, в перулке... В верхнем зале, во втором этаже, от четырех до шести, в обед. Ну, если меня не будет в течение недели, тоже не беспокойтесь. Вас в воздухе не оставят... Кажется, все.

— Так точно, господин полковник. Я пересяду во вторую телегу.

— Да... Объясните Петрову и Свидерскому. Про Сименсона молчать.

— Так точно...

Хорошо. Ты ловко соскакиваешь. Конечно, надо запрягать людей в работу. Тогда потянет, как лошадь в оглоблях. Думать-то уже некогда. Да и ему спокойнее. Работа и приказы настраивают на исполнение. Не надо давать ни минуты передышки, чтобы не раскисали... Прощай, деревенские хлеба!.. Еще одно дело, — и там Ленинград... Довольно уездов. Вот — этот странный мир. Город? Известно из информаций... Чорта лысого, известно... Многое изменилось за годы.

Размечтался, Карапет!.. Уж Касьянов. Вон чья-то морда сонная в окне... Сапожник? Или ответственный работник?.. Собака лает вслед нашим телегам. Вот и милиционер... Чихаешь? Недоволен? Если бы сейчас землетрясение или пожар с трех концов!.. Нищий ест кашу из горшка. Даже не посмотрел на нас...

Жизнь все-таки хорошая вещь. Приятная все-таки вещь жизнь.

— Смирягин, обгоняй... Гони прямо к совету...

— Так точно.

— Да знаешь ли ты расположение?

— Как дома. Будьте спокойны.

— Гони вперед... Ребята! Сейчас не титуловать. Догони телегу с Михайловским.

Прекрасная езда.... Лоншанские скачки.

— Ребята, никаких титулований! Милицию снимать моментально! Петров пусть займется сигнализацией в сберкассе. С богом. Маркичев ликвидирует отделение. Свидерский — ваш начальник.

Главная улица идет наклонно. Базар пуст. Все хорошо. С этой стороны все спокойно. Нам за угол... Правильно. На углу должен быть каменный двухэтажный дом с красной вывеской... Совершенно верно... Так. «Городской совет».

Время — десять шестого... Действительно еще рано. Где это разбилось стекло? Об телегу, наверное. Да ходят ли часы? Десять шестого. Если мы не захватим город... Поезд в Ленинград — семь и одиннадцать пятнадцать... Надо успеть в семь.

Из ворот выбежали два милиционера... Продирайте глаза. Вам ни черта не понять, что за люди...

— Смирягин, осаживай сразу к воротам. Тихо, ребята, не вести никаких разговоров... Говорю только я. Тише на повороте... Не видишь, что ли, тумбы... Правьте на ворота.

Тише... Спокойствие... Да, забыл расстегнуть кобуру.

— Председатель дома?..

— Так точно... На квартире..

— Отворяй ворота. Ну живее, живее!... Шевелись!

— Виноват, товарищ... Кто ж вы такие?

— Отворяй, ребята... Скидывай засов к чортовой матери... Да прикрой одну половину... Кто мы такие? Мы — такие...

Так... Милиционеры обалдели... Так... Это черный ход... Отсюда, кажется, во второй этаж... Есть, капитан Минута. Комната семь. Военный отдел.

— Ну что стоите колбасой?.. Веди нас в совет... А другой пусть идет к председателю... Живо... Петельков, возьми его. Кого тебе нужно с собой? Смирягин у меня, и еще двоих... Милиционер, ты сообщишь председателю, чтобы немедленно явился ко мне. Скажи: военная ревизия из Ленинграда... Второй... Где второй? Ты куда идешь?.. Из особого отдела округа... Поняли?

— По телефону надо позвонить...

— Какие телефоны? Идем вместе... Оттуда позвоним... Ну, ребята, марш! Забирай милиционера.

Все очень хорошо... Спокойно. Замечательно.

— Петельков... да подойди ближе, что я тебе — орать буду?.. Там на квартире кончи обоих... Милиционера и того.

— А ежели семейство?..

Семейство? Ишь, таращит усами... Ребята председательские, женка... Хорошая вещь жизнь...

— Может, смотря по обстоятельствам?

— ... Опасно, так кончай... А потом стой во дворе, и если кто зайдет, — не выпускать. Ну, догоняй...

Один... Тишина... Ну, Витька, не уследил! Вот тебе и связи!... Я один — уездный Наполеон. Какая скользкая лестница!.. Здесь. Да, это второй этаж. Помещение еще не убрано. Значит... нет, уборщики придут позже...

— Смирягин!..

— Здесь, ваше благородие....

Идиот!.. Возится над несгораемой кассой!.. Держат милиционера, все провалив. Остолопы!..

— Остолопы, да кончайте хоть его... Да не здесь, а заведи в уборную.

— Не скаж-у-у... Не скажу-у-у... Не скажу-у...

— Что ты не скажешь, дурак?.. Да ведите его скорей. Чорт знает что! Терпеть не могу крика...

Так... Комната семнадцать. «Охрана материнства».. Вот тебе и материнство... Что это с милиционером? «Не скажу-у-у...» Жизни захотелось? Комната десять... «Социальное обеспечение»... Значит за угол. Так. «Военный стол», «Прием на учет». Так... «№ 7»... «Военный отдел».

— Смирягин... Вскрывай все шкафы...

Ведомости, учетные карточки... Книжки... Пожалуй, надо взять несколько книжек... Путевки... Дальше... Неужели ничего нет?.. Здесь, может быть.

— Вскрывай этот...

— Да чорта я его своим струментом возьму!..

— А на что ты слесарь?..

— Да зря проваландаюсь. Тут ломиком бы...

— Ну... надо вскрыть.. Дай, я тебе помогу с этой стороны...

— Такие в стенку вделанные шкапчики дюже крепкие... Что ж вы это меня к женке-то не пустили?

— Работай.. Еще навидаешься.

— А все ж с нею стретился в поле, когда шел. Оказывается, она меня дежурила. Раньше сроку боялась.

— Да работай, чорт...

— Я работаю. Вы плечом поднапритесь... Стой, линейка железная... Мы ее сюды вставим, только б не погнулася.

— Ничего, давай....

Сообразительный русский народ... Вот бы вам, капитан Минута... Кажется, шкаф поддается...Он хрипит, как собака. Идет... Идет.

Чернила. Бланки. Бланки надо взять.. Пожалуй, довольно. Опять бланки... Нет ничего... Что это за переписка?.. Так... «Лагерный сбор»... «Расположение частей»... «Приказы»... Приказы — это пригодится... Дальше, дальше. Что за книги? «Поименные списки военнослужащих...» К чорту! Позвольте!.. Нет.... Ничего нет!..

— Смирягин!.. Ну-ка, сбрось эту полку... Да посмотри в окно, что на улице... Наши стоят?..

Опять бланки... А это «... настоящим сообщаю, что третья батарея...» К чорту! Нет.... нет... «что в третьей батарее замечаются подозрительные элементы... Красноармейцы Спасской волости... над ними было проведено наблюдение, но никаких фактических данных...»

Все-таки, все-таки это надо запомнить. Третья батарея.

— Ну что, Смирягин?

— Стоят, как миленькие... Поручик Михайловский зевают.

— Посмотри еще в том шкафу... Сбей эту доску прикладом, там второе отделение.. Да не жалей, ударь разу.

— Ну чего вещь-то портить....

— Бей, я тебе говорю.... Людей бьют, а он церемонится.

— Да человека-то состряпать нынче легче...

— Дурак ты... дай я... Чему тебя в лагере учили?

— Да уж никак нет. Позвольте. Мне привычнее... Ну вот и с копыт долой. Там что-то желтенькое.

— Вытягивай сюда...

— Моби... Моби...

— Мобилизационный план... Давай, давай скорее... Так. «Издание Главного штаба...» Год... «Рабоче-крестьянская...»

Ну, господин капитан Минута, ваши расходы оправдались!.. Шаги! Наверное, Петельков... «Третья батарея... красноармейцы Спасской волости...»

— Смирягин, посмотри....

— Это какой-то посторонний... Вроде жида.

— Руби шашкой сразу, как войдет.

— Ваше благородие!..

— Руби, если не хочешь засыпаться... Смотри, на улицу вышел милицейский.... Что же наши? Или этот идет в управление? Руби... никаких выстрелов. Ну, дай мне шашку.. Все? Все здесь?.. Пойдем. Погоди... Пусть он подойдет к нам. Или нет... Идем мы.. Шашкой вкось на левое плечо...

Как же он вошел?.. Ничего не понимаю.

— А-а, ты кто такой?

Трясешься...

— Отвечай, когда спрашивают.

—Уборщик здешний... Я в нижнем этажу спал. Слышу, шумят. Что вы пьяные, что ли?..

— Давай голову....

Э-э... как заныл живот... Ну и тупая же шашка!.. Не думать, не думать. Я больше не могу, чорт возьми. Чорт с ней, с шашкой. Бежать...

— Смирягин, скорее...

— Да он бьется...

— Пусть бьется. Скорее!

Скорее... Да, еще надо позвонить... Забыл, где телефон... Обратно? Нет, не хочу. Здесь — в нижнем этаже. «Кабинет председателя»...

— Алло... Барышня, управление милиции... Дежурного... Кто у телефона?.. Не понимаю... Все спокойно... Да бросьте вы меня дурачить... Давайте... Свидерский, ты... ты? Ну, что?.. Чего не можешь?.. А я могу?.. Смена постов?.. Сиди, сукин сын, и принимай все посты, вали их в камеры... Арестованных выпусти... Кончать? Начальника кончи. Не знаю. С милиционерами смотря по обстоятельствам. Сволочь, я тебя на дело ставлю, а не на гитаре играть. Отбой... Алло... Станция... Барышня... Что вы так храпите над телефоном?.. Немедленно сберкассу... Идиоты!.. Барышня, дайте продолжительный сигнал... Что? Не отвечаюг. Ну, чорт с ними! Боятся.... Сняли трубку.

Что же теперь?.. Если они проканителят в сберкассе, мы засыпемся... Мы непременно засыпемся.. Надо взглянуть в окно... Милиционер все еще стоит... Значит со стороны базара спокойно... Скорее на улицу. Какой воздух!.. Я не могу... Уже половина седьмого. Неужели не успею?..

— Петельков... Ну как?

— Все спокойно... Садитесь. Смирягин, открывай ворота... Михайловский, вы тоже здесь?

— Здесь, господин полковник...

— Ну что?..

— Петров уже поехал с деньгами в Мытищи... Несгораемую шкатулку взяли. Да с черного хода мануфактуру забрали из кооператива... Вот вам пакет...

Деньги... Да, все в порядке... Деньги... А зачем в кооператив?

— Мануфактуру? Чорт, это не входило в мои планы... Снимайте Свидерского из милиции... Мануфактуру раздать крестьянам. Расплатитесь щедро со всеми крестьянами немедленно. Бандитам тоже заплатите.

И сегодня же, только с дневными поездами, в Ленинград... До встречи... Помните, номер двадцать пять бе, квартира Бухштабе... Предложите рядовым ждать меня. До свиданья! Чего тебе, Петельков?.. Ладно, приезжай... Подробности у поручика Михайловского.

— Покорно благодарю, ваше благородие...

— Хорошо!.. Хорошо!..

Ну, кажется, кончилось все.. Снять звезду... Спрятать кобуру. Да! Еще дать наказ...

— Маркичев!

— Здесь, господин полковник.

— Оставляю вас старшим в районе... Наладьте связь с третьей батареей... Там как будто есть наши из красноармейцев. Действуйте тихо. Ничего решительного. Когда будет нужно, к вам приедет поручик Михайловский...

До поезда двадцать минут... Так. Как будто больше никаких распоряжений.

— Прощайте, ребята!

6.

Если я здесь перелезу через забор? Там огород! По огороду я обогну площадь... и за Домом крестьянина кинематограф. Надо взять влево... Вокзал сбоку... Именно так... Ну и забор! Еле держится.

Ботва скользит под ногами... Огород обнесен колючей проволокой. Остатки войны — будет война... Капитан Минута станет к тому времени генералом... Франция наполнит Данциг военной амуницией... А что буду делать я? Формировать эмигрантские легионы? Что ж, это приятнее, чем по инструкции «хитрости и лукавства».

Время... время! Успею ли? Удобнее пройти переулочком. Кажется, тем железнодорожный клуб и от него наискось станция. Билета брать не буду... Заплачу штраф. Надо подойти прямо с конца платформы. Ничего. Сейчас, пожалуй, можно? Скрипят тачанки... Чего только в них ни наложено! И дрова, и сено, и горшки. В клетушках визгливые поросята. А сверху — баба... Мужик верхом на лошади — на деревянном седле. Скифы едут торговать.

... Анатолий Павлович — корпусной физик — сладко говорил... Это было в тысяча девятьсот четвертом... Да, тогда мальчишки в мундирах вспомнили о декабристах. Идиотские мечты! Анатолий Павлович говорил: «Господа!.. Господа!.. В Ирландии революция была бескровной, потому что население всегда ело картофель».

Революция была бескровной...

Меня, конечно, никто не спросит о крови. Но я могу спросить себя... Во мне есть облагораживающая идея? Имеют ли люди право на кровь? Да, имеют. Имею ли я... имею ли я такое же право, как Смелый? Смелый— нет. А я?

Союз защиты и спасения родины...

Лакей в обтянутом фраке принесет серебряное ведерко, вынет изо льда бутылку, завернутую в салфетку, поднимутся бокалы — и все закричат: «Майор Минута!.. Поздравляем майора Минуту...» Хлопнет пробка.

Какая чепуха!

Теперь надо пройти сюда. Там кусты. Вот я и подожду здесь. Поезд уже стоит. Еще только пять минут. И тогда — до свиданья!

... чтобы толстая пробка... Нет, это вздор... чтобы хлопнула пробка шампанской бутылки.

Выстрелы.

Откуда они начались? Неужели наскочили мои? Подобралась ли засада? Или в городе все-таки поднялась тревога? А может быть те двое действительно были разведкой?

Отстреливаются... Винтовки. Наскочили? Наверное, Свидерский задержался в милиции. Паршивый гитарист!

«Где можно — с оружием в руках»...

Ничего не понять из стрельбы.

Скорее в кусты... Вот бы туда, за серую водокачку. Отсюда удобнее пройти в последний вагон. Но зачем по перрону проходит охрана? Только двое. Очевидно, просто осмотр. А с той стороны? Нет, ехать нельзя. Они сейчас же меня заметят. В вагоне может быть осмотр. И штрафом не отделаешься. Отсутствие билета заставит их подозревать еще более.

А-а... чорт побери! Назад? Но куда же назад? В город сейчас не покажешься. В лес... Но как? Как я выйду из-за водокачки? Всего полтора вершка, и через десять минут я буду раскрыт.

Залпы. Залпы.

Отстреливаются правильно. Значит все в порядке, они уходят. Только я прикован к этой кирпичной стене. Вот и третий с красным околышем. На той стороне. Несомненно, за платформой наблюдают и в пути готовят проверку.

Кончен полковник Маклецов.

Сбросить документы?.. Выйти с удостоверением кооператора Легасова? Жалко бланков...

И мобилизационный план!..

Оставлю только мобилизационный план. Но если потащут на проверку?.. Если заподозрят, чорт возьми! Нет, выходить надо совсем чистым. И все-таки через пять минут документы подберут у водокачки — сторож, стрелочник...

Пришьют мне.

Кончен полковник Маклецов!

Твой последний рейд! Прощай, Венера! Ты потеряла свою страну... А себя? А я... а я... а я, чорт возьми, что я потерял?..

Спокойнее, Маклецов! Держись крепче! Никакой паники! Папиросу в зубы. Конец надо встречать достойно. Бегство бессмысленно. Некуда. Надо подойти просто... Первому. Самому. Расстрелять по ним всю

обойму и последний патрон оставить для себя. В рот. Чтобы никаких сомнений. Так.

Револьвер в порядке. Еще три минуты. Платформа очистится. И мы дадим бой этим молодцам.

Если здесь Витька, он меня не упустит. Живым ты меня не увидишь, приятель.

Вот эти два чекиста подходят к краю платформы. Они смотрят очень внимательно...

Еще одна попытка.

Тихо. Спокойно.

На площади наблюдение... Вокзал — невозможно...

Стук копыт — это верховые на площади. Сволочь — Свидерский, надо было перестрелять милиционеров.

На площади...

Платформа... Глупости!

Если я пойду вбок, прячась в канаве?.. Это возможно. Проползти на брюхе хоть с полверсты... А там.. Ну, все равно!

Сегодня, конечно, будут разъезды. Но это все-таки возможно. Значит еще есть шанс. Один шанс!

Что такое?

Мимо несется паровоз с вагоном. Это очень удобно. Так... В эту минуту я выхожу из-за стенки...

Быстро.

Опоздал... Опоздал! Нет, теперь не выйти. Эти двое отвернулись. А третий смотрит прямо сюда. Я опоздал. Кончено!..

Выхода нет.

Да... но они подают вагон к поезду. Это будет прицепка. Товарный. Пустой. Паровоз пойдет обратно. В течение тридцати секунд между двумя путями, между поездом и паровозом могу быть я. Только проскочить под носом паровоза, три шага... И чтобы эти не обернулись. Меня скроет на момент, и я вскочу в товарный вагон.

Ну! Револьвер готов, и думать нечего. Надо успеть пробежать под самым носом паровоза. Колеса неотвратимой машины, если я поскользнусь...

Еще секунда. Если те двое обернутся, они все равно не успеют. Они закуривают. Еще удобнее.

Пошел... Раз.. Так... Чорт, там сцепщики!..

Пропало. Конец. На виду.

На паровоз. На подножку паровоза. Больше некуда...

— Вам что здесь, гражданин? Куда вы вскочили?

Тише, не волноваться.

— Вы машинист?.. Ну, так не ваше дело. Охрана. Не знаете, что ли?.. Давай скорей ход к голове.

Вот здесь соскочить...

Да, но я не могу прямо — в вагон.

На меня смотрят все кондуктора. И народ. Чорт!.. Агенты на конце платформы... Надо в паровоз.

Кочегар смотрит удивленными глазами. Мне надо в паровоз... А там... Некогда...

— Ну-ка, пропусти в паровоз, товарищ.

— Что это за паника у нас?..

— Белогвардейца ловим... Не знаешь, что ли?..

— То-то все собравшись...

Машинист косится... Косись, чорт с тобой! Так... Станцию прошли. Теперь идем обратно к поезду. Если выскочу влево, то тут агента нет. Но тот от водокачки может меня заметить. Направо тоже выходить нельзя. Там — те двое.

С левой стороны — двери вагонов, закрыты. Остается только товарный. Схватиться за него. Агент, конечно, заметит. Но это в хвосте поезда. Последний вагон. Поезд дает ход. Ему от водокачки не достать.

Скорей бы прицепка! Возятся со своими крючками. Поезд опаздывает уже на четыре минуты... Четыре.

— Да... Вы с нами?..

Я... я... сюда идет железнодорожник с жезлом....

— Я... нет... я выхожу...

Сцепщики... Начальник станции прошел мимо. Во-время я ушел с паровоза.

— Давай!

Это кто? Да... это кричит начальник станции. Мне надо пройти немножко вперед. Тронулся поезд. Меня никто не трогает.

Сцепщики, дежурный по станции, начальник — меня закрывают от того... Вот хорошо, идите. Идите, я прикроюсь вами.

Вагоны мимо...

Ребята в окнах. Мужики. Чей-то приплюснутый нос... И глаза?.. Витька? Нет, промелькнуло. Не он...

Мимо вагоны. Мерно. Раз-два-три. Уходит поезд вперед. В неизвестное. Так и хочется подтолкнуть его. Я за спиной пролетариата.

Предпоследний вагон. Последний. Товарный...

Схватиться за эту скобку и подвеситься.

Венера, благослови!

Маклецов!.. Теперь занести ногу и приподняться на мускулах. Вот...

Поздравляю вас с благополучным отъездом из Касьянова, господин полковник!

Помещение не из блестящих. Но для вас хорошо и это. Вагон из-под скота. Ничего... Ничего. «Блажен иже и скоты милует».

Блажен... Блаженство. Как хорошо зажмуриться! Прекрасный вагон! Чудесный вагон! Замечательный вагон!

Надо взглянуть на путь. Агент от водокачки кому-то машет рукой. Не по поводу ли меня? Кому же он машет? своим? или в поезде?

В поезде ведь есть охрана. Может быть, это сигнал. С этой стороны, кажется, никто не смотрит. Да, все закрыто. А с правой?.. Дверь заперта. Не двигается... Если там смотрят и приняли сигнал...

Чудесно. Пусть смотрят. Пусть приняли сигнал. Пусть обыскивают вагоны. До меня им не добраться. Им не попасть в товарный на-ходу. Следующая станция — Заболотино. Пятнадцать верст. Не доезжая, можно спрыгнуть.

Но хуже — другое...

Чекисты поведут наблюдение, очевидно, над всеми ближними станциями. И как бы не попались мои? Пусть возьмут глаза в зубы.

Ведь я сам еще не ушел.

Но я уйду. Теперь я уйду наверняка!

Я уйду. В этом не должно быть никаких сомнений. Дальше — составится план так, как он составится. Только бы не пропустить момента. За три версты от Заболотина мост, там путь немного в гору. От моста идут деревня Дылицы и дворец Охотниковых.

- В Париже, Эдди, я тебе передам привет от твоего дворца. Ты все еще сердишься на меня? Хотя пора было бы... Впрочем, Эдди, ты всегда была дурой... Нет, у меня не выйдет никаких лирических воспоминаний. Девяносто седьмая верста... я ошибся? Девяносто седьмая верста. И девяносто шестая. Скоро мост. Я уже забыл эти места. А ведь уж не так давно мы здесь охотились. И Эдди ходила с нами. Она очень гордилась тогда своей английской двустволкой. Я ведь никогда... Помнишь вечер у тетушки Бухштабе на Екатерининском канале?.. Уходила на войну гвардейская артиллерия. Там много пили... Баронесса наприглашала поэтов, и лукавый «мужчина» из Заозерья читал «голубиные» стихи и правил лесную обедню... Ты была пьяна. Все тогда были пьяны. Под утро мы остались с тобой одни. Аничка Бухштабе уехала молиться в Новодевичий монастрыь с полковником Белосельским... Одеяло было тонкое, стеганое, из разрисованного туркестанского шелка... Ты... ты была хороша... Я боролся с собой, потому что ты была пьяна. А я умел думать... Не только думать. Я верил... Но на охоте я не хотел верить. Ты лежала тогда на земле. Я посмотрел на землю и на тебя. Ты поняла сразу, усмехнулась и сказала мне, что ты сегодня не можешь... ты больна. Ты это сказала противно, как французская актриса.

Девяносто четвертая верста.

Взглянуть? Так... Березовый лес уйдет. Мы свернем налево, солнце будет сзади, и там будет мост. Эта кирпичная будка все еще стоит. Тут мы пили с Эдди молоко, и беременная сторожиха, упирая круглый хлеб в живот...

Кажется, будто что-то мелькнуло над головой.

Быть может, пролетела птица. Или я просто ослаб и не сумею соскочить? В Заболотине меня ждут. Это ясно. Вот сейчас свернем направо... Тогда мы шли березовым лесом и очутились на зеленом валу. Нас осве-

щало солнце. И под ногами то-и-дело ломались целые семьи подберезовиков. И ты кричала мне...

Вал все такой же... Землю покрыло пушистым бархатом.

Невероятная новость!.. Все перевернулось! На крыше сидит человек в шинели. Меня сопровождает охрана. Лирическая точка!

Так... вот и второй спускается с крыши. Но знают ли они, что я здесь?

Их выдала тень... Линия пошла налево, и солнце обнаружило их. Но ведь моей-то тени нет. Славный силуэт!

Он сидит на крыше. Курит папиросу. Но почему они не остановили поезда?.. Они меня заметили, когда я высунул голову у березового леса. Лирика, чорт побери! А второй, очевидно, пошел к начальнику поезда... Сейчас остановят. Папироска брошена. Ага, ты волнуешься!

Нужно встать вбок. Девяносто третья верста... Мне кажется, что поезд замедляет ход. Неужели тот уже сообщил машинисту? Что-то скоро. Или подъем перед мостом?.. Вот отсюда виднее... Да... Скоро поезд войдет под каменный туннель перекинутого над полотном моста. Нужно соскочить как раз в эту секунду... Верхний встал. Неужели он понял?.. Да, он понял: если я соскочу там, им не попасть... Меня закроет каменная стена туннеля... Я соскочу за нее.

Конечно, он понял...

Он что-то кричит... Хотя того уже нет... Только бы тот не успел сообщить машинисту!..

Мост... Мост... Мост... Скорей же мост! Дорогой мост!

Тень беснуется. Тень кричит. Но тебе, голубчик, не убежать. Ты не оставишь своего поста. А приказов твоих не слышно. Не слышно...

Неотвратимые колеса машины попрежнему отбивают мне жизнь. Раз-два-три... Раз-два-три...

Так. Так, паровоз. Веселее бери подъем!

Девяносто вторая верста.

Еще немного. Еще полминуты.

Прекрасный мост! Бесценный мост!

Ты сходишь с ума. Понял? Все до конца.

Полминуты — это огромная плата.

Если я сыграю в ящик?.. Найдут ли мои Сименсона?.. Жалко, что мобилизационный план остался при мне.

Мечись, тень... Ты спускаешься... Так... Думаешь стрелять с площадки соседнего вагона? Это удобнее...

Девяносто процентов твоих. Десять — моих. Но эти десять я не уступлю тебе. Ты встал на площадке. Маузер готов...

Свисток?.. Паровоз дает свисток... Останавливают поезд...

Одна секунда.

Да... прыгаю... все равно. Венера!.. Раз... Я прыгаю. Он стреляет назад или вкось.

Мост.

«Спокойной ночи, полковник!..»

Вспыхнуло в глазах... Синий огонь.

Я ясно видел его лицо. Это — Витька. Это он стоял на площадке. Он метил правильно. На тридцать градусов — угол падения. Отчего был огонь? От удара, что ли?.. От падения тела. Еще полшага — и меня разбило бы вдребезги об эту каменную стенку. Восемь вершков.

7.

Поезд понесло под уклон. Мчись!.. Мчись быстрей, мчись! Вниз! Под гору!

Значит здесь не затормозили...

Могу подняться... Да, могу подняться... Колено разбито? Ничего... сумею ступить... Витька думает, что от меня осталась каша.

Надо перейти через путь...

Надо итти... Надо итти скорее.

Витька сейчас остановит поезд. Нет!.. Поезд даст задний ход. И они вернутся к мосту.

Неужели Витька прав?.. И мне не уйти?

Скрепись, полковник! Но ведь Витька не знает, кто это...

А чувства?.. Эти странные, подсознательные волны?

Куда же итти?.. Там деревня... Меня сейчас заметят. Я никуда не уйду.

В деревне не скроешься.

И Витька... К чорту Витьку! Никакого Витьки нет. Все мерещится. Но все равно, надо бежать. Я не могу бежать. Мне все равно.

По деревне гонят коров. Бабы на улице. Не уйти. Попробовать разве в парк?.. Лучше — подальше от деревни. Густо разросся орешник. Остаться в нем? Нет, это близко... Может быть, пустой дворец... и там залезть в какую-нибудь щелку до ночи?

Одинокое озеро. Оно в тине. Провалилась каменная пристань. Ольха нынче лезет прямо в воду. Полковник, живее ищи щелку!.. Враво была каменная беседка... И там ничего? Груда камней и красные торжественные мухоморы. Если подняться по этой дорожке... или по той, я дойду до фонтана с каменной террасой. Терраса ведь не могла провалиться. Но здесь ничего не разобрать. Всюду расползлись пышная крапива и розовый, дикий чай...

Где же дорожка?

На березе сушатся чьи-то штаны. Пожалуй, дорожка именно здесь. Тут как раз поломаны ветки. Конечно, сюда. Эта каменная узкая лестница сбоку. Еще немного усилий. Прямо будет большая клумба за сиреневыми кустами, большой песочный круг перед главной террасой. Да, конечно, сюда.

С террасы был прекрасный вид. Озеро между двумя рощами лежало как на сцене. И по вечерам...

Пошлые воспоминания! Еще кусты крапивы. Когда же конец?.. Теперь... Вот и лужайка. Но сколько на ней народу! Что там за крик? Какая пестрота!

Сколько нарядных костюмов! На террасе сервирован завтрак. Боже мой, там даже предводитель дворянства с Анной на шее... Как будто он... мы еще называли его «кувшинное рыло»... Летняя парадная форма... Гусарские ментики. Старухи в чепцах с широкими, пышными бантами. Воланы. Тальи, перетянутые муаровыми лентами... Мордатый бульдог... Что ты лаешь? Это же Джипси! Ну, да... а в сиреневом с черным кружевом, очевидно, Наталья Владимировна... Где же Эдди? За тою колонной, — там, где сидит кривляка в сюртуке... У террасы толпа крестьян. Мужики улыбаются. Я ничего не понимаю.... Я сошел с ума.

Ты мерещишься мне...

— Эдди!..

Надо закрыть глаза. Надо придавить мираж... Нет, я сплю. Я в больнице с разбитой головой...

К чорту егерь... Ты нарядился в серый казакин, зеленые жгуты... Зачем шесть лошадей? Куда вы поедете?

— Довольно! Довольно!

Я как будто кричу... Все это вздор! Я сейчас никуда не поеду... Понимашь ли ты это? Да. Это — смерть. Я никуда не хочу ехать.

— Дворянин... был опорой... надежной...

Кто это крикнул?

— Так. Так. Теперь перевернитесь к колонне. Медленно... Глядите на старуху. Улыбайтесь. Да говорите же, чорт возьми!

— Дворянин... был надежный.. Дворянин умел.

Опять этот голос:

— Не глядите в аппарат... Выше бокал! Вы держите вино. Вы... чорт возьми, дайте же дворянский пафос, предводитель.

Я попал на съемку... Оригинальный рай!

Я теперь понимаю... Я верчусь в миражах, — я ожидаю миража. Я претворяю факт. Но это лишь на секунду. Сознание возвращает меня к факту. Значит я здоров. Я не хочу умирать.

Снова голос. Картавый, резкий. Он кричит как будто с неба:

— Престол. Царь. Отечество... Да повторяйте же... Тише. Стоп!.. Снова последнюю сцену, начиная с бокала. Старуха, вы не гримасничайте. А улыбайтесь и плачьте. Два чувства: гордость за сына, — он идет на войну — и печаль. Снова. Приготовились? Внимание!.. Начали! Теперь на аппарат.

С неба?.. Нет, это оттуда:

— Энергичнее!.. Раз-два-три!.. Рубить...

Это слева, с вышки, снимают — за березами. Аппарат стоит на вышке.

— Дворянин был... Престол, отечество и царь.

Это говорит предводитель.

Вылез другой аппарат. Платформа едет на меня. Сверкает металл штатива.

Голос:

— Пошли... Тихо. Не спешите, не на свадьбу... Молодежь. Офицеры — на коней. Девушки — к фаэтону... Старики — в сад... Предводитель ораторствует. Возьмите под руку старуху. На последней ступеньке задержитесь. Скажите несколько слов. Опустите ногу...

На меня бежит этот молодой и лысый человек. Он большой, но он похож на Джипси... Если бы Джипси вырос и стал человеком? Что ему надо?.. У него лицо в поту. Сердится. А я жив.

— Гражданин, идите за террасу. Нечего толкаться на самой съемке.

Я пойду. Как будто мне не все равно. Коленка распухла. А я жив... Я буду жить...

Я встану здесь, с мужиками, с лакеями.. Егерь дразнит Джипси. Рядом с этой бабой встану я... Еще дальше? Хорошо, я встану дальше. А, еще дальше? Совсем?.. Возможно ли? Возможно, но куда это ведет? Есть ли смысл в том, что я жив?

Витька! «Чудовищная сила воли. Прокалывается в присутствии врачей».

Я остановлюсь здесь — около этой пухлой рыжей женщины с младенцем на руках. Она в голубой полосатой пижаме и в лакированых туфлях. Она не умеет держать ребенка. Я ей скажу. Сказать можно. Даже лучше сказать. Она подозрительно смотрит на меня. Может быть, у меня ссадины и синяки на лице? Когда я брякнулся... Еще бы: восемь вершков и каменная стена моста... Да, я все-таки ей скажу.

... Я не оцарапался. Ссадил руку. Это ничего.. Завяжу платком. Здесь столько народу. Я как зерно — в мешке с зерном.

— Вы не так держите ребенка.

Вот и сказал. У нее зеленые глаза, холодные. Это не женщина. Это большое жирное растение, не знающее, зачем оно живет. Она смотрит удивленно? «Почему не так?..» Наконец она решилась спросить. Я тебе отвечу.

— Да, так нельзя. Так у ребенка затечет голова. Это—мальчик? Я угадал. Приподымите его вот так... Хороший мальчик.

Ты улыбаешься и неловко, и развращенно. Но ведь ты растение, ты дорожишь своей веткой.

Я, кажется, бледнею. Да мне холодно. Но ты должен стоять, ты не смеешь уходить. Тебе некуда итти. Стой, стой!

У нее толстые ноги, но стройные. Бабы смотрят на нее. Вот и мужик мигает. Еще бы не мигать! Зачем же ты надела эти голубые штаны?

Шелковые голубые штаны.

— Приготовились?.. Внимание!.. Не замедляйте движения. Предводиель у клумбы останавливается.

Гости на ступеньках террасы.

— Начали! — Это картавый командует с неба.

Мой старичок идет первым. На последней ступеньке он начинает кривляться...

Аппарат шумит, как цикады в Галлиполи. А-а, нехорошо, я не могу стоять. Не заметила бы она.

— Вы здесь живете?.. Не правда ли?

Ей надо улыбнуться. Впрочем, ведь ничего, она — хорошая баба. «Да?» Спокойнее, Маклецов!

— Да, я здесь живу.

— Мы тоже... Мы уже неделю здесь снимаем. Здесь чудесный воздух. Не правда ли?

— Прекрасный.

— И даже в природе чувствуется дворянский шарм.

— Пожалуй...

— Старая Россия!.. Мой муж снимает.. Он — режиссер... фильм будет называться «Последняя точка Стерлецких». Красиво? Не правда ли? В этом есть свое кашэ.

— Да... Несомненно...

Дурно... Если я сейчас упаду, это будет очень плохо. Этот высокий худой лакей, сдергивая перчатки, подозрительно оглядывает меня. Он очень внимателен. Артист? Но кто ж их знает... Он вглядывается. Несомненно, он что-то понимает... Догадался. Быть может, видит. Вот он раскрыл рот... Он узнал меня. Что он хочет сказать глазами?.. Не смотри, пожалуйста. Я отвернусь. Я никогда не знал тебя.

— Биба, Биба! Что ты делаешь?.. На тебя все обращают внимание...

Это мне... Нет, это совсем не мне... Это тот... У него расстегнут ворот. Он распарился. Что с ним? Это — картавый. Но он уже рядом. Значит, все кончили. Так это рыжее растение называется Бибой. Сколько рыжих! Все мне встречаются рыжие. Твоя рыжая Биба. И рыжая Венера... Он нежен с рыжей женой.

— Биба, уйди!..

— Малютка, не злись, пожалуйста.

— Бибочка, это же неудобно. Мне не до злости.. В голубых штанах... Ты бы еще пришла голой. Все же смеются... Мог написать в дирекцию... Биба?

Господин режиссер страдает. Вот и страдай... А тебе дирекция пропишет.

— Ну, что здесь такого, малютка? Кому до меня дело? Не правда ли?

Я кланяюсь... Да, я кланяюсь Бибе... И даже улыбаюсь. Но это уже совсем механически:

— Правда... Совершенная правда...

Он смотрит. Нет, он даже не хочет смотреть. У него передернулось лицо.

— Биба, умоляю тебя. Иди сейчас же домой.

Биба взглянула на меня простыми, как листья, глазами. Опять она не так держит ребенка. А мне ведь действительно жаль, что ты уходишь...

Кивнула. Прощай. С тобой я, пожалуй, мог бы говорить. Я один... Мне некуда итти.

Все расходятся.

В усадьбу нельзя. В деревню? Куда же? Неужели те не будут меня искать здесь? Непонятно, почему замешкался лакей. Нарочно, что ли? Как хочешь!.. Твое дело — глядеть. Мое — итти.... Пойду куда-нибудь. Все тот же двор. Флигель заново переделан. Конюшни крепкие. Прочный кирпич.

Холодно и нехорошо. Если уж так, если ты хочешь подойти ко мне, так подходи скорее. Решайся. Разве ты не видишь, что я хромаю? Я не окажу сопротивления.

— Простите, гражданин...

Ну вот, давно бы так. Я смотрю: что тебе надо?

— Отойдем в сторонку.

— Куда угодно... Можем даже присесть. В чем дело?

— Вы меня не узнали, Иван Васильевич?

Нет... Я же не знаю тебя. Но если ты узнал, так чудесно. Я не буду отрицать. Впрочем, я еще тебе ничего не сказал. Я молчу... Ну, а дальше что?

— Шарикова разве вы забыли?..

— Шарикова... Какого Шарикова?

— Степаныча... А я моментально признал. Гляжу: наш полковник...

Что ты мне стараешься втолковать!.. Степаныч?.. Какой Степаныч?..

— Да вам всегда в кабинете служил. Бутылки еще перепутал.

Какие бутылки?.. Где? Ресторанный лакей? Путал? Что ты путаешь?

— Князь приезжал к господам... И я с ним... Помните?.. А когда вы наезжали, то у князя спали в мезонине. А князь-старичок возил свою винную библиотеку и вас потчивал...

— Степаныч? Узнал. Степаныч!.. Ну, узнал!

— Иван Васильевич!.. Господи! Вот приятное свиданье!

Теперь начинается. Ему я сейчас должен сказать. Он ничего не сделает... А если я попрошу... Но все равно, я должен рассказать.

— Степаныч, я не Иван Васильевич. Это — первое. Второе — я только что бежал от властей. Третье — у меня разбита коленка. Я должен отдохнуть часа три... И потом я уйду. Скажите прямо, можете вы мне помочь или нет?

— Иван Васильевич!..

— Я не Иван Васильевич...

Вздохнул. Не знаешь? Я тебя не неволю. Я доверился тебе. А ты можешь поступать, как хочешь. Мне ждать некогда. Каждая секунда...

— Вы, Степаныч, были хорошим слугой. Но я не неволю вас. Как вам удобно. Вы должны мне помочь...

— Часика три... Где же?.. Как же я?..

Ты думаешь? Ну, подумай. Больше мне не надо. А там посмотрим.

— Не больше. Даже два.

— Идемте, Иван Васильевич... Я вас уложу... Часика два...

Во флигеле очень уютно. Еще сохранились старые кресла. Их унесли, конечно, из дворца...

— Вот и моя келья на старости лет, Иван Васильевич... А уж чего-чего тут ни было... Вы ложитесь... Я сейчас сготовлю компресс.. Седые мы стали. И вас тоже время присыпало.

Да... немного распухло. Но это только ушиб. Чашечка цела... Ах, как хорош компресс... У-у!..

— Погодите, я ледку достану... А потом забинтуем... Откуда? С лошади, что ли?

— Нет, с поезда прыгнул.

— С поезда?.. Боже мой... с поезда!..

Он суетится... С поезда!.. Испугался. Да, с поезда! С тебя довольно. Больше тебе и не надо рассказывать. Одеяло?.. Очень хорошо. Укрыться и заснуть. Три часа... Это много. Можно хорошо выспаться. Целых три часа.

Накроют?

Что ж... не спрячешься от судьбы.

Где она — эта судьба? В лакее...

— Я притворю окошко... а сам на дворик пойду.

— Я не беспокою вас? Вы что же тут делаете?

— Служителем... Ведь у нас был музей образован во дворце-то... Показательный. Усадьба вельможных бояр... Потом — советский совхоз. Ну, а нынче беда... Переполох. Кинематограф делают, и в актеры меня записали. Три рубля получаю... Походишь — подашь... И за сеанс — три рубля. Тут есть некоторые актеры — тридцать целковых за сеанс... Смешно, мужиков намедни пороли... Представляли, конечно. Порубка лесу. Зверства все выдумывают.

— А советская власть за порубку взыскивала?

— Да, конечно, взыскивала... Да и как не взыскать! Ведь ежели, Иван Васильевич, с мужика не взыскать, он тебе весь лес порубит.

Поскреб что-то за печкой, убрался... Деликатный старик. Так он даже лучше, в этой вязаной фуфайке. Не думал я и не гадал, что мне придет счастье от Шарикова.

Девяносто вторая верста... Мост... Можно спать. Это — не нога... Это что-то ноет внутри... Но ведь все уже было. Был страх... Больше было. Этот уборщик...

Но ведь он мог бы и не давать головы! Он сам виноват. Он сам сплошал. Мало ли что я ему приказываю... Но он бы сказал: не дам. А он протянул и даже наклонился. «На, возьми». А ему топнуть бы, крикнуть, чтобы я убирался. «Дворянин был... дворянин умел».

Пусть в Ирландии ели картофель, но революция не могла быть бескровной.

8.

— Теперь забинтуем...

— Очень хорошо. Только разрежьте в этом месте бинт, чтобы удобнее было завязать.

Опухоль меньше... .Золотые руки! Чай, колбаса, лимон. Совсем роскошное пиршество. Захлопотался старик. Чайку? Конечно, можно чайку. Фырчи, чайник, о том, что мы еще будем долго жить. И не спрашивай, зачем да почему?

— Прежде, Иван Васильевич, в жизни были нечеловеческие богатства, а люди чувствовали себя низко.

«Я не чувствовал...» Ты глядишь в меня? Усмехнулся. Понял мою мысль... Ну, я ее не скрываю. Что же ты скажешь?

— Вы не чувствовали, Иван Васильевич, а мы-то чувствовали. Нас — больше.

Пожалуй, ты прав, но я не хочу этого знать. Вот острый луч качается на цветке и в этой банке, он даже проходит в варенье и согревает его. Залетела муха. Танцует и кружится в нем. Ей радостно. Выскользнула из-под стрехи ласточка, чиркнула крыльями и сразу подскочила вверх. Теперь вниз, из тени в луч. Она заметила пищу. Как изящны и плавны крылья, умеющие ее держать! Луч лежит пустой.

У ласточки маленькая головка — и голод. Все это неверно. Неверно.,

Я кривляюсь. Ничем старик не ладен. Обыкновенный старик. Нет в нем ничего особенного. Разве распухший нос? Живет. И камень живет. И навоз тоже живет. И ты живешь. И старик. На три часа пустил. А зачем ему пускать больше? Неприятности, хлопоты, ответственность. Из-за чего он будет страдать? Пошлый старик. Он так сделал, как надо было сделать. Встретил — обрадовался. Пьет чай, ест колбасу и радуется...

— Вы где ж служили? По какой части?..

— В артели... промышленная артель...

— Беда нынче с артелями... Что не так—кончено... И попал. Колбаски, Иван Васильевич!

— Да спасибо, я уж ел.

— Вкусненькая... из Питеру нам привозят.

Для меня, что ли, купил? Ну скажи, ведь хочется похвастать. Обрадовался, а теперь боишься...

— К поезду идет от нас машина...

— Какая машина?

— Грузовичок... актеров возят со станции и на станцию. Сегодня едут в Питер несколько человек. Я на машину вас устроил.

— Спасибо. Это очень хорошо, Степаныч...

Действительно это очень удобно... С актерами. Это пройдет совсем незаметно, если там дежурят. Собственно там, конечно, дежурят.

Там должны дежурить. Я попрошу кого-нибудь из актеров взять мне билет вместе с ними...

Чудесный день... Здесь летом будет хорошо пахнуть орехами... Они нальются, бухлые, зеленые. Хорошо нагнуть куст, потянуть, он упирается и кокетничает со своими плодами. Хорошо срывать их и грызть еще твердую, но уже жирную мякоть. Потом отпустить куст, — он выпрямится, расправит ветви, потрясет своими фальборками, как живой... В самом деле живой!

— Степаныч... Когда же машина?

— Я к Демке схожу. К шоферу!

— Поди, поди.

— Иван Васильевич!

— Что же ты не идешь?

— Агенты были...

— Что?

Что... какие агенты? Ах, могилу копать! Вот как, это чудесно!

— Какие агенты?

— Да они только наметом ко мне зашли, когда вы задремали. Я им сказал, что это актер из кино. А в саду тут же актерство спало. Они поверили и ушли. Иван Васильевич, скажите мне, что вы сделали? Вы не на службе ль растратились?.. Так ведь не страшное это дело... Лучше отдайтесь... Скажите мне, Иван Васильевич.

Как же тебе сказать: что мной владеют несколько людей, что господин Савинков дал мне строгий приказ и капитан Минута снабдил меня лукавыми и тонкими инструкциями? Сказать, что, изнывая от лагерной, лошадиной тоски, мы снова готовы будем кинуться куда угодно — в бой, в извержения, — только бы... Полутюрьма — полусвобода, спирт, прикомандированные проститутки... Где сон...

— Иван Васильевич!.. Не надо, не говорите! Господи боже мой! Не хочу! Ничего не знаю, господи боже!..

— Я еще ничего не сказал...

— Не говорите мне... Уйдите скорее. Мне страшно смотреть.

— Не ломайся. Ты уже все сделал. Так делай дальше.

— Иван Васильевич!..

— Поздно просить!

— Иван Васильевич, увольте!

— Уволить я не могу. Уволить я тебя мог раньше, но сейчас я тебя не могу уволить. Понял? Я тебя спасаю. Я должен уйти — и так уйти, чтобы никто не знал. Чтобы я не попался. Ведь если я попадусь, тебе тоже не миновать беды.

— Не миновать... Иван Васильевич, что же вы сделали? Барин, как вы смели сделать это со мной!.. Иван Васильевич!..

Теперь ты понял! А почему я должен тебя щадить? Мне все равно, потому что меня никто не пощадит. Ты теперь плачешь и царапаешь себе грудь.

— Иван Васильевич, не выдавайте меня!

— Зачем мне тебя выдавать. Когда идет машина?

— Уйдите так, Иван Васильевич, пожалейте меня.

— Когда идет машина?..

— Иван Васильевич!..

— Слушай, Степаныч. Прекрати! Я должен уехать на машине с актерами. Понял? Приготовь мне пальто и какой-нибудь картузик.

— Иван Васильевич... что же это?..

— Не тряси кулаками. Спокойнее! Будь осторожен, если не хочешь завалиться. Исполняй, что тебе приказывают. Деньги я тебе заплачу. Довольно тебе ста рублей?

— Не надо мне денег... Не возьму я. Гроша не возьму.

— Возьмешь. Ну, пойдем. Подымайся.

Смеешься. Губы сводишь. И все-таки пойдешь, подымешься, дашь! Ругаешь меня, просишь — и все сделаешь от отчаяния! Благодари, что я тебя не толкнул дальше.

— Идем. Там уже стучит мотор. Ну, марш!

— А - а, лопни мои глаза!.. Будь проклят тот час!..

Решился. Давно бы... Ну, теперь прощай, дом, колонны... Скорее, скорее! Ничего не было, ничего не жаль. Кончен бред — березовые рощи, охота, орешник. Был ведь все-таки. Был этот бред.

Ты, бывший мой лакей, это понимаешь. Ты понимаешь... ты все понял и потому молчишь. Давай скорее пальто. Потерто. Это ничего. Каскетку на голову. Сто рублей тебе в зубы.

— Зеркало дай... Вот деньги.

— Денег мне не надо.

— Возьмешь.

Закину тебе за кровать. Вот так. Пригодится.

— Я их сожгу.

— Жги.

Он меня злит. Все готово. Пошли.

Вот как! Тут и эта дама! Здравствуйте! Это весело. Надо с ней полюбезничать.

— Вы тоже едете?.. Даже с ребенком!

— Да у него животик... Надо в Ленинград. Мне так страшно.

Ветка прижата к груди. Ты немного побледнела. Мать... «Святые» чувства! А держать ребенка не умеешь. И тоже — «страшно».

— Дайте ребенка мне... А то в грузовичке будет трясти. Я сяду с вами.

А, и картавый здесь! Ты улыбаешься. Лицо у тебя дрессированное. Ты — простой малый.

— Прощайте, Ефим Степанович.

— Прощайте.

— Малютка, завтра выезжаю, если не страшно.

— Ну смотри, Бибочка... И не забудь позвонить на фабрику, чтобы прислали нам и пленки.

Машина взяла скорость. Переделанный фордик здорово справляется с ухабами.

Наверно, у меня глупый вид с младенцем на руках. Но зато конспирация!..

. . . .

«Столовая «Голубчик» с подачей пива».

Здесь мужики останавливаются, когда едут с базара. Здесь остановился и твой взгляд. Здесь, кажется, ты заметил, что у тебя мокрое пальто. Это — он. Эта детка, счастливая и неведующая, кто ее держит на руках. Мадам Биба, да, да, это ваш отпрыск... прекрасное детство! Это его работа. Вы смущены. Не надо. Не надо.

— Пожалуйста, не извиняйтесь. Нет, я его вам не отдам. Я его довезу до Ленинграда.

— Вы так любите детей? Нет, вы положительно милы.

Актеры взволновались. Они перестали улыбаться.

— Вы прирожденный отец.

— Да, господа актеры. У меня дюжина детей. Я хочу догнать до двух дюжин, и тогда я скажу — баста!

Я осторожно снесу его с грузовика. Я буду его держать в вагоне. Ведь никто же из вас не умеет держать детей. А в вагоне — тряска.

Так. Теперь поворот налево. Мы приехали!

— Возьмите, пожалуйста, мне билет. Я заплачу в вагоне. Будьте так добры. Он заснул, наш прелестный младенчик.

Так. Теперь я его понесу. У входа как будто все спокойно. Но это еще ничего не значит. Вот у кассы кто-то стоит. Но я спокойно пройду. Не шевелись, младенчик. Ши-ши!.. Не шевелись, я говорю тебе. Ты от меня не получишь никакого молока. Спокойно, моя крепость, мой флаг! Да не ерзай, погоди, еще рано! Что ты кривишь губы, твои глаза бегают, как насекомые. Ты ими разглядываешь меня. Как будто ты испуган. Уставился. С кем ты меня сравниваешь? Ты у меня не найдешь этого. Да, не найдешь. И потому успокойся.

— Уж есть билет? Прекрасно, идем занимать места.

На платформе двое. Всматриваетесь? Голубые верхи, красные околыши. Глядите: перед вами честный, трогательный папаша. На меня минуту тому назад также смотрел младенец, и я не смутился. Вот он — моя защита. Ты хочешь заплакать. Не узнал меня, собрал губки. Плакать? Теперь можно. Плачь. Я тебя буду успокаивать. Это даже хорошо. Семейная идиллия на станции.

— ...он кривится, он собирается заплакать.

— Ничего, это... я кормила перед отъездом. Это зря... Зря я кормила. Теперь болит...

Поезд подходит. «Нет, не зря... Пусть у него болит... Пусть он плачет, мадам Биба».

Димка-шофер тащит железные ящики с заснятой пленкой. Кричит и волнуется пестрая группа актеров. Мы — в центре. Но мы — как в крепости. Браво, младенец! Теперь ты можешь спать спокойно. Кончено дело, тебя никто не привлечет за соучастие. Что это с жаром рассказывает Димка?

— Бандита поймали.

— Где?

— Да час тому назад. Сидит в комендантской.

Бандита? Может быть, соврал шофер.

— Охрана у меня знакомая. Один сумел отстреляться. А этот зашился.

Бандита? Кто же?.. Петров? Михайловский?

Сейчас не время... Куда итти? В этот — зеленый. Спи, малютка. Тебя торжественно несет полковник Маклецов.

Свистки. Тронулись. Плывет водокачка. Солнце уже обошло круг и сейчас стесняется. Ничего, не волнуйся, сегодня ты мне сослужило хорошую службу.

— Вы не устали от ребенка?

— Нет... Я страшно люблю детей.

Я закрою глаза — так спокойнее.

Проходят военные шинели. Это — проверка. Они обшаривают нас глазами внимательно — быстро, пристально. Глаз впивается в сознание, как игла. Актриса покраснела. Я дремлю, младенчик на руках. Смотрите! «Ши-ши, спи, малютка!»

Мимо. Вот и спокойно. И младенчик мой спит. И ты можешь спать.

Принесли свечку. Актер серьезно нажимает на барышню. Конечно, вы сегодня будете ужинать вместе.

Непременно.

— Завтра с утра пойдемте в посредрабис. Они опять обжулили на суточных.

— Я не могу. Я сговаривалась за съемку.

— А почему Леке дают?

— Героиня!

— Подумаешь! Много таких героинь на Лиговке. Знаем... Ведь она снимается по записочке. Дирекция не могла отказать.

— И хоть бы типаж подходил!

— Кому-то подходит. Я не удержусь. Я завтра прямо брякну в посредрабисе.

Брякни... Биба молчит. Как будто это не в ее характере. Собственно, мне нет дела. Лучше спать. Если бы они не жужжали.

— А как вам нравится съемка?

— Халтура, чистейшая агитация. Никакого подъема.

— Не понимаю. Как будто бывший офицер — теперь непременно босяк... Какой примитив!

— Я говорю — халтура. Все эти гусарчики сидят нынче в Париже на бульварах и наслаждаются жизнью.

Наконец прорвало Бибу. Даже плечами задвигала. Ты — с характером.

— Пусть сидят! И все-таки — босяки. Они для нас, конечно, босяки. И для Парижа — тоже.

— Париж!..

Актер декламирует.

— Париж — это разбитое русское сердце!..

Он глуп — этот актер. Биба смотрит на меня. Нельзя же мне сидеть с младенцем на коленях и молчать. Это подозрительно. Я должен моментально переключиться... Собственно, я не солгу даже перед самим собой. Эти идиоты умеют питаться подаянием и протирать штанами скамейки парижских бульваров.

— Париж... разбитое сердце.

Актер закатил глаза. Нет, я не могу. Я должен сказать.

— Вы говорите вздор! Разбитое сердце? Разве Париж принял их? Их место — в Бианкуре, около грязной канавы. Там по вечерам русские дураки ловят рыбу, думая о русских прудах. На поверхности воды плавает машинное масло. Они лежат на копченой траве... Пиджаки сняты. Они закидывают удочку в это жидкое сало...

У Бибы широко раскрыты глаза. Актер прищурился. Он не доверяет мне. Но я и не добиваюсь твоего доверия.

Вагон ставит точки моим словам. Это работают оси.

Я не слышу своих слов. Я вижу внимательные глаза.

Я не могу следить за собой.

Я должен рассказывать только о шоферах... о столиках, о чаевых, о бандитах... о людях, ставших насекомыми или лакеями.

— Там они сидят на берегу и ждут. Это самое подходящее для них занятие. Это называется рыбной ловлей. Один идиот сидит и держит палку, дожидаясь другого идиота из воды. Поплавок — точка, — чтобы ни о чем не думать. Это и есть разбитое русское сердце?.. Бывшее русское сердце. Это — человеческие ошметки...

Актриса умолкла, точно ее обидели. Актер насупился. Конечно, у него подозрительные и неблагонадежные мысли. Пощупать, что ли? Годится всякий материал. Нет, сейчас он не выдавит ни слова.

Ко мне наклоняется Биба. Она — приятная. Я ведь еще тогда заметил в парке. Вот она поправляет воротник. Странный галстучек. Серенький в полосочку.

Мы едем. Вагон уютно качает. Колышет пол. Непонятное ощущение: как будто рядом люди, как будто нет. Галстучек... Я его хорошо вижу. Мягкий воротник. Мне видно шею. Она белая. Так сводит челюсти, что, кажется, если бы я ее съел... эту шею... было бы очень вкусно.

Опять наклонилась Биба. Верно, она что-нибудь хочет сказать

— Вы... простите, как вас зовут...

— Легасов, Владимир Петрович...

— Вы прекрасно расссказали. Вы, наверное, много знаете.

— Да... отчасти. У меня была большая, растрепанная жизнь. Я видел много. Еще больше слыхал.

Я вызвал в ней интерес. Но я не добивался успеха. Я не хочу его. Он приходит неожиданно, так же как болезнь, как влечение.

Она берет меня за руку. Ей меня жалко. Но разве я сказал что-нибудь такое, отчего меня можно пожалеть? Может быть, я выдал себя какой-нибудь струною? Ведь если бы я рассказал тебе все, ты не держала бы меня. Но почему она это делает? Значит она из тех, которые легко идут навстречу. Это не совсем так... Во всяком случае я не отнял руки. Я холоден. И я наслаждаюсь своим обманом. Или она действительно пожалела меня? Или то и другое вместе? Она любит откровенность. Она раскроется навстречу ей. Но я не хочу быть откровенным.

Я не позволю, чтобы меня кто-нибудь жалел. Ты шепчешь. Я слышу твое дыхание.

— Вы очень устали.

— Нет, откуда вы это взяли? Я просто думаю.

— О чем?..

Ты интересуешься?.. Актриса дремлет и улыбается. Она заметила твое движение? Или это во сне? Ты ничем не выдала себя, но ничто не ускользнет от женщины.

— О чем же? Или это секрет?.. О себе?..

Что я могу думать о себе? Тебя это уязвляет? Ты хочешь спросить? Но как?.. Ты освободила мою руку и берешь младенца. Твое плечо около моего. Ты как будто спрашиваешь меня, ловко ли мне... Да, вот оно — твое плечо. Ты же чувствуешь это.

Сумерки. Если я обниму тебя, никто не увидит, даже проницательная актриса. Она спит; голова у нее качается, точно привязная. Актер прислонился к стене. Всех сморило.

Ты делаешь вид, что не замечаешь моей руки. Тебе стыдно сознаться. Ты ничего не можешь сказать. От неловкости? Или от желания? Значит я могу продолжать.

Мы можем молчать долго. Я не знаю, что ты вспоминаешь. Я вспоминаю Стародуб, погребок... И ту, что глядела на меня с ненавистью. И сейчас — в этой тьме, которую с трудом разрывает свеча, ты так же внимательно глядишь на меня. Но ты стала другой, исчезла ненависть. Но и ты чем-то несчастна.

Ты напоминаешь мне ее... Может быть, виноват тот же сумрак. Может быть, нам всегда кажется то, что мы хотим.

— Вы правы. Надо думать о себе... только о себе.

Ты шепчешь, ты согласна со мной... Как же понять тебя? «О себе»... Или ты тоже что-нибудь потеряла?

...Ты хочешь знать мою жизнь? Ну, слушай.

Промартель, обработка кожи, деревенская промышленность... Меня интересуют только полезные и необходимые дела. «На жизнь надо смотреть просто, без лирики»... «Жизнь требует регламента»... Вот видишь, как я построил жизнь. Я выдумал ее для тебя. Быть может, она и соответствует мне? Разве это так далеко от правды? Обстоятельства были сильнее меня. Не химические процессы, а ненависть управляет мной.

В такт словам ты киваешь мне. Спит младенец. Склоняется и твоя голова. Ты прижалась к моему плечу.

«Я одинок... Но разве я добивался одиночества? Теперь я ни о чем не смею думать».

Вздыхает вагон.

Я холоден. Я приближаюсь к враждебному городу.

Да, да, я внедрюсь в страну, как микроб, чтобы производить разрушение. Это тешит мое тщеславие.

Ногам холодно. Туловищу хорошо и тепло. Надо бы подобрать ноги.

Нет, лица не вижу. Куда же делось все? А галстучек ясно. Светятся полоски — серая, зеленая, синяя... Или это красная?

Свернуться бы крепко, калачиком и спать.

Я ничего не говорю. Да разве надо что-нибудь говорить? Я посмотрел — и уже чувствую. Она тоже должна это чувствовать.

Да нет, что я!.. Это же кто-то из моих. Вот поправляет галстук.

Нет, какое — из моих? Улыбается. Это у нее нежная кожа и зубы. Но не ее волосы.

Я хочу видеть ее яснее. Еще раз. Да... Еще немного.

— Гражданин!

Нет, я хочу на тебя смотреть. Хоть ты и не смотришь, хоть я и не вижу твоего выражения, но я чувствую.

— Гражданин!..

Ну, гражданин... Еще немного. Еще ближе к тебе, к этой твоей улыбке.

— Владимир Петрович!

А-а... Что? Как все ломит!

— Мы приехали... Вставайте.

Биба смеется. Такая тьма в вагоне. Приехали?

— Мы приехали? Сколько я спал? Как же я спал?

— Ленинград...

Актеры прощаются. Ну, до свиданья! Актриса целуется с Бибой. Вот дрянь. А откуда мне приснился галстук?

— Бибочка... Бибочка, ты не сердись.

— Да отстань. Ну, что за глупости.

И верно, отстань, глупая актриса. Уходите все. Я пойду сейчас с Бибой, младенец на руках. А у нее чемоданчик. «До свиданья, до свиданья»...

Бежит народ. Ждут постели, дома, жены, самовары, мужья...

С букетами в руках. Дома поставят цветы в воду.

Поручик Краут — товарищ Сименсон? Но он ведь не томится и не смотрит на часы. Он не знает, когда Он мог даже забыть про меня.

Тьма за платформами. Огни Ленинграда... А здесь — сквозняк и холод. Белые шары фонарей. Машинист идет по паровозу с масленкой и тряпкой.

Машинист? Да, но это уже совсем другой машинист. Вот и агенты. Здравствуйте, здравствуйте! Кричи, мой мальчик! Ну, пореви немножко. Вот так, совсем хорошо. Ты вырастешь и будешь актером... Газетный киоск... Какой пестрый! Сколько в нем журналов. Они много печатают. Советская жизнь. У выхода толчея... Билеты? Так ведь у нее билеты. Да...

Уютная рыжая Биба. Откуда же галстук?

— Пройдемте через боковой зал... Я на извозчика.

— Я провожу вас, Биба. Я зову вас нагло Бибой.

— Пожалуйста, меня все так зовут. Но слушайте, вам не трудно? Он ведь тяжелый. Может быть, вас ждут?

— Нет. Меня никто не ждет.

— Вы одинокий?

— Да. Я свободен... Нет, я не то говорю. Я хочу сказать, что для себя я действительно свободен.

— Вы знаете, это необыкновенно. Я второй раз замужем. Но я всегда скучаю по этому чувству одиночества. Кажется, что это прекрасное чувство. Не правда ли?

— Как когда... Для меня это необходимо. Вот и извозчики... Вам куда?

— На Сергиевскую.

Здесь почти темно. Высоко плывет свет фонаря. Там желтый забор в ярких, весенних афишах.

Звенят копыта по сухим камням. На углу светит ларек. Фонари в будках с папиросами. Сколько лет разлуки? Два года... Нет, больше Тогда наши группы не доходили до города. Четыре года... Целых четыре. Опять канал. Деревянные перила. Тут была часовня. Сейчас пусто. В свидании с женщиной также запоминаешь приметы. И вот она — длиннейшая петербургская улица.

Здесь эти большевики, а не мы.

Горят белым, широким светом огромные окна. Да, но надо же говорить с Бибой.

— Так вы были два раза замужем?..

Я смеюсь, как прапорщик: «Га-га-га»...

Чорт знает, я, конечно, становлюсь пошлым, как прапорщик! Она тоже смеется.

У Бибы вытянуты руки. Она глядит в эту белесую ночь — сфинкс, на лапы ему подкинули младенца.

Я буду петь: «Спи, младенец мой прекрасный. . Баюшки-баю!»...

— Биба, можно мне позвонить вам?

Ты удивлена. Как осмеливается этот человек?.. У него седые виски! Вообще этот смешной и, может быть, подозрительный человек многое берет на себя. Он зазнался. Но, Биба, ну скорее, тебе надо осадить меня.

— Хорошо. Я дам телефон.

Дашь? Ну, я это чувствовал. Ты дашь твой номер.

— Если мальчик будет хворать... Мне ведь придется пробыть здесь. Не правда ли?

— Конечно, Биба. Я боюсь, как бы действительно не расхворался ваш мальчик.

Мы можем смеяться.

Веселый прошел денек. Теперь нечего размышлять, теперь все поставлено на «завтра». Красное небо над Летним садом. Завтра я пройду здесь — липовой аллеей Инженерного сада к тому мосту с екатерининской решеткой.

— Извозчик... вот сюда, к подъезду.

Ты растрогалась, распустилась, не знаешь, как меня благодарить. Протяни мне руку, я ее поцелую. Ты видишь, во мне есть прошлое... Это интересует вас. Ты найдешь «каше». Но я — современный человек. И ты — современная женщина.

— Владимир Петрович, вы должны мне звонить. Семь ноль семь двадцать пять.

Щелкнула дверь. До свиданья! Чей это дом? Кажется, генерала Хрипова. Он брил бороду под Александра. Третьего. Чугунный генерал.

Луна? Сергиевская. Особняки. Они сейчас стоят, как примирившиеся с судьбой аристократы.

Луна?.. К Крауту, пожалуй, поздно.

— Извозчик, в гостиницу.

— Куда прикажете?

— Все равно. Вези, куда хочешь.

— В «Гигиену», может?

— Вези.

Что же ты ухмыляешься и смеешься? В «Гигиену»? И над «Гигиеной» — такая же ночь в луне.

— Там, господин, барышни имеются.

— Барышни? Мне не надо. Зачем мне барышни?

Я буду спать. Ведь могу же я просто спать.

Свидерский сочинил забавные стишки:

С неба лунный луч повис
И потом упал в метель...
Для желудка важен рис,
А для сна нужна постель...

Тара-рам, та-рам... та-рам!

Слова, которые я пробормочу во сне... Нет, я не хочу барышень. Говорят, что некоторые из них...

9.

— Это непростительно, Краут. Мы специально устроим вас в Смольный.

— Но я же не могу. Я же не святой, Иван Васильевич. Да я не хочу быть арестованным.

— Вы лодырь, Краут. Вы опустились. Шляетесь по пивным и ничего не делаете.

— Иван Васильевич... Вы что? Вы ходили со мной в пивную?

— Поручик, я говорю с вами официально!

— Виноват, но я не понимаю вас.

— Встать, когда говорит старший чином. Вы забыли свое офицерское звание.

— Да, я забыл. Что вам надо? Я слесарь, а не офицер.

— Вы — слесарь. Я это вижу. Может быть, вы записались в партию?

— Может быть...

Однако как разговаривают молодчики! Он уж действительно забыл все: честь, дисциплину, обязанности. Конечно, ты разозлился. С тобой давно так не разговаривали. Ты привык к гаражу, к товарищам, к засаленной куртке и забыл, что вдруг может приехать Маклецов и потребовать тебя к ответу. Ты изменился настолько, что, пожалуй, не помнишь свое прежнее лицо. Но я-то его помню, милый мой, и от меня не так легко уйти. На донос ты не пойдешь, тебя тоже потянет твой груз вместе со мной. Живым не выскочишь. Тебя нужно тащить, как плотву. Ничего, поиграй на крючке, вытянуть я тебя сумею всегда. Назад, вперед, сразу подсечь — и пожалуйста, поручик Краут. Вы уже в нашей лодке.

— Краут, вы грязно живете. Грязь, пыль, паутина...

— Да... Баронесса ни до чего не дотрагивается. Вся квартира преет. Гниют вещи, тряпки, книги. Может быть, вместе с ними гнию и я.

— Пожалуй.

— Ну что же. Один конец. Словом, мне надоело. Мне противно, — слышите, полковник. Мне противно от всех этих конспираций. Я не выношу заговоров.

— Поздно спохватились. Начатое надо кончить.

— Я не святой.

— Ну, ладно. Будет болтать. Я хочу есть. Вот вам деньги. Купите водки и закуски. Я ночевал в каком-то притоне, утром там нельзя добиться даже чаю.

Скверно живет Краут. Он ушел, ничего не сказав. Ему нечего сказать, придется брать его палкой. Он сжился. Ему лень что-то менять, и он живет, как живется. Жизнь течет, значит есть жизнь. Молодчиков надо держать в лагерях так же, как собак на цепочке, — тогда они становятся злее: тяга к воле, разгул, мертвая хватка...

Вот он идет по Львиному мостику. Екатерининский канал все такой же, — тот же гранит, те же решетки и та же вода. Но поручик Краут — другой. У него втянуты плечи, качается на-ходу, точно утка.

Бежит почтальонша. Разносчик везет яблоки. Барышни спешат на службу.

А этот с портфелем идет медленно, сознавая свою собственную важность. У него такой взгляд, точно, проходя, к каждой вещи он прикидывает цену. Тумба стоит — рубль. Яблоко — гривенник. Барышня в простых бумажных чулках и в сандалиях — два с полтиной. Сандалии стоят?... А действительно, сколько стоят сандалии?.. Погасшая луна не стоит ничего. Может быть, он фининспектор. Он раскланялся мелькнувшему автомобилю. Там человек в серой шляпе с адвокатской сделанной бородой. Кричит... Очевидно, веселый человек.

Здравствуй, веселая Совдепия!

Надо пойти к тетушке Бухштабе. Она забилась в своей норе и живет, что крыса. Догрызает жизнь. Нечем дышать в коридоре. Стоят полные корзины с немытым бельем. Не горят лампы. Кажется, что даже в стены въелась пыль. Как будто эта дверь? Постучать?

— Тетушка!

— Войдите...

Она не узнает меня. Сидит в ватном футлярчике. Личико тетушки превратилось в мочалу. Запаршивела старуха, а ведь совсем еще недавно вдовствующая тетушка Бухштабе откалывала «польский» на балах и около нее кружилась стая. Тетушка чинит мужское белье, ставит огромнейшие заплаты. Это, наверное, Крауту.

— Тетушка, вы не узнали меня?

— Да подойди поближе. Кто тут?

Однако здесь не пробраться. Нагромождена мебель друг на друга. Воздух стоит, и от тетушки пахнет. Поцеловать ее надо бы, но я не могу Обидится? Все равно, не могу. Я просто с участием пожму ей руку.

— Неужели вы меня не узнали, тетушка?

— Как не узнать, узнала. Ваня, что ли?

Как равнодушно ты встречаешь меня! Не поднялась даже. И не выпала слеза.

— Садись, будешь гостем... Что, негде? Погоди, я тебе очищу место. Вот сюда. Давно приехал?

— Вчера тетушка?

— Оттуда?

— Да, оттуда,

— Зачем ездишь-то? Кому это надо?

— На этот раз, тетушка, основательно. Будет большое дело.

— Основательного в этом мало, милый мой, мало. Переловят вас, как рябчиков, и сошлют в Сибирь.

— Нынче, тетушка, Сибири за это не дают.

— Ну, пристрелят.

— Вот это дело другое.

— Дурак ты, Ваня. Я теперь старая, ты прости, я прямо говорю. Всю жизнь врала, а теперь не стоит. Ты и раньше дураком был.

Нечего сказать, весело меня принимают.

— Когда же я был дураком, тетушка?

— Забыл? Когда за мной, старухой, ухаживал.

— Верно, тетушка.

— Я-то еще тебя любила. А Эдди забыл, Охотникову? Такой дряни строил куры и мучался.

— Верно, тетушка. Вы что же, Краута обшиваете?

— Зачем Краута, это мое. Я нынче мужское белье ношу. Удобнее оно, да и теплее. Свое-то уже все переносила. Теперь взялась за покойника-барона. В стирку отдавать невыгодно. Во-первых — денег стоит, а во-вторых — может, еще и не доживу. Прекрасное довоенное белье, ему тридцать пять лет.

— Замечательно. Вы, тетушка, рассуждаете, как экономист.

— Не до экономии, милый. Столовую съела. Картины съела. Хрусталь — съела. Сейчас ножи и вилки ем. Прочее серебро да бижу — к смерти берегу. Ты что же, нынче представлен к генералу?

— Нет, пока полковник.

— Все еще полковник... Здесь генералом был бы...

— Какие же, тетушка, здесь генералы?

— Разные. Есть дураки, есть и умные. Охотников-то меньшой остался здесь, нынче дивизией командует. А и чин-то был не чета тебе, всего гвардейский прапорщик. Недавно самовар ему продала. Хорошо дал. Две недели самовар ела и дров взяла.

— Вы что же, видитесь с ним?

— За хлебом шла, вот и встретились. «Вы ли, — говорит, — тетушка»? — «Я, — говорю, — племянник. Ну, что с тобой»? Он мне рассказал. Понравился он мне. Молодой, румяный, со шпорами. «Купи, — говорю ему, — самовар». Очень был доволен. «Такого, — говорит, — теперь не найти». Да и верно, не найти. Мой-то самовар с пением, довоенный, — если пар пустить, он «Стрелочка» насвистывает.

— Чудовищно, тетушка. Чудовищная у вас жизнь.

— Чем же чудовищно? Вот если бы мы целую ночь на балалайке играли, это было бы чудовищно. А у вас, рассказывали, играют.

— Да, вы правы, играют.

— Ну вот, сознался.

— Как живет Краут?

— А бог его знает. Какая я нянька? Я старая баба, сам знаешь, всю жизнь вас, младенцев, любви учила. Овидием была. А нынче от меня смердит. Бывало, вас целые взводы за честь почитали к ножке моей приложиться, нынче же ты первый ручкой моей побрезговал. Молчишь? Заметила. Что же мне? Броситься к тебе, уверять. А ты откинешь. Да еще скажешь небрежно: «пустое, милый, пустое». Ты действительно

вонючая старуха, и я не стану с тобой стесняться. Закурю папиросу и просто пропущу твою болтовню.

Старуха встала.

— Все вы, мои милые, у меня на ладошке. Вот тут. Много вас было — племянников. Роты, полки...

— Дивизии, тетушка.

— Были и дивизии. Я — старая гвардейская дама. Ставить, что ли, самовар?

— Вы ж продали, тетушка.

— У меня еще два осталось. Один — «минутка», так называется, моментально вскипает, как слеза. А другой — кофейный. Этих до смерти не отдам. Пойдем в кухню, полковник. Самовары ставить я наловчилась, а носить не могу. Нету сил.

В кухне грязь висит клочьями. Стены — и те прокопчены, что в риге. Со стола можно ножом снимать куски сала. Еле мерцает красным накалом электричество. Тряпки, рвань, бумага, рогожи преют в шкафах. К чему это все бережется?

— Любуешься?

— Ну, и запустили же вы все, тетушка!

— Милый, руки у самой не доходят. Стронуть с места боюсь.

— А нанять?

— Страшно показывать людям. Обворуют или налет совершат.

— Да кто?

— Кто-кто... Да вот хоть ты. Мало, что ли, бандитов? Шубу соболью сгноила, молью вся пошла.

— Ну вот!

— Я не жадная... На мой век хватит. Жила дурой, шампанское пила, книжки читала, ездила в рестораны да в монастыри... А помирать буду... что мне вспомнить, Ваничка?

Старуха сошла с ума. Ей, конечно, скверно. Но не мое дело заниматься этим. Сегодня же надо поладить с Краутом. Поселиться у старухи. Съездить в Смольный. Пойти на Сенную в «Коммерческий», наладить связь. Может быть, они уже прорвались. Кто же попался на станции? И главное — не думать, ни о чем не думать.

Впереди — большое дело. Но о нем они должны узнать только в последний момент. Кто же попался?

Но я сказал себе: «Не думать, не думать».

На полках груды грязной посуды — и медь, и фарфор, и фаянс. Среди этого великолепного сора, среди облаков пыли согнувшаяся, рваная, в засаленной кацавейке, в обшмыганных теплых сапогах, несмотря на весну, суетится чудовище — тетушка Бухштабе. Заколдованная принцесса в запущенном советском царстве Черномора.

Уж не Руслан ли я? Впрочем, какое мне дело! Наше дело — обыкновенное, солдатское дело.

—Ты не гляди, Ваничка... Я для тебя чашку-то всполосну.

— Ма тант, а сами-то вы, неужели вам самой приятно из немытой чашки пить?

— Ах, милый, разве не все равно! Раньше горничные были, надо же было дать им работу. Но ведь, если хочется пить, так не все ли равно откуда?

Пришел Краут. В две минуты накрыли великолепный завтрак. Тетушка Бухштабе соблаговолила вымыть перед завтраком руки. Она первая с жадностью набросилась на икру. Краут выпил рюмку водки, разозлился и сидит молча, с свирепым видом, как турецкий святой. Самовар — «минутка», пуская пар, разделывает фиоритуры. Тетушка празднует идиллию завтрака. Трясется рюмка в ее руке. Как старый генерал, она разглядывает слезы на отпотевшем стекле. Чем не походный завтрак гвардии на маневрах в Дудергофе? Сейчас тетушка опьянеет и начнет говорить по-французски. Я так и знал...

— Монанж, а пропо, насчет посуды. Се раппель тю, этот знаменитый миф об Александре Македонском, когда в пустыне он взял этот шлем и почерпнул им воду из этой лужи.

— Совершенно верно. Но он не выпил, тетушка. Он вылил воду в песок.

— Тьен... Я совсем забыла...

У Краута загорелись глаза. Турецкий святой проснулся и заговорил.

— Что ж! Это коммунизм. Если не всем, так никому. Вот почему он побеждал.

Святой тоже помешался. Впрочем, это простая брехня. Краут нужен только мне и больше никому,— я его приучу. А там — придется его поставить на самое опасное место.

— Вы правы, Краут. В наших отрядах сейчас полное равенство прав. Генералы служат под командой поручиков.

— Да, я слыхал.

Он опять стал вялым.

— Но это все-таки не то, Иван Васильевич.

— Почему не то?

— Я не знаю.

— А не знаешь, так и не болтай. Я, мои милые, старая гвардейская дама...

— Мы знаем, тетушка. Целые «дивизии»...

— Молчи, Ваня. Дай мне договорить. В Спарте...

— Тетушка, в Спарте таких старух сбрасывали со скалы.

Тетушка сердится. Ей хочется поговорить — совсем неважно что, лишь бы двигался язык. Она выпивает еще рюмку.

— Милые мои, вы совсем перепутали мифологию. Вы все перепутали, как матросы. Когда я в восемнадцатом году читала лекции матросам, так они молчали. Они были вежливы.

Старуха обиделась и сидит, что мышь.

— Простите, тетушка. Я не знал, что вы были лектором.

— Как же, милый мой! В эти годы, сам Луначарский поощрял античность.

Самовар потух. Краут крутит папиросы. У него распухли пальцы. Попрежнему он горбится и молчит, уткнувшись в свои мысли. И старуха скисла, съев остатки икры. Надо подбодрить. Как будто я приехал только затем, чтобы подталкивать сперва одного, потом другого.

Неужели это настоящая, подлинная жизнь?

— Не скучайте, Краут. Надо суметь выяснить себе цель. Установить ее — и тогда будет все прекрасно.

— Я ее установил, Иван Васильевич.

Ах, ты установил. Опять старая песня! С ветру подхваченные слова. Апатия. «Жизнь течет»... Отказ от работы. Нет, голубчик. Я тебя заставлю действительно установить.

— В чем же ваша цель, Краут?

— Я очень люблю машины. А сейчас я изучаю вопросы топлива... Я из валежника буду делать брикеты. Невероятная сгораемость. Мои брикеты по качеству и по теплоте будут равняться донецкому углю. Вы понимаете, что это такое в лесной стране?

Брикеты? Изобретения? Долой, к чорту! Но ведь я не могу это сказать.

— Я уже подал в Комитет по изобретениям. Дело идет. Лабораторийку устроил себе за гаражем. Мне ребята здорово помогают. Я строю машину для изготовления брикетов.

— Вы мне ее покажете.

— Если вам интересно. Это будет передвижная станция...

— Мне это очень интересно, Краут.

Лаборатория... Брикеты? Но лаборатория может пригодиться. Краут? Нет, я не могу бросить Краута. В моем хозяйстве ничто не должно пропадать.

Итак, сегодняшний порядок: Смольный, потом на Сенную... Уже третий час! Надо по дороге вставить разбитое часовое стекло и переодеться.

— Краут, дорогой. Изобретайте, работайте! Я вас не буду трогать. Больше того, я понимаю вас. Вас влечет наука. Я вам дам деньги для опытов.

— Иван Васильевич, но ведь вы...

— Ничего мне не нужно от вас. Поняли? Вы для меня потеряны. Пропуск в Смольный и план двух этажей.

— Иван Васильевич, я не могу.

— Да подождите... Вы человек науки? Да. Вы понимаете что-нибудь в политических системах? Нет. Вы убеждены, что коммунисты правы...

— Иван Васильевич...

— Краут. Не будьте ребенком. Неужели раньше вы не могли бы заниматься наукой? Вы — офицер, состоятельный человек. В тысячу

раз удобнее и лучше. Научитесь же смотреть, чорт возьми. Возьмите, глаза в руки. Научитесь защищать удобные места в жизни. Вы не чумазый. Он действительно ничего не потерял. Он приобрел. А вы? Лабораторийку за гаражем. Скажите пожалуйста!

— Иван... Ива... Я старуха, ты мне поверь. Не трогай Краута, у него туберкулез.

— Тетушка, не мешайтесь пожалуйста, это не ваше дело.

— Ваня, что за тон!

Ну что ты закричала? Что тебе не понравилось? Однако! Ты поднялась.

— Простите, Ваничка. Я не привыкла к такому тону.

— Тетушка, да при чем тут тон? Что вам нужно?

— Да как же, милые мои. Матросы — и те относились ко мне с уважением. Правда, они не целовали руки. Но ведь и ты не поцеловал, мон шер.

Да, надо сдержаться. На Краута может произвести неприятное впечатление моя злоба. Разве это злоба?

— Тетушка, я не хотел вас обижать. Я втолковывал Крауту...

— Бог мой, ну и втолковывай. Но зачем же меня ругать!

Старуха распалилась. Краут ловко тушит ее гнев подушками. Смотрите, он ее даже поцеловал и не поморщился. Старуха жует губы. Только бы не дать ей заговорить. А надо ведь действительно просить прощения. Хлопнуть дверью нельзя. Самоваром бы тебя по мозжечку! Нельзя. Надо просить прощения.

— Тетушка, простите мою неловкость.

— Пустое, Ваничка, пустое.

Ну, так и знал. Злится. Надо сейчас уходить, пока спокойно и тихо. Подойду к старухе и поцелую ее в плечо.

— Тетушка, мы должны итти. Простите.

— Пустое. Иди.

— Краут. Ну как же?

— Иван Васильевич, я не могу дать плана... Сейчас... такое время...

Начал вертеться. Не можешь «сейчас», а потом можешь? А потом — думаешь увильнуть? Ты думаешь, я буду настаивать? Нет, я совсем не буду. Я тебе даже не скажу сейчас. А дальше? Применимся к обстановке.

— Краут, я же сказал, что ничего от вас не хочу. Вы верите моему честному слову? Не хотите? Не надо. Достаньте только пропуск. Мне хочется посмотреть Смольный.

— И больше ничего?..

— Ничего. Можете быть спокойны. Я ничего не буду там делать.

— Честное слово?

— Честное слово офицера, Краут. Вы ничего не потеряете. Я был товарищем, я им и останусь. Я обещал вам помочь — и помогу.

— Нет, Иван Васильевич... Этого не нужно. Скажите себе, что вы меня потеряли. Ну, честное слово! Просто честное слово. И конец!

Здорово хочешь выскочить. Я буду мягким. Послушным тебе.

— Милый Краут. Эти деньги принадлежат вам за старое.

— Нет, нет, нет старого. Все было случайно.

— Все случайно бывает, Краут. Но дело не в этом. Деньги мои. Деньги есть. Я могу отделить. Пусть хоть часть пойдет на дело.

Тетушка отошла. Она дергает Краута. Поджалась старая гвардейская дама.

— Краут, не торгуйся с ним. Дай ты ему пропуск. Пусть его. Деньги? Что деньги? Не валяются деньги. Все равно он их пробросает...

Краут непреклонен. Краут думает.

— Тетушка... нельзя же так. Ну хорошо. Ну мы возьмем деньги... А дальше?

— Да, что это вы сегодня? Один — нет. Другой — нет. Я старый человек. Бери, все равно они бешеные. Что дальше?.. Я не понимаю.

Краут пьет чашку чая. Может быть, клюнул? Терпение, Маклецов! Еще раз подойти к тетушке Бухштабе и поцеловать ее в плечо.

— Допивайте, Краут.

— Иван Васильевич...

— Краут.... Как вам не стыдно сомневаться!

Он изучает меня. У меня, наверное, пошли сейчас морщины, и он путается в них, как муха в паутине.

— Серьезно. Я люблю жизнь и не жертвую ею зря. Поняли? Прощайте, тетя.

— Прощай, Ваничка... Ну, а с деньгами... Вечером уж ты приходи, бог с тобой.

Краут повеселел. Во-время сказанное слово... Идем-идем.

Обтрепались пролетки. Питер здорово изношен. Так тебе и надо. Мальчишки знали, а ты не знал? Ты, сукин сын, управлял империей, лепетал по-французски, ругался над тем, чему присягал по выученному катехизису, а что такое борьба, ты не знал. Жрал, шаркал, кутил, а теперь тебя сводит. Мало содрали с тебя орлов. Я бы разбил твои колоннады. Я бы уничтожил тебя вдребезги. Я бы заставил всех читать мои приказы, носить одну шинель, ложиться спать и просыпаться только под мой барабан. Вот, господин тайный советник, что бы я сделал с вами.

— А как в Париже?

— Хорошо, Краут. В Париже весело жить. В Париже, Краут, зимою нельзя перейти через Елисейские поля. Три подземных хода. Пешеход переходит под землей. Такое движение.

— Это техника?

— Это культура, Краут.

— Это еще ничего не доказывает... Это не культура...

Краут бормочет. Он в чем-то убеждает себя. Мысли бродят. Вертятся спицы.

— Впрочем, на месяц я бы съездил в Париж.

— Краут, вы имеете возможность.

— Что, вы Иван Васильевич! Нет. Не надо, Проживу без Парижа.

— А лаборатории?.. Институты?.. Фоли-Бержер?

Это называется соблазнением идиота. Но он действительно отвык от подобных разговоров... Скрипит пролетка.

— У нас тоже есть институты.

— Но у вас нет дегтя, милый мой!

Желтым фасадом развернулся очаг коммунизма. Сколько людей с портфелями. Нестройно, как коровы на выгоне, толпятся автомобили. Зеленеет сад. Дорожки посыпаны песком. Часовые в воротах. И пулеметы над колоннадой. Над фронтоном бьется красный флаг. Хрипят и кашляют двери.

— Краут, погодите. Я хочу постоять.

У меня бьется сердце. Я войду сейчас сюда в эту же дверь, с этим же потоком людей. Я ни капли не трушу. Я просто взволнованный зритель на этом спектакле. Этакую панораму можно продавать по франку за штуку. Довольно, без эмоций! Нужно действовать —смело, быстро, решительно, не упускать никакой мелочи! Красивый мальчишка — военный, разговаривает с Краутом, на нем ловко сидит новенькая кавалерийская шинель. Посматривает на меня. Надо это прекратить.

— Кра...

Чорт! Забыл. Никаких Краутов нет.

— Товарищ Сименсон, нам пора.

Краут злобно оглянулся на меня.

Краут подходит качающейся походкой. На лице у него все та же гримаса.

Краут морщится.

— Я чуть не сказал вашей...

— Да. Ну что ж. Он знал меня и под другой. Он был прапорщиком в запасном батальоне. Гренадер.

— Гренадер? А сейчас?

— Здесь на командных курсах. Инструктором. Пустой малый.

Пустой малый... Командные курсы... Но чего ты злишься?

— Он ничего не спрашивал про меня? Я его не знаю?

— По-моему, нет. Я ему ничего не сказал.

— Ну, разумеется. Как его фамилия? Что? Вы, может быть, не хотите сказать?

— Если вас так интересует... Касперов... Неприятный человек.

Людей становится больше. Может быть, этот Касперов... Но не нужно загадывать. Он мне тоже не нравится. Но он из тех «птиц», которые могут пойти в дело.

(Окончание следует.)

Вихрь в сопках.

(Рассказ.)

Р. и О. Эйдеман.

За Антипихой, за сопками — высокое плоскогорье. Реки прорезали ее каменистую почву. Извилистые реки, неспокойные, как ящерицы. Обманчивая земля там: под песками — камень. Летом, когда на плоскогорьи раскаляются песок и камни, горный кузнец Тархан с хребта Еблен-Доба бросает вниз горящие головешки. Сверкает огонь, дым стелется по всему небу. Замечательный кузнец Тархан!

Зиму и лето (зима бесснежная, с песчаными метелями) пасутся между далеко разбросанными улусами табуны лошадей, стада коров и овец. В старину, когда улусы кочевали с места на место, между юртами на равнине кипела беспокойная, как сам бурятский народ, жизнь. Но потом понемногу стала пробираться к ним казачья полиция из поселений, сборщики податей — царская администрация. Пришельцы не любили бродить по свету, поэтому все задумчивее и тише становились улусы. Пришельцы межевали землю, и в этих границах задыхались, как коршуны в клетке, когда-то веселые улусы. «Мое» и «твое», принесенные чужими, словно огромными ножницами кромсали великую равнину.

Как в клетку запертые коршуны — когда-то веселые улусы! Вокруг церкви, построенной пришельцами (на церковь был особый налог), вырастали вместо легких юрт неуклюжие, тяжелые, как жирные утки, дома.

В горах и ущельях, в воде и воздухе живет тенгри-хата, — род богов и бог — великий Эсеге-Малан-Тенгри. Не счесть никому овец Эсеге-Малан-Тенгри (какая блестящая у них шерсть!), когда пасутся его табуны на темнозеленом пастбище ночи.

Эсеге-Малан-Тенгри дружит с Буддой. Будда, молчаливый, со скрещенными руками, принес ему привет из монгольских степей. Но Эсеге-Малан-Тенгри не может дружить с богом в золоченных одеждах, которого привезли с собой пришельцы. Как бороться лирическому пастуху Эсеге с богом, если за того власть? Как бороться с богом в золотых одеждах покорному Будде, если образ его высечен из грубого гранита и простого дерева?

Первыми признали чужого бога старшины и богатые буряты. Их власть еще больше окрепла. Меньше пришлось платить налогов. С властями стали дружить.

Шаман Одъюге так стар, что никто в улусах не знает его лет. Возраст лошади бурят узнает по зубам. Возраст шамана по зубам не узнаешь. Зубов у него мало, а лет много. Поэтому его бронзовое лицо сморщено, как стянутый кисет с табаком.

Зимой шаман ходит из улуса в улус, а летом строит себе шалаш из веток где-нибудь на берегу реки или горного ручья.

Когда-то и Одъюге был молод. Был у него табун лошадей, а в юрте молодая жена, купленная за богатый калым. За хорошую жену надо заплатить богатый калым, но хороший жеребенок дороже хорошей жены.

На гонках в Селенгинске жеребенок его Турусин приходил всегда первым. Счастливый, богатый Одъюге!

У селенгинского пристава глаза завистливые.

— Хороший у тебя жеребенок, Одъюге! Не конь — ветер! — хлопал пристав жеребенка по шее и блестящему крупу. Пристав был казак, знал толк в хороших лошадях. В выпуклых стеклянных глазах его чертенята прыгали.

Пристав похвалит — значит отдай.

Но Одъюге, возвращаясь с гонки, гладил жеребенка, дрожавшего, от его ласки, как жена в юрте, и успокаивал себя и его:

— Не отдам!

И на одной гонке пристав, покусывая свой воинственный ус, сказал:

— Одъюге, продай жеребенка.

— Не продам, ваше высокородие.

Покраснел пристав, потемнел от гнева. Затопал ногами, заорал с пеной у рта, — вот какая блажь нашла на казака! Хорошо, что окружающие схватили за руки, успокоили.

— Продай ему жеребенка, Одъюге.

— Не продам.

В тот день Одъюге вернулся в юрту с мрачным предчувствием (ах, омочила полночная роса мою зеленую березку!).

И настал день, когда Одъюге, возвращаясь верхом из степи домой, не увидел приветного дымка своей юрты. Не залаяла собака. Не заржал радостно Турусин... Очаг в юрте погас. У погасшего костра — какой ветер задул огонь в ее глазах? — лежала и не отзывалась на оклик жена. Когда остается одиноким волк, он воет от ужаса и одиночества. Почему не завыть Одъюге?..

По Селенгинску ездил пристав верхом на жеребенке — шумный, хвастливый, пьяный.

— Мой жеребенок! Отдай моего жеребенка! — кричал Одъюге.

Услышав его голос, жеребенок встал на дыбы, запрыгал, хотел сбросить пристава.

— Вор, отдай моего жеребенка! Убийца, отдай мою жену!

Из Селенгинска Одъюге вернулся измученный, избитый (за оскорбление власти), осмеянный...

— Иди к судье, — учили друзья.

Одъюге стал ходить к судьям. Несколько раз был в областном городе. Распродал свои табуны, роздал золото судьям и... вернулся нищим.

Вернулся он из города вечером, а ночью ярко запылала его юрта. Сбежавшиеся соседи не осмелились тушить: Одъюге плясал вокруг нее с ножами в руках, крича и завывая. В него вселился бог Иерлык.

... Точно стянутый кисет с табаком — морщинистое лицо шамана. Одежда его из оленьих шкур, — быстры, как олень, его мысли. Воротник из перьев совы, — как сова, видит шаман сквозь глубокую тьму ночи. На его плаще пестрые ленты, словно пестрые змеи, — смертельна, как укус змеи, ненависть шамана.

Веснами, когда теплый ветер еще гуляет за Еблен-Доба, Одъюге уже слышит приход весны. А зимой, когда даже песок замерзает, он слышит, приложив ухо к земле, как дышат корни и семена, посеянные осенним ветром.

Ржанье лошади, крик коршуна в облаках, — все понимает Одъюге. Нежно, словно лошадь мокрыми бархатными губами, касается весенний дождик его щек. Когда раскаленный песок жжет ноги летом, ветер не шелохнет листом на березах и от палящего солнца жарко, как в печи, — Одъюге вынимает свой кисет с табаком, шевелит высохшими губами, — они шуршат, словно пожелтевшие березовые листья.

— Понюхай, хороший табак... крепкий табак! — приглашает Одъюге хата Тенгри.

Тот невидимый неслышно подкрадывается на носках, затягивается желтой пылью понюшки.

— Апчхи! Крепкий табак! — чихает хат, и песок — только что спокойный — закрутил вихрем. Березки дергаются, как шаман во время пляски...

Когда поднимается вихрь, буряты знают: шаман угостил местного хата табачком. Должно быть, белые люди поехали верхом в улус и хат сыплет им в глаза песок бурятского края.

Когда в улусах стали скрываться бежавшие из городов купцы, офицеры, домовладельцы, — Одъюге скрылся надолго из родного улуса. Прошли лето, осень, пришла зима, — Одъюге все не возвращался. Но когда над мерзлым плоскогорьем, где редко выпадает снег, ветер кружил в воздухе тучи острых ледяных песчинок, — буряты думали, что Одъюге не может быть далеко.

Никто не знал дорог, которыми ходил в то время Одъюге. Когда он вернулся следующим летом, над железнодорожной станцией, над городом снова развевался трехцветный флаг. Только Одъюге опоясался красным кушаком поверх плаща из оленьих шкур.

... Вокруг Одъюге тесным кольцом уселись буряты. Одъюге бьет в бубен, вертится в пляске. Он поет:

— Сохнет дерево без верхушки.

— Сохнет грудь у бесплодной женщины.

— Колокольчик мой серебряный звенит над Селенгой.

— Горы — мой шатер. К семи березам привязал я своего жеребца, семь берез пригибал он к земле.

— Сиротам отец я и щит от летящей стрелы.

— Да здравствует черноголовый народ!

— За желтой стеной голая степь, куда не летал коршун.

— За двумя голыми степями подпирает гора железной спиной небосвод.

— Кости мужей разбросаны у горы.

— Лошадиные кости белеют под горой.

— По ту сторону разинута пасть земли. Не страшись спуститься.

— Под землей море, над ним протянута нить. Оглядываясь, качаясь, идет Одъюге по этой нити...

Буряты, теснясь кругом Одъюге, вынули трубки изо рта, смолкли. На лбу проступили крупные капли пота: тяжел, страшен путь шамана по мосту Иерлыка.

— На дне морском белеют человеческие кости...

Море пройдено. Одъюге снова чувствует под ногами твердую землю. Но на лице его морщин больше, чем всегда, и — отвращение.

— Что ты видишь на берегу моря, Одъюге?

— Вижу человека. Сидит он перед дымящимися, до краев полными мисками. Протягивает руки, а миски от него уходят. Человек этот не был сострадательным к братьям.

— Вижу человека, уши которого пригвождены к столбу. Человек этот был глухим к стонам братьев.

За местом мучений — мост Иерлыка.

Иерлык сердитый:

— Крылатые не долетают сюда.

— Сюда не доходят те, у кого ноги с костью и ногтем.

— Откуда ты, черный, вонючий жук?

— Я из черноголового народа.

Иерлык простирает руки на восток. Он уже не сердится.

— Склонись перед восходящим солнцем и будь счастлив!

— Склонись перед вечерней звездой и будь благословен!

— Идя в горы, возьми кремень, чтобы высечь огонь.

— Да здравствует черноголовый народ!

— Взойди на самую высокую гору, черноголовый народ, да прольется на тебя солнечный свет!

Где-то между Нерчинском и Борзей ковыляла хромая деревенская лошаденка. Телега стучала по замерзшей земле. На передке сидел возница,

понукал лошадь, оглядываясь вокруг воспаленными глазами (в том году крестьяне мало спали). Позади сидел человек, свесив ноги в коричневых ботинках и калошах. Лица его не было видно, — воротник был поднят.

— Странно! Тут они должны были быть. Как в воду канули! — бормотал возница.

Дорога то извивалась по сопкам, то тянулась узкой полоской по берегу Шилки или, делясь на несколько дорожек, разбегалась в разные стороны.

Возница, кого-то заметив и радостно вскрикнув, прихлестнул лошаденку. Лошадь понеслась вскачь на трех ногах под гору. Седок схватился руками за телегу. Воротник его шубы отвернулся, открыв желтое скуластое лицо. Огромные американские очки (чуть ли не с колеса) запрыгали на его лице.

Человек, которого возница заметил, стоял на краю дороги, опершись на суковатую палку, и испытующе глядел на подъехавших. Вата торчала клочьями из его рваного пальто. На голове была соломенная шляпа, повязанная полотенцем.

Возница остановил лошадь и, вынув трубку изо рта, спросил:

— Огонька найдется вздуть трубку?

— Найдется, — ответил оборванец и в свою очередь спросил: — табак теперь дорог?

— На Антипихе, слышно, подешевел.

Он кивнул головой уже совсем спокойно.

— Кого ты везешь?

— Бурята... из города... Хочет пробраться к Лазо.

Оборванец усмехнулся.

— Ишь ты! Пробраться к Лазо нетрудно. Надо только знать дорогу.

— Чего плетешь? Садись, будешь вожатым.

Тот не заставил себя долго просить и одним прыжком очутился в телеге между седоком и возницей.

— На японца похож... Не обманул ли тебя? — шепнул он вознице.

— Знал бы, что японец, ей-богу не повез бы дальше... Контрами — и поминай, как звали.

— Бурят... Хорошо знаю, что бурят. Бурята ночью от японца отличу, — успокаивал возница.

Они поехали дальше, свернули на узкую тропку, — проезжая дорога кончилась.

— Гражданин, вы умеете ездить верхом?

Человек в американских очках кивнул головой.

— Очки отдайте мне — разобьете. Так... (Без очков, голубчик, никуда не убежишь!)

Распрягли лошадь, повозку, спрятали в кустах, а бурята усадили верхом. Забавное было шествие! Впереди шел человек в рваном пальто. Он напялил американские очки и, приподняв гордо голову, поглядывал из-под очков на мир. Крестьянин вел на поводу лошадь. На ней пассивно

болтался владелец американских очков. Может быть, он когда-нибудь и в самом деле умел сидеть на лошади, но теперь он ехал без всякого удовольствия.

— Ей-богу, японец! — злорадствовал оборванец. — Буряты все умеют ездить верхом. А этот сидит, как мешок... Ей-богу, японец!

... Комната была полна народу. Все сразу столпились вокруг вошедших. Грызя кедровые орешки, любопытно глазели на желтые ботинки странного гостя. В комнате воцарилась тишина. Только оборванец, который привел бурята, вертелся среди любопытных.

— Японец, ей-богу японец! Шпион! Я японскую хитрость знаю.

— Ну, так придется его тут же прикончить,—невозмутимо сказал один, выплевывая ореховую скорлупу.

Оттого, что в печке весело потрескивали дрова, и оттого, что в комнату набралось много людей, — со стен, еще свежих и душистых, капала смола.

— Не прижимайся к стене — смола! — предупредил кто-то бурята и, повернувшись к товарищам, сказал: — Из буржуев он. Шуба хорошая. Не годится в дорогу такая шуба.

Бурят, оскалив улыбкой зубы, поблагодарил, кивнув несколько раз головой.

— Ха-ха-ха! — прыснул кто-то со смеху (бурят забавно вытягивал шею, как птица).

Смех подхватили другие. Хохотали до упаду, вытирая слезы.

Человек в очках в недоумении осмотрелся, провел рукой по стене, понюхал прилипнувшую к пальцам смолу и — засмеялся вместе с другими. Из вежливости. Потом снял шубу. В круглых очках, маленький, тощий, сразу стал он похож среди полушубков и шинелей на какую-то невиданную желтоногую птицу.

— Чего ржете?

Смех оборвался, как с разбега останавливается эскадрон. Невысокий плечистый человек в овчинном полушубке протолкался вперед.

Бурят понял — начальство. Прижал руки к груди, оскалил зубы улыбкой и поклонился, стукнув каблуками.

— Чего хотите у Лазо? — глаза—как шило.

— У меня важные для него известия.

— Лазо здесь нет. (Два шила сверлят человека в очках.)

— Тогда я хотел бы видеть местное начальство.

— Я — командующий Нерчинским фронтом, Кожевников.

— Очень рад,— бурят показал два ряда ослепительно белых зубов— я — Иванов, бурят из совета атамана. Мне нужно с вами поговорить.

— Наедине?

— Конфиденциально. (Снова кто-то прыснул со смеху.)

— Оставьте нас ненадолго, ребята.

По виду Кожевникову можно было дать не меньше сорока лет. Большая кудрявая спутанная борода и давно нестриженые и нечесаные

волосы — хорошая маска, под которой никто не дал бы углекопу Кожевникову его двадцати пяти лет. Борода у него крестьянски-степенная. Борода словно лопата (не помогает ли эта лопата Кожевникову бросать крестьянские сердца в горн революции?). Он слушает бурята, поглаживая бороду. Борода неуклюжая, спокойная, а глаза — маленькие, карие — быстры, как шило в руках ловкого сапожника.

Выражения Иванова — круглые, цветистые, как камешки на дне Селенги.

Иванов рассказывает о себе. Его настоящее имя — Улан-Батор. На монгольском языке это значит — герой. (Глаза Кожевникова впиваваются в желтые ботинки.) Еще с ранней молодости лелеял он, Иванов, мечту об освобождении Монголии и бурят, о дружном единении обоих народов. После отца, богатого пушнинника, осталось наследство, что дало ему возможность уехать из России. Учился в Оксфордском университете. Долгие годы жил в Америке. Писал в европейских и американских журналах против царизма, боролся за бурятскую автономию. Поэтому в царское время не мог вернуться на родину. Приехал, благодаря случайности, уже только тогда, когда красные были побеждены. Связался с атаманом. Говорил об автономии. Заключили договор, по которому атаман обещал бурятам автономию за помощь в войне. Договор еще до сих пор не соблюдается. Ничего не сделано — и не будет сделано. Атаман мечтает о неделимой России. Между атаманом и Ивановым начались разногласия, ссоры. Угрожал арест. Как там, что он, Иванов, не читал раньше Ленина. Чешуя спала с глаз. Теперь он понимает, что у бурят один путь — с красными.

— Я читал и Маркса, — закончил свой рассказ человек в очках. — Я знаю, что сердце вашего учителя обливалось кровью за пролетариат, за людей, которым не принадлежит ничего кроме своих рук. У бурят овцы, кони, юрты... Но самый богатый бурят — нищий, как пролетарий. У него нет инструмента, с помощью которого он мог бы поднять народную культуру и общественную жизнь, — у него нет прав человека. Поэтому я пришел к вам.

Выражения человека в очках были круглые, цветистые, как камешки на дне Селенги.

Человек в полушубке барабанил пальцами по столу — ногти длинные, грязные, — смотрел куда-то поверх головы бурята. Человек в полушубке скучал, его не научили понимать красоту, с которой жонглер бросается пестрыми шариками. Когда бурят кончил, Кожевников спросил, подняв брови:

— Какой у вас план?

Бурят, как видно, об этом не подумал.

— План?

— Да, план.

— Я хочу организовать агитацию среди бурят. У меня приготовлен манифест (у Кожевникова борода шевельнулась будто в улыбке), вернее

воззвание... Я предлагаю бурятам бойкотировать правительство атамана: не платить налоги, не давать лошадей для армии.

— Это все?

— Я думаю: достаточно.

Бурят, смущенный, беспомощно заморгал глазами в круглых американских очках. Стекла в очках почему-то вспотели. Пришлось вытереть их пестрым (тоже американским) платком, дрожащим в руках.

— Фу! Не план это, а... (Кожевников не сразу нашел сравнение) дрянь! Слышите, дрянь!

Кожевников бегал по комнате, сердито ероша бороду и волосы. Борода сразу потеряла свой спокойный, солидный вид. А сам он стал похож на ощетинившегося ежа. Иванов никак не мог вытереть дрожавшие очки.

— Бойкот... Фу! Воевать надо! Воевать не на жизнь, а на смерть. Бойкот!.. Ха-ха-ха!.. Мягкотелость!.. Костяка нет у вас, вот что!

В дверь постучали. Кожевников нетерпеливо рванул дверь, пошептался с кем-то. Бурят понял, — речь шла о нем.

— У нас, партизан, принято испытывать каждого пришельца, — сказал, вернувшись, Кожевников. Лицо его жесткое, спокойное. — Сегодня мои парни поймали нескольких казаков во главе с ротмистром Красильниковым. В этом округе ротмистр руководил карательной экспедицией. Крестьяне и. партизаны требуют его смерти. Вы получите браунинг. Выбирайте: Красильников или...

Да, или Кожевников не возразил бы, чтобы Иванов при помощи браунинга выпустил из своего черепа пыль Оксфордского университета.

Иванов с американскими очками, Иванов, умевший умно говорить и быть гордостью всякого парламента, — стал жалким после произнесенного слова «браунинг». Губы его задрожали, когда он сказал:

— Я не террорист.

— Бабы нам не нужны. — Кожевников тверд, как кремень, хоть искру высекай.

Оба замолчали. Когда Кожевников (руки в карманах брюк) вопросительно повернулся к Иванову, тот из себя выдавил:

— Я согласен.

— Я вижу,—вы все же парень толковый. Хорошо! — обрадовался Кожевников. Хлопнул Иванова по плечу. Тот сжался под тяжестью руки, словно меньше стал под большими очками.

Человек, от полушубка которого кисло пахло овчиной и грязью, не понял, что пережил за этот короткий миг Иванов. Разве Иванов не пришел из Оксфорда, где на университетских полках лежит в кожаных переплетах вековая мудрость? Разве так недавно еще не восторгался Толстым и Ганди? Религиозно-мистическим восстанием душ без тела и крови?

— С браунингом вы, конечно, не умеете обращаться? Дело простое: вот это спустите книзу. Называется собачкой. Смешная собачка, не кусается. Теперь надо только нажать курок и — все в порядке.

Во дворе толпились партизаны. Ржали лошади. Пахло сеном и лошадиным навозом. А солнце было, как всегда на востоке, яркое и жгучее.

В пристройке, где сидел пленник, было темно. Иванов, ослепленный солнцем, наткнулся на человека.

— Это он, — сказал Кожевников.

Привязанный к столбу пленный был, видимо, поражен.

— Я вижу, вы интеллигентный человек, вы меня поймете. Мобилизован. Жена. Трое детей, один грудной... — слезливо говорит ротмистр.

Но, увидя браунинг в руке Иванова, направленный ему в голову, смолк. Если бы Иванов взглянул на него, то увидел бы скошенные в ужасе глаза и молчаливо разинутый рот, словно слова застряли в зубах. Неожиданность или страх? Человек в американских очках и желтых ботинках был таким странным и необычным, что страшная гримаса на лице ротмистра могла выражать не только ужас.

— Стреляйте! — крикнул Кожевников.

Иванов зажмурился. Выстрелил. Еще раз. Ему показалось, что это длится целую вечность.

— Хватит! Хватит! — закричал Кожевников.

Расстреляв все патроны, Иванов, не оглядываясь, бросился к двери со все еще зажмуренными глазами. Судорожно схватился рукой за косяк. Дышал часто, как рыба, выброшенная на берег.

— Что, плохо? Потом привыкнете. Ничего не поделаешь, такова война, — говорил сострадательно Кожевников, — только патроны жалеть не умеете. Это уж расточительность.

Кожевников был из числа тех людей, которые доводят дело до конца. Иванову хотелось броситься на пол, впиться в него зубами... или напиться... до потери сознания, до безумия. Но Кожевников уже усадил его за стол.

— Пишите, — голос у Кожевникова веселый, как будто ничего не случилось, — «Атаману Семенову. Антипиха. Я, Иванов, бывший член совета атамана, расстрелял сегодня одного из твоих бандитов — ротмистра Кузьму Красильникова. Объявляю, что так поступлю с каждым бандитом, который попадет ко мне в руки. Если не хочешь сам умереть собачьей смертью, то (Кожевников подумал, пощипывая бороду) смажь себе скорее пятки салом. Начальник бурятской дивизии Иванов».

Иванов запротестовал, что начальником дивизии быть не может.

— Это так просто... Чтобы у атамана глаза на лоб полезли. Бурятская дивизия. Здорово! Понял?

Следующее воззвание было к бурятскому народу:

— «Организуйте сотни и полки! Идите в сопки! Убивайте без жалости! Я, Иванов — Татор-Батор (ну, как там тебя зовут?), объявляю о восстании бурятского народа против белых кровожадных собак. Да здравствует Бурятская советская республика!»

У Кожевникова что ни слово — взрыв гранаты.

— Не правда ли? Хорошее дело — республика.

Третье воззвание было к бурятам, которые остались в полках атамана, и к тем, которые мучились в Борзинском военном училище.

Четвертое воззвание...

Неутомимый человек Кожевников. Плодородный, как чернозем после майского дождя.

... Были ламаиты — покорно тихие слуги Будды, которые в том году говорили:

— Я дал обет не проливать кровь людей и животных, я дал обет повторять ежедневно тысячу раз молитву ом-ма-ни-над-мехум.

... И были ламаиты, которые в том году говорили про свой обет, как о чем-то прошлом, и — шли в сопки.

Нет в огне холода,
Нет на земле мира...

Из бурятской песни.

Как огромные кошки, выслеживают сопки Антипиху железнодорожные станции.

Рельсы стальным потоком бегут на восток к Тихому океану, в Харбин.

Куда?

В вагонах — красных товарных, израненных и оцарапанных пулями, бронированных, белых-санитарных, в синих салон-вагонах — отравленная кокаином и сифилисом бежит потоком мимо сопок, гаоляновых полей Манчжурии, оседая в харбинских кабаках, шанхайских опиекурильнях, токийских публичных домах, — бежит легкомысленная от дряхлости старая Россия.

Мундир английский,
Погон наш русский,
А штык японский —
Правитель омский.
Прощайте, други,
Я уезжаю
И шарабан свой
Вам оставляю.
Ах шарабан мой,
Американка, —
А я девчонка,
Да шарлатанка.

Огненный вихрь с сопок, посланный партизанскими винтовками и пулеметами, развеял по воздуху, заглушил слова песни.

... И тогда проехал эшелон, над которым развевался бело-красный флаг. Под ним бежал в Латвию от вихря в сопках полк Иманта.

В эшелоне между товарными вагонами были и салон-вагоны. В вагон-ресторане сидели офицеры, офицерские жены и женщины, которым хотелось быть офицерскими женами.

— Слово предоставлено лейтенанту Дамбергу.

Встал лейтенант Дамберг, поэт недавно основанной демократической Латвии. Он любит позу. Поза предназначена дочери торговца пивом Кливэ. Она сидит напротив.

— Слушайте, слушайте! Силенциум!

— Тара-ра-бумбия, сижу на тумбе я.

— Но, господин Эйзеншмидт, это же невежливо!

— Силенциум!

Лейтенант Дамберг говорит:

— В нашем флаге два цвета — белый и красный. Белый значит невинность, красный — любовь...

— Невинная любовь бесплодна, — вставляет грубый голос.

— Но, господин Эйзеншмидт, это же невежливо!

Поэт смешался. Смех загремел в вагоне.

... В товарных вагонах сидит народ, Екабы, Петеры. Екабы, Петеры, Кристапы. У них синие глаза, как васильки на нивах, о которых они мечтают. И еще мечтают они о курляндской каше — «скаба-путра», — о реке Гауйе и о том, как хорошо целоваться летом, когда на сеновале пахнет сеном.

Они не захотели воевать с Советской Россией.

Но они еще верят василькам Латвии. И поэтому едут. Когда пароход будет качать их у сказочных берегов Индии, где солнце вылезает из тропического тумана, как тигр из бамбуковой заросли, — синие глаза-васильки будут мечтать о латвийских березовых рощах, о курляндской каше — «скаба-путра».

За Антипихой, за сопками, за станциями с красными флагами — высокое плоскогорье. Дикий и прекрасный в своей девственности застыл в степи, как выбежавшее на равнину стадо оленей, хребет Еблен-Доба.

Дифтерит.

(Рассказ.)

Глеб Алексеев.

Принесли ее к нам в понедельник, — а вам известно — в понедельники мы сбиваемся с ног. И виновата в этом — не таясь, скажу — родительская любовь! Знаю, ничего нет на земле прекраснее родительской любви, но детям она, в дифтеритном нашем бараке, — губительнее ненависти. По больничным правилам родители посещают барак раз в неделю, и всю неделю дети ведут себя отлично, не капризничают и не кричат. В воскресенье же налезают в барак родители:—слезливые, подозрительные матери, угрожающе-молчаливые отцы; они потихоньку пичкают детей леденцами, сосульками, ирисками; прячась друг от друга, подленько, они суют нам полтинники, чтобы мы лучше досматривали именно их детей, как будто больные не все для нас равны; они целуют, тискают, мучают своих детей, и когда, утолив беспощадную свою любовь, они, наконец, уходят, — дети провожают их ревом, и дня два потом с детьми нет сладу: у половины — повышенная температура, а в палате — густой, как непромешанная бертолетка, плач.

В такие послеродительские дни я верчусь, как заведенная, всем заменяю мать, и от ревности, что у одной кроватки я задерживаюсь дольше чем у другой, — дети ревут, хрипят и воют, и разворошенный этот муравейник успокоить еще труднее, чем их болезнь. И вот, однажды, в плакучий такой день вызывает меня амбулаторная сестра:—принесли девочку; девочка — в крупозном дифтерите и задыхается.

— Хорошо, — говорю ей, — я сейчас приму. Марию Александровну не видели?

— Мария Александровна, — отвечает, — пошла в обход, а в операционной — Зинаида Борисовна...

— Ну вот, все одно придется ожидать Марию Александровну... Видите сами, как мой курятник раскудахтался... Отойти не дадут...

И действительно: только я к двери — заревели два десятка ангельских душ хором, захлебываясь от горькой детской злости, но я пошла в приемную и вижу: стоит мужчина в кепке, — поганенькая бородка набок, брюки, как пузыри, надуваются на коленях, ботинки белые от трамвайной

сутолоки — служащий или бухгалтер, и на руках у него — ребенок в просаленном одеяльце. Держит он его неумело, но крепко, как мы, женщины, держим разве только кошек, — будто боится, что ребенок укусит или вырвется из рук. Я отвернула одеяльце и осмотрела девочку. Гортань — красная, как сваренная, и припухла, надгортанник чуть не вдвое толще нормального, связки выстланы гнойным покровом, а голосовая щель сужена до полного задушения. Картина ясная: нужна интубация, то есть вставить трубку в горло, чтоб девочка не задохнулась, а может быть и наложение трахеальной фистулы, — операция серьезная даже в наше время медицинских чудес. Трахеотомия — так называется эта операция — одна из трех операций: ущемленная грыжа, трахеотомия и заворот кишек, от которой не смеет отказаться ни один врач. Я быстро взвесила обстановку: ребенок проживет не больше получаса, сейчас же отобрать ее у отца, отыскать Марию Александровну.

— Давайте девочку, — говорю отцу.

Он только крепче прижал к себе сипевший в натуге комок.

— Чего ж вы боитесь? Ведь вы пришли в больницу...

Но он словно закостенел в своем горе, прижимает к себе ребенка, как неповторимую какую ценность, и у меня в душе шевельнулось даже нечто вроде раскаяния в том, что по понедельничной нашей страде я не добром поминала родителей. А может быть и в самом деле ценнейшее в человеке и есть вот эта своя жизнь в другом? Отними эту ценность, что останется, например, от него, кроме брючных пузырей и задряпанных трамвайной теснотой ботинок? Я подошла к нему ближе, положила руку на одеяло, но он вскинул на меня глаза — застеклевшие глаза человека, который в отчаянии своем не видит ничего.

— Что вы? что вы? — говорю. — Ведь мы же спасти хотим вашу девочку. Одна у вас девочка?

— Одна! — он горько кивнул головой.

— Ну вот, и очень хорошо, что во-время пришли... вставим в горлышко трубку... слизь забила ей горлышко... слышите, как сипит?

И опять, едва намекнула я про трубку, качнулся он назад будто от толчка. На лбу его повис грязный мучительный пот, и глаза побелели, как вываренные. Многих видела я родителей. Очень горюют матери — это верно! Они готовы вцепиться нам в горло, словно в болезни их ребенка виноваты мы. Отцы — по большей части молчаливы, иногда безразличны, от того ли, что чувство отцовства к мужчинам приходит позднее, когда в ребенке начинает угадываться индивидуальное человеческое лицо, или от того, что у мужчин ребенок — не единственное их дело на земле; но этот вот, стоявший сейчас передо мной, обнаруживал все навыки матери: не доверял — как мать, откидывал одеяльце — как мать; — и это было очень печально и очень смешно.

— Слушайте, — говорю, — гражданин хороший... Так вы только убьете свою девочку... Полчаса ей жить, если сейчас же не сделать интубацию... Ведь не баба же вы деревенская!..

Он заметался по амбулатории и в беготне своей быстрой, как у взволнованной птицы, все норовил мимо меня, подальше от меня — кругами, и вдруг остановился срыву, протянул мне ребенка:

— Берите... вот... все берите!..

— Не я беру, — отвечаю, — наука у вас берет, чтоб спасти ей жизнь.

Взяла я ребенка, а он — будто освободился от тяжелейшей, не по плечам ноши — вздохнул всей грудью и закрыл изнемогшие свои глаза.

— Ну, вот и отлично, — говорю ему, — вы тут подождите, покурите... все будет хорошо...

— Хорошо, — отвечает покорно, — я покурю...

Я поскорее, чтоб не отдумал, не вернул, понесла ребенка. Открываю дверь в операционную, а на пороге — Зинаида Борисовна, одетая в халат и в резиновых перчатках.

— Трахеотомия? — спрашивает.

— Нет, трубка, — отвечаю ей. Она повелительно кивнула мне, словно кивком давала приказ. «Неужели будет делать интубацию? — подумала я. — Как же она осмелится, если до сих пор ни разу не делала?» Я должна прямо вам сказать: не верила я ей. Была она молодым врачом, года три назад кончившим университет, у нас же отбывала стаж и, по общему мнению, врачом была способным, знающим, уверенным в себе. Но поймете ли вы меня? Перед вашими глазами вскрывает врач горло, и вы видите голосовые связки и над ними нож, один поворот которого стоит человеческой жизни! — в такие минуты восторженное благоговение чувствую я перед знающими, волшебными руками. На рояли, например, можно играть с отличной техникой, а все-таки — нет, не получается прекрасной музыки! А иные руки пойдут по клавишам заплетаясь, а звуки из-под них вонзаются в самую душу.

Обоих врачей своих я чувствовала по их рукам. У Зинаиды Борисовны были тугие руки здоровой крестьянской девушки, — ширококостные, до жестокости уверенные в каждом своем движении. Бывало, возьмет она плачущего ребенка, и ребенок смолкает сразу, будто испугается жестокой силы ее рук. Станет снимать пленку с горла—и не грубо, нет, снимет как раз столько, сколько надо, но всякий раз потом с облегчением вздохнешь:—ну, слава богу, на этот раз благополучно! Может быть, это и заставляло меня держаться с ней настороженно. Не чувствовала я в ней того бесконечного, до головы заливающего служения делу, какое было у Марии Александровны. Зинаида Борисовна лишнего полчаса в палате не пробудет без дела, лишнего любопытства не проявит, — не приедет, как Мария Александровна, ночью взглянуть на тяжело больного. Была она суше, строже, больному отпускала только то, что положено: положено тебе одну смазку в день — получай свою смазку, положено два яйца — получай свои два, а третьего не проси, третьим ты обидишь еще кого-нибудь, — а нет нужды, что третье-то вообще осталось неиспользованным... И ни улыбки, ни шутки, ни ласкового слова при

этом... Пафоса служения нашей работе в ней не было! Она видела в нашей облегчающей человеческие мучения работе только дело, дело, которое надо честно делать, и больше ничего!

— Приготовьтесь к операции! — сказала мне Зинаида Борисовна.

— Я уж послала за Марией Александровной,— отвечаю ей. И прохожу к столу, чтобы положить девочку.

Она вспыхнула до корней волос, но глаза — попрежнему сухие и холодные, и голос — жесткий как ланцет:

— Ждать некогда — сами видите... Будьте любезны приготовить инструменты...

— Хорошо,— отвечаю ей и бросилась за бинтами, за инструментами, а руки у меня дрожат, и — как нарочно—то одного не найду, то другого. А девочка на столе синеть начала, вижу: — медлить никак нельзя. Но что я могла поделать, если не верила ей?

— Вы что ж? нарочно, что ли, затягиваете? — спрашивает Зинаида Борисовна.

Откуда у меня смелость взялась в тот момент? Может быть, оттого, что не счастливая я:—не было у меня своих детей, и к каждому ребенку я чуточку как к своему относилась, но только представилось мне: а что если бы моя дочь лежала в смертной борьбе, а мы вели наш поединок, только не я — я, а мать — я?.. И опять давешние мои мысли о родителях показались мне жестокими и несправедливыми.

— Я вам не верю! — отвечала я.

— Ах, вот что! — Она даже вскрикнула, подалась ко мне тем невольным движением — всей грудью, каким всегда подается женщина в гневе к обидчику, когда ей нехватает слов. — Я вам приказываю: немедленно приготовить все к операции. Слышите? Иначе вся ответственность — на вас!

На приказание я не посмела ответить. Мое дело — подчиняться врачу. И в этом — не я, а она права. Если каждая сестра в таком деле как наше (да это и во всяком деле) начнет руководствоваться внутренним убеждением, — что ж получится в результате? Да и ждать больше некуда:—лицо у девочки стало как у рождественского поросенка, и уж покорство — в ее движениях, не сучит ручками, вытянулась на столе, — а я по практике знаю, что означает такое покорство.

— Слушаюсь! — ответила я и в одну секунду приготовила все.

А в груди все горит, уши не слышат ничего кроме шагов: не раздадутся ли шаги в коридоре? — и раз даже ослышалась я, кинулась к двери, — но то была няня, шедшая куда-то...

О, как остро мы ненавидели друг друга в эти минуты, Зинаида Борисовна и я!.. И ведь что замечательно: симпатичнейшим она была человеком — Зинаида Борисовна, привлекала в ней крепость, самоуверенность какая-то, каждый жест ее был хозяйским, и не потому, что она— врач, известное положение занимала, а по характеру, по врожденности... Мы вот, сорокарублевые, живя, только и делаем, что защищаемся от жизни,

как локти в московском трамвае, — заметили наверное: всегда у пассажиров в трамвае угрожающе оттопырены локти? Сорокарублевым заработком своим мы защищаемся от голода, работой — от бессмыслицы и скуки, любовью к ближнему — от сердечной своей пустоты, горением подвига, как у Марии Александровны, — от ничтожества, чтоб не уйти из мира, не оставив в нем следа... Не было в ней ничего этого. Должно быть, потому и не верила я ей, что ни болей, ни радостей своих, ни сомнений в ней не чувствовала, что то же самое дело, какому служили мы: Мария Александровна и я—делала она по иным побуждениям, в которых сам-то человек оказывался ни при чем...

Я приготовила девочку, разложила инструменты в порядке, как понадобятся они при операции, подхожу к столу с правой стороны, как положено мне быть, и только тогда нашла я нужное мне спокойствие: всегда при операции глаза становятся зорче, руки умелее, и сама превращаешься в автомат, движения которого рассчитаны как секунды. Мое дело:—во-время подать инструмент, во-время принять, подвинуть, согласовать свои руки с руками оперирующего врача, чтоб мои руки вились около его рук, разговаривали с его руками, но отнюдь не задевали их:— очень плохо, если во время операции неловкая сестра касается своими руками рук врача.

— Я готова! — говорю ей спокойно.

— Ну, вот и отлично...—ответила Зинаида Борисовна и подошла к столу.

Ну-с, стала она делать интубацию... и вот предчувствия мои, оправдались ведь горькие предчувствия мои! Задушила она девочку неловко вложенной трубкой. Задушила девочку, а во мне — как все-таки странно устроен человек! — не жалость кипит, не отчаяние, а какое-то угрюмо-злое торжество. Смотрите, мол. Все смотрите! Не ошиблась я!

И вот в этот момент входит в операционную Мария Александровна. Всегда неслышной была ее походка, мы — медицинские работники — приучаемся ходить неслышно, как матери, а тут ворвалась она будто тигрица, ищущая ребенка. Седые волосы ее разметались по лицу языками, руки дрожат, и не спрашивает меня ни о чем, без слов понятно все:—синее лицо у девочки, и глаза, из которых даже смерть не смогла вылить муку, открыты как пустые окна. И обе мы, Зинаида Борисовна и я, отпрянули от стола, уступая дорогу ей, но она, послушав пульс, молча отошла к рукомойнику. И вот слежу я за ней от окна, и глаз не могу поднять выше ее ног, по ногам ее боюсь догадаться, и тут только приметила, что ботинки у нее стоптанные, с белыми задками, и даже подумала: могут же быть такие неопрятные ботинки! Вымыв руки, Мария Александровна вышла из операционной неслышной походкой, какой ходят только матери, да вот еще — если в комнате лежит мертвец.

— Подите, скажите отцу, — говорит мне Зинаида Борисовна.

Я даже не поняла ее в первую минуту. Лицо ее было спокойно, только непоколебимые, будто врезанные ее брови, волнуясь, влезли на

лоб в растерянной, виноватой брезгливости, какая знакома лишь врачу, на руках которого кровь только что умершего человека.

— Скажите отцу, — настойчиво повторила она.

— Вы убили, — ответила я, — вы и говорите...

Повела она жуткими своими бровями, говорит:

— То, что здесь — тайна... Понимаете?

Но я только усмехнулась ей в ответ:

— Боитесь? Места боитесь лишиться, должно быть?

Говорили мы почти шопотом, и слова друг друга больше угадывали, чем слышали, — а тогда казалось, что кричим на всю больницу.

— Места боитесь лишиться! — повторила я, подходя к ней ближе и с новым, непонятным самой мне чувством рассматривая ее, словно впервые ее видела. Может быть, так оно и было. Живешь с человеком целую жизнь, и не знаешь: какой он? какого цвета у него глаза? — а вдруг приступит минута, и в ней человек словно шубу снимет с сердца, и сердце на твоей случайной ладони забьется обнаженное. Очень подлая я тогда была, теперь я понимаю это: — сердцем ее на своей ладони я играла словно мячиком, как глупыми своими словами.

— О долге вспомнили, вот что! Что ж вы о нем перед операцией не подумали? Это не служба, нет, нет! Все на земле можно превратить в службу, но человеческой вооруженной ножом руки служить не заставишь... Нож в человеческой руке подвига требует!

— Что ж, — усмехнулась она, — гореть что ли?

— Гореть, — кричу ей ватными своими, неслышными словами, — обязательно гореть... Нож в вашей руке — служение, а не служба...

— Глупости... глупый идеализм ваш... а это, — она кивнула на девочку, и — показалось мне — девочкина синяя головка шевельнулась на столе, будто прислушивалась к нашему поединку, — это — только случайность и, может быть, пробный урок... Идите к отцу!

— Не пойду я!

— Я вам приказываю итти, — сказала она со спокойной властностью врача, попросившего передать бинт. В эту минуту она словно угадала во мне что-то, чего сама в себе я не посмела угадать. Кто прав из нас? Кто осмелится решить это? А может быть пылкими своими словами о служении я пыталась скинуть смертную кровь со своих рук на соседние? А может быть и в самом деле скальпелю нужно быть не кадилом в руке, а пальцем, который так врос в руку, что не дрожит?.. Ведь у Марии-то Александровны, хоть и была она опытнейшим врачом, — всегда во время операции дрожат руки, будто не глазом, а сердцем находит она нужный нерв. И сама я, наконец, — разве не пытаюсь убедить себя перед операцией, что передо мной — не живой человек, а предмет, — ведь только тогда и рождается во мне нужное спокойствие, а движения мои делаются точными как инструмент. Во всех нас борются два начала: служения и службы, — чем же виновата Зинаида Борисовна, если одно из них она довела до предела, а другое — мешавшее — отбросила?..

— Ну, идите же к отцу, — сказала она ласково, как маленькой, и я пошла покорно. Я знала: сейчас будет безумие, он — закуривший в ожидании смерти отец — забегает по амбулаторной и, стыдясь тесных своих слез, будет кричать и угрожать. Он будет угрожать тем страшнее, чем обильнее брызнут оскорбляющие его, злые слезы. А потом в изнеможении свалится на стул, и лицо его станет опустевшим лицом человека, которому сообщили, что умерла земля. Знала я все это по горькому двадцатипятилетнему опыту моему. Так все оно и вышло. С профессиональной нашей замкнутостью ждала я, чтоб он выговорился, изнемог, чтоб подавился беспомощным, поздним своим гневом; я должна была спросить его о деле, о службе, какая выпадала на мою долю после смерти его дочери:

— Будете ли производить вскрытие или возьмете для погребения?

И, как часто бывает это с родителями, — не смерть, а слово «погребение» он понял, и понял сразу, нутром, — уронил на пол кепку, которой только что размахивал как ножом. Эта оброненная кепка опять колыхнула во мне жалость к нему, и сознание какой-то общей нашей виноватости перед ним, — и я шагнула было, чтоб поднять ему кепку, чтоб успокоить его житейским этим жестом. Верно это:—профессиональная наша холодность и есть самое страшное для родителей, понять ее они не могут, но если бы поняли — они не приносили бы детей в наши бараки, и дети мерли бы —закормленные леденцами, затисканные их ласками, задушенные их слезами.

И тогда во мне опять — и в последний раз в страшный этот день — осилило то другое, что заставило меня покорно исполнить приказание Зинаиды Борисовны. Я сказала ему с вежливой холодностью:

— Справку о смерти вы получите в амбулатории.

Я понимала, что этой казенной фразой кончаются все мои отношения с ним (и не только мои, а также и больницы, представительницей которой я была), но, произнося жестокую эту фразу, я впервые в жизни слышала звуки собственной речи, которых не слышит человек никогда.

Моя жизнь.

(Продолжение.)

С. Подьячев.

В ученье повезла меня мать. Выехали на станцию за двадцать верст рано утром, до солнечного еще восхода. Я как-то одеревянел и не плакал.

Мать сидела рядом со мной на телеге и, обернувшись назад, все время крестилась на церковь — до тех пор, пока она не скрылась из глаз.

Вез нас на своей лошаденке за рублевку дядя Митрий, маленький веселый «мужичок с ноготок». Лошаденка его — круглый, кирпичного цвета, коротконогий мерин по кличке «Сугробкин» — нехотя, с большими усилиями, нося боками, тащил неуклюжую телегу по плохой глинистой, все больше лесной и не успевшей еще хорошо просохнуть, дороге.

Ехали долго и на станцию прибыли почти что к вечеру. Лошадь поставили на постоялом, а сами пошли в трактир попить чаю и потом уже итти на поезд.

Мне первый раз пришлось увидать такой трактир, как тот, куда мы пришли.

Низкий сводчатый потолок, загаженный, заплеванный, вонючий пол, чад, дым, пьяный гам, ругань — все это ошеломило и поразило меня.

Всем нам хотелось есть. Мать достала из мешка захваченные из дома лепешки и кроме этого заказала селедку. В те времена они были дешевы. Большая, так называемая «залом» стоила всего-навсего пятачок. Подали нам ее на продолговатом блюдце с подливкой, изрезанную на большие куски. Но дядя Митрий не стал есть, а сказал, обращаясь к матери:

— Ты бы, Игнатьевна, поднесла мне перед закуской-то.

— Батюшка, дядя Митрий, боюсь я: а ну как ты, спаси господи, захмелеешь, что тогда мне с тобой делать-то? Ты и до дому-то не доедешь. Оберут тебя.

— А чего у меня взять?

— А лошадь-то, спаси господи, не угнали бы. Ишь здесь народу-то сколько всякого.

— Что я об двух головах, что ли? Аль ничего не смыслю? Слава тебе господи, видали тоже кое-чего. А ты давай на косушку, устал досмерти! По эдакой дороге другой за трешницу не повез бы, ей-богу!

Мать дала ему сколько-то деньжонок. Получив их, он куда-то вышел и пропал.

Мать сильно забеспокоилась и начала ругать себя, что дала ему денег.

— Ах я, дура нескладная, ах я, дура нескладная, что я наделала-то! Напьется пьяный, как назад-то поедет? Ему ведь только, — совсем у меня из головы вон, — губы лиха беда помазать, а там и пойдет. Сынок, батюшка, посиди здесь один, а я сбегаю поищу его, где он.

И только было она хотела подняться и уйти искать дядю Митрия, как он сам появился откуда-то и уже пьяный.

— Игнатьевна, — кричал он через минуту, остановившись около стола и пошатываясь, точно его толкал кто-то то вправо, то влево, — я в-в-нас обеих на машину доставлю! П-п-п-а-сажу на место! По-о-езжайте! Вставай, пойдемте! Тебе далеча ли ехать-то? В каку в сторону? В Питербург али в Москву?

— Мне, батюшка дядя Митрий, по питерской дороге до станции до Бологой, а там опять в сторону на другую машину.

— Ишь тебя несет куды нелегкая-то от сваго дому! Учиться везет дерьма! Барин какой, подумаешь! Отдали бы в сапожники к Матвей Иванычу, дело-то бы складней вышло. Мы, чай, не господа по училищам-то нас возить. Н-н-н-у, идемте!!

— Дай чайку-то попить. Сам-то садись выкушай. Устал небось? Погоди!

— Нечего годить, когда поп пошел кадить! Идемте!

Мне тоже хотелось уйти из этого шумного трактира, чтобы поскорее увидать «машину», которую я еще никогда не видал и не мог представить, что это за штука.

Дядя Митрий, пошатываясь из стороны в сторону, повел нас к вокзалу. В левой руке он нес мешок, а правой размахивал, и безумолку громко, обращая на себя внимание прохожих, выкрикивал, обращаясь к матери, советы, как садиться в вагон, как ехать и т. п.

— Сядешь в вагон, — орал он, — и сиди смирно, никуда не ходи, а уж машина доставит тебя до места!! Поняла?!

— Поняла, батюшка, поняла, а ты не кричи шибко-то!

— А кто нам закажет? Боюсь я, что ли, кого?!

Выправили билеты, вышли на перрон к поезду.

И вот, немного погодя, с левой стороны вдали показалось что-то черное, испускавшее дым и вдруг, не дойдя до станции, громко закричавшее криком, похожим на совиный, но только гораздо громче. Пыхтя, дымя, шипя, чудовище подошло к станции и, еще раз крикнув, остановилось.

Я с разинутым ртом глядел на это невиданное мной чудо-юдо.

— Сынок-батюшка, держись за меня, пойдем скорей в вагон! — заторопилась мать. — Дядя Митрий, батюшка, прощай! Не пей уж ты больше вина-то, Христа ради! Не пей! Послушай ты меня, дуру, не пей!

— А ты ладно уж, — в свою очередь кричал дядя Митрий, танцуя под окнами вагонов, — ты не беспокойся! Полезай в вагон-то... садись! Держись, не упади! Дай бог в час! Поезжайте со Христом!

Мы скрылись в вагон. Поезд тронулся.

Всю дорогу — сперва до Бологое, по бывшей Николаевской, а потом до Рыбинска — я был сам не свой. Все было ново, необыкновенно, все интересовало меня и удивляло.

Мать следила за мной, одергивала, когда я высовывался в окно, испуганно говоря:

— Сынок-батюшка, не высовывайся! Спаси бог упадешь! Долго ли до греха!

А после каждой остановки поезда, когда он снова трогался, она крестилась и шептала:

— Господи Исуси Христе! Господи Исуси Христе, спаси, сохрани и помилуй!

Много лет прошло с тех пор, многое затерлось, забылось, но не забылась она, дорогая моя мать! Так вот и стоит перед глазами, вызывая на них слезы, милый ее образ, и слышу голос ее ласковый: «Сынок-батюшка! Сынок-батюшка!..»

В Рыбинске надо было садиться на пароход, шедший вверх по Шексне до Череповца и дальше на Чайку.

Погода стояла пасмурная, холодная. На пристани было оживленно и шумно. Множество судов различной формы и величины покрывало Волгу, а мачты, как лес, возвышались над этими судами. То и дело раздавались пароходные свистки, а пароходы, шлепая колесами, подходили и отходили от нескольких пристаней. Я держался за мать, не отставал ни на шаг, а она выспрашивала у многих, как пройти и где садиться на пароход, идущий туда-то вот.

После немалых поисков мы, наконец, попали куда надо.

У пристани, к стоявшему уже на месте, очевидно пришедшему раньше и гораздо больших размеров пароходу, причаливши к его боку, стоял небольшой пароход с надписью над колесами «Цецаревич». Этот «Цецаревич» и был, как оказалось, тот самый, на который нам надо было садиться. Из его трубы валил дым. Он скоро должен был отойти. Мать взяла билеты на палубу, в третий класс, и мы прошли на пароход. Здесь вся палуба — весь этот «третий класс» — была переполнена и людьми и кладью. Насилу разыскали где-то на носу место и уселись. Вскоре пароход тронулся. Мать принялась креститься и шептать молитвы, а я очумело смотрел на невиданную картину.

Пароход потихоньку пошел, пробираясь между судов вверх по Волге. Город остался налево на горе. Шексна — широкая в устье, мутная река — пала в Волгу, если итти по течению последней, с левой ее стороны около

Рыбинска. От Рыбинска вверх Волга бежала слева, а Шексна — справа. «Цецаревич», пройдя Волгой, вошел в Шексну и пыхтя, вздрагивая, громко шлепая плицами колес, побежал вверх против течения по ее мутножелтой воде.

Весь верх парохода и там, где мы сидели, везде было переполнено. Много ехало пьяных. Гам, ругань, пение стояли вокруг. Я сидел, прижавшись к матери, уставший и растерянный. Погода делалась все хуже и хуже. Перед вечером пошел при сильном холодном ветре дождик, хлеставший сбоку с северной стороны. Стало еще холоднее, и быстро как-то надвинулась темная ночь. Мне стало страшно. Я уткнулся головой матери в коленки и заплакал.

— Сынок-батюшка, что это ты, Христос с тобой! — наклонившись ко мне и прикрывая меня платком, зашептала мать, — а ты полно-ко! Не плачь... Не плачь, сынок-батюшка! Об чем плакать-то? Плакать-то не об чем! Тебе там хо-рошо будет! Бог даст выучишься, человеком будешь. Люди будут завидовать. «Эва, — скажут, — какой у них сынок-то умница, ученый». А мы-то с отцом будем радоваться, а мы-то будем радоваться!

К месту назначения приехали на другой день. Остановились после долгих расспросов в каком-то убогом «номере» — комнатушке с одним низким оконцем, глядевшим в деревянный забор. Сумрачно и уныло было в этом номере. Мать поминутно охала, вздыхала и не один раз принималась пересчитывать деньги, завязанные узелком в платке. Посчитает-посчитает, покачает головой и скажет:

— Ох, сынок-батюшка, денег-то у нас с тобой не ахти сколько! Как домой-то ехать, с чем? Есть небось хочешь? Похлебал бы горяченького, а спрашивала я — дорого здесь! Ах ты, господи! Вот они грехи-то тяжкие! А ну как, спаси господи, тебя не возьмут в училище, откажут, что тогда делать-то?

Переночевав в номере, мать утром, часу в десятом, повела меня в училище. У ней, между прочим, было письмо к главному начальству училища — инспектору.

Кирпичное, красное двухэтажное училище стояло на горе, а пониже, под горкой, напротив училища, стояли здания чугуннолитейного завода. За заводом — речка Ягроба, а за ней — Шексна.

Подойдя к двери, мать остановилась, перевела дух, перекрестилась и отворила дверь.

В просторной передней, где мы очутились с ней, было полутемно. Направо видна была лестница, ведущая на другой этаж, откуда доносился шум; прямо была дверь, ведущая в большую с невысоким потолком, заставленную столами комнату — столовую. По бокам двери, ход в столовую, справа и слева два больших окна, выходивших в столовую, сквозь стекла которых видно все, что в ней делается. Там в столовой близ стены на свободном месте стояли принадлежности для гимнастических упражнений.

Под окнами стояли скамейки, которые, когда мы пришли, были уже заняты пришедшими раньше нас и, очевидно, с той же целью, как и мы, сидевшими на них папашами и мамашами со своими сынками.

Налево от входной двери, около вешалки, стоял, вытянувшись на деревяшке вместо ноги, с какой-то медалью на груди бывший солдат-швейцар.

Мать робко подошла к нему, поклонилась и, держа в руке письмо, спросила:

— Служивый, батюшка, где мне письмо вот подать к старшему к вашему — к инспектору?

Солдат покосился на нее, оглядел с ног до головы и буркнул:

— Обожди!

— Слушаю, батюшка!

— Присядь пока, — опять буркнул служивый и, немножко помолчав, добавил: — Сейчас он выйдет, из той вон двери выйдет, — кивнул он налево в угол. — А пойдет в эту дверь вот. Контора здесь. Тут ты ему и подай письмо. Не зевай только. Он много разговаривать не любит.

— Спасибо, батюшка, дай тебе, господи, здоровья! — сказала мать и отошла в сторонку.

Немного погодя, из той двери, на которую кивнул служивый, действительно как-то неожиданно не вышел, а выскочил худощавый с белой бородой и с белыми же на голове волосами человек, который быстро через переднюю направился к противоположной двери. На-ходу он точно лягался, дрыгал то одной ногой, то другой.

Солдат на деревяшке, увидя его, вытянулся и замер в такой позе, как будто бы он был не живой, а замороженный труп. Сидевшие на скамейках вскочили, а мать моя (откуда только смелость взялась!) бросилась к нему наперерез, держа в руке письмо.

— Что такое? Что такое?! — весь дернувшись, испуганно спросил он.

— Батюшка... письмо вот... вашей милости, — не своим, а каким-то униженно-жалобным голосом залепетала мать.

Он вырвал у ней письмо и, лягаясь ногами, быстро подошел к двери и, прежде чем взяться за ручку и отворить дверь, поднял растопыренные пальцы правой руки ко рту, подул, вытягивая губы на каждый палец отдельно, отпустил руку вниз, потряс ею и, опять лягнув ногой, взялся за ручку, отворил дверь и скрылся за ней.

— Господи Исуси! — испуганно прошептала мать и вопросительно взглянула на солдата-швейцара.

— Не бойся, — сказал солдат. — Взял письмо, значит дело будет!

И действительно вскоре же мать позвали в контору. Конечно, и я пошел с ней туда же.

Инспектор, держа в левой руке листок письма, сердито сказал, обращаясь к матери:

— Принять на казенный счет вашего сына я не могу: свободной вакансии нет.

Он помолчал, окинул глазами мать, потом меня и отрывисто спросил:

— Сколько ему лет?

Мать сказала.

— Гм-м! Фу-у-у! — подул он на растопыренные пальцы, поднеся их ко рту. — Фу-у-у! Нет вакансий!

Мать заплакала.

— Что же мне делать-то теперь, как поеду-то? Ах ты, господи, царь небесный! Батюшка, голубчик, нельзя ли как-нибудь?! Ну, что же это такое будет! А мы-то думали... Возьмите Христа ради! Много ли ему одному нужно? Ребенок он еще совсем по разуму-то.

Она сделала было движение схватить его за руку и поцеловать, да не успела, ибо он быстро отдернул руку и крикнул:

— Ну хорошо! Хорошо! Хорошо! Мы возьмем его сверх штата... Понимаете: сверх штата! И без экзамена, и без экзамена! — повторил он с ударением, — понимаете?!

Мать, очевидно, поняла из всего этого одно только «возьмем» и молча низко кланялась.

— Приводите его завтра и пусть остается! — сказал инспектор и отвернулся.

Мы вышли из конторы.

— Как дела? — спросил солдат-швейцар.

— Слава богу! — радостно ответила мать. — Велел приводить завтра.

— Значит, приняли!

— Приняли, батюшка, приняли!

— Ну и слава богу! Поздравить, значит, можно, а?

И говоря так, он глядел на мать такими глазами, в которых, как на вывеске, были видны слова: «давай!»

Мать сейчас же догадалась, в чем дело, и сунула ему в руку, как сообщила мне после, двугривенный.

— Сухая-то ложка, сынок-батюшка, рот дерет, — в виде поучения закончила она. — Помни ты это постоянно!

На другой день с утра мать опять повела меня в училище — на этот раз, чтобы оставить там совсем.

Помню, встали мы с ней рано. Оба тоскливо настроенные предстоящей разлукой, до которой оставалось уже не много. Пароход отходил, как мы узнали, во втором часу дня.

Надо было итти в училище. Мать обняла меня и голосом, в котором дрожали слезы, мучительно действовавшие на меня, зашептала «наставления».

— Сынок-батюшка, — захлебываясь, шептала она, — учись ты Христа ради, старайся! А пуще всего угождай всем, чтобы тебя любили. Слушайся начальства. Бога помни... молись... Спать ложиться — молись, и вставать — молись. На молитве родителей поминай, мать хресную и всех православных християн. К господу прибегай со всякой скорбью

своей. Ни грубиянь! Помни: ласковый теленок двух маток сосет. Господь даст, выучишься, человеком будешь, барином.

Приведя меня в училище, она, помню, долго упрашивала в передней вчерашнего солдата-швейцара не оставлять меня, точно этот солдат и был самое важное и главное лицо в училище, у кого я буду учиться.

— Будь спокойна, мать! — говорил, напуская на себя важность, солдат. — У нас не забалует! М-м-мы выучим! Не бойся! Не он первый, не он последний. Бумаги — метрику и протчие — сдала в контору?

— Нет еще.

— Давай мне, я отдам.

— Дай тебе, господи, здоровья!

Когда настала последняя минута разлуки, я заревел и, цепляясь за мать, взмолился:

— Возьми меня с собой! Не останусь я здесь один... Возьми!..

Помню, когда мать, перекрестив меня несколько раз, ушла, я забежал наверх в спальню, из окон которой видна была Шексна и проходившие по ней пароходы, прижался там на окне в углу и, дождавшись и увидав как по реке вниз побежал пароход, на котором, я знал, едет мать, — заплакал горючими слезами, чувствуя, как мое сердце и все мое существо переполняются лютой, невыразимой словами скорбью!..

Принят я был в первый класс, а всего в училище было четыре да еще два практических.

С первых же дней своего пребывания в училище я почувствовал и понял, что здесь не у маменьки родимой, что здесь до меня нет никому никакого дела и что я должен надеяться только на себя, приспосабливаясь ко всяким обстоятельствам, а всяких обстоятельств было великое множество.

Среди учащихся или, как их называли, «воспитанников» превыше всего ставилась физическая сила. Обладатели ее пользовались особым почетом, были всегда впереди, ели лишний и лучший кусок, в спальне спали на лучших местах. Приказы ихние выполнялись точно и беспрекословно. Жаловаться учителю было нельзя. За жалобу, за фискальство, если бы оно случилось, должно было быть жестокое наказание — избиение.

Все воспитанники, начиная со старших классов и кончая первым младшим, ругались гадкими матерными словами. Ругань, особое уменье сквернословить считалось за какой-то особенный род молодечества.

Курить разрешалось всем, и для этой цели, на верхнем этаже, рядом с уборной, была отведена особая каморка, постоянно до отказа наполненная вонючим дымом. Было и пьянство, но это только в старших классах. Начальство, учителя боялись старших воспитанников. Да и как было не бояться, когда однажды, как говорили (я не застал этого случая), учителя, который что-то уж очень стал строго относиться к воспитанникам, поймали наверху в спальне и, раскачав, хотели выкинуть в открытое окно.

По субботам «гоняли» в собор ко всенощной, а в воскресенье — к обедне. За этим следили и выполняли строго. Одеты воспитанники были одинаково: черные, точно монастырские подрясники из какой-то грубой материи, шинели. Когда мы все шли ко всенощной или к обедне попарно, друг за дружкой, маленькие впереди, большие позади, — то шествие это было похоже на шествие монахов.

Утром, часов в шесть, дежурные, ходя по спальне, будили спящих оглушительным трезвоном в колокольцы и матершинным криком-ругательствами.

В семь «гнали» в столовую пить чай с круглой, кислой на вкус, испеченной из плохой, низкого сорта муки, булкой. Немного погодя после чая расходились по классам, где и занимались до обеда до двенадцати часов дня. После обеда, состоявшего обыкновенно из двух перемен: щи, каша, шли в мастерские — столярную и слесарную на работу до четырех часов. В пятом часу опять пили чай с куском черного хлеба и, как помнится, часов до семи были свободны. Поужинав часов в семь оставшейся после обеда бурдой, занимались по классам, готовили уроки, до девяти. В девять дежурный воспитатель, собрав всех в зал, делал перекличку, после которой становились на молитву и пели ее все вместе хором. После молитвы шли в спальню.

Так, при таком вот поверхностном обзоре, казалось бы, спокойно и гладко-правильно проходила жизнь, но на самом же деле, помимо этой обыденной распределенной «казенщины», в училище была иная, более глубокая, подчас страшная своей жестокостью жизнь.

Попробую, как сохранила мне моя память, воскресить кое-что из той далекой пережитой мною когда-то и невозвратно канувшей в темную бездну жизни.

В училище среди воспитанников были некоторые, так сказать, узаконенные и крепко державшиеся правила с новичками и старших с младшими.

Мы, например, ученики первого класса, не имели права входить в какой-нибудь другой класс. В помещение же нашего класса лезли все кому и не надо. Даже те, которые только что переведены были из первого во второй класс, и те считали унизительным для своего величия разговаривать с нами. Они только приказывали и требовали, чтобы приказ исполнялся сейчас же беспрекословно!..

Нередко происходили драки, и смотреть на эти драки, как на любимое зрелище, сбегались со всех сторон воспитанники, поощрявшие дерущихся матерными ругательствами и смехом.

Вновь поступивших в училище — «новичков» — оставшиеся на второй год в тех же классах (первый и второй) «старички» вводили и знакомили с училищными обычаями, укоренившимися в нем с прежних старых годов.

Помню, как меня, недели через полторы после моего пребывания в училище, подхватили на руки (дело было вечером в классе), раскачали и

с пением похабных куплетов начали «давать тарана», то есть ударять меня задом о выступ парты. Было и обидно и больно, но плакать не полагалось, и операцию эту я перенес без слез. Другое «испытание» пришлось перенести после, уже зимой, когда стало холодно и выпало много снегу.

Меня, легко одетого, в одной блузе, подхватили, стащили в сад за мастерские и там, бросив в сугроб снега, начали с хохотом и руганью закатывать в нем и душить. Едва дыша, весь в снегу, испуганный и озябший, вырвался я от них и убежал.

Это называлось «крещением».

В первом классе, где нас было немало, по силе я считался не из последних. Сначала, когда я еще путем не огляделся и не привык, «старички»-второгодники частенько колотили меня и командовали мной, как господишки над прислугой. Но однажды, как сейчас помню, дело было вечером в субботу, перед тем как «гнать» нас ко всенощной, — один из старичков, рябой малый, фамилию его забыл, привязался ко мне с насмешками и ругательствами. Сначала я, боясь его, отмалчивался и отходил, но когда он, видимо поощряемый моей робостью, ударил меня и схатил за волосы, я сцепился с ним — и мы оба покатились на пол. Как и водится, сейчас же около нас образовалось кольцо любопытных. Мы катались по полу, колотя друг дружку. Помню, что я одолел его в конце концов и, подмяв под себя, душил за глотку. Вот тут-то он, в пылу драки и видя, что его не берет, ухитрился как-то достать из кармана ножик и этим ножом, тоже как-то ухитрившись открыть его, нанес мне удар в левую руку повыше локтя. Сразу я не почувствовал никакой боли и ничего не заметил. Но тут же, как только прекратилась драка, я увидал, что из рукава моей блузы течет кровь, и почувствовал боль. Рана, нанесенная мне, была очень глубокая (значок на руке и сейчас есть). Меня отправили в лазарет, а начальству о том, как это случилось, было сказано, что такой-то воспитанник ранил меня ножом во время игры, нечаянно. Тем дело и кончилось, а рана благополучно без всяких осложнений зажила.

В первый класс приходили заниматься с нами несколько учителей, которых я до сих пор не забыл.

Их было четверо. Поп, преподававший нам так называемый «закон божий», учитель арифметики — длинный худой немец по фамилии Берник, учитель русского языка и учитель по прозвищу «Телка» — географии и рисования.

В старших классах, помимо упомянутых, были еще учителя. Сам инспектор по прозвищу «Лягавый» и еще какой-то долговолосый, плохо одетый, по прозвищу «Алеха рваный».

Из окон первого класса, выходивших на двор, видна была на противоположной стороне в красном кирпичном здании квартира учителя Берника, которого я боялся и ненавидел пуще всего на свете. Дело в том, что преподаваемый им предмет — арифметика — был для меня какой-то пыткой. Не давалась она мне, проклятая! А учитель, видя, что я плохо

понимаю, вместо того чтобы пособить мне, помочь, объяснить, насмехался надо мной, язвил, доводя меня до слез и сея злобу в мое сердце.

Парта, на скамейке которой сидел я, как раз стояла у окна, и мне в окно это было видно, как ненавистный учитель выходил из своей квартиры, направляясь к нам в училище на урок.

Придет он, бывало, в класс, одетый в серый костюм, долгоногий, худой, с жиденькой клинышком бороденкой — и сразу в классе сделается тихо, как-то жутко и мертво.

— Гм-м! Гм-м! — усаживаясь на свое место и вытягивая длинные ноги, покашливает он и, окинув всех глазами, скажет: — Н-ну-с начнем-с!

Помолчит немного, опять окинет всех взглядом, посмотрит в свою лежащую перед ним на столе книжечку, где записаны наши фамилии и куда он вносит отметки — баллы, — помолчит и, опять повторив: — н-ну-с начнем-с! — начнет вызывать к доске.

— Начнем с лучших учеников-с! Зверев Иван Петрович, пожалуйте-с! молодой человек, к доске-с! Вы, наверно, уже закусили и покурили-с, так вот-с прошу вас, пройдитесь к доске!

Зверев — здоровый парнина, сидевший на задних партах — «в камчатке», — поднимается и мычит:

— Я, Николай Иванович, урока не знаю.

— Вот как-с, гм-м! «Не знаю!» Да не может этого быть, вы да не знаете! Удивительно. Почему же вы, смею спросить, не знаете?

Зверев, насупившись, молчит.

— В таком случае не смею настаивать и попрошу вас сесть. Садитесь. Пригласим теперь другого еще более достойного. Гм-м! Гм-м! Подьячев, пожалуйста к доске-с!

Я с замирающим сердцем выхожу на середину класса к большой черной доске.

— Потрудитесь взять мел-с и пишите!

Я беру мел и под его диктовку черчу что-то на доске.

— Нну-с, — говорит он, — приступим к действию. Начинайте. Потрудитесь! Объясните, какую это вы картину нарисовали на доске? Гм-м! Прекрасный рисунок, н-н-но-о все-таки объясните его значение.

Я молчу и чувствую, что весь холодею и трясусь.

— Гм-м. Что же вы? — раздается откуда-то издалека его голос.

Я молчу.

— Не знаете? Гм-м... отлично. А когда же м-мы, смею спросить, будем знать, а? Зачем же вы-с в таком случае проживаете в училище, да еще на казенный счет, да еще сверх штата, а? Кто ваш родитель, смею-с спросить? Напрасно, напрасно вы здесь. Вам бы, знаете что... Хи, хи, хи! вам бы эдак с кнутиком, с кнутиком, с кнутиком! Ходить бы, знаете, с эдаким с длинным бы кнутиком и щелкать бы им эдак: щелк! щелк! щелк! Скотинку бы пасти, коровок, овечек, жеребчиков... Словом — пастухом быть... Щелк! щелк! щелк!

Я слышу, как позади меня на партах фыркают — смеются.

— Н-ну-с, — говорит он, — садитесь! Ставлю вам за ваши великолепные успехи высший балл-с — единицу! Довольны вы, а? Садитесь — и будем здоровы!

И так на каждом уроке! В конце концов он довел меня до того, что я, завидя его, идущего в класс, или даже только слыша его походку с легким поскрипываньем сапог, весь дрожал и готов был на все, только бы избавиться от него. А какая, помню, для меня была радость, когда он почему-либо не являлся на урок. Как гора, бывало, свалится с плеч, когда объявят, что он не придет!

Я, — да и не один я, как уже и говорил, — ненавидел его и не скрывал эту ненависть, которую он хорошо видел и понимал.

Однажды он посадил меня, как выразился: «за непостижимую лень и упрямство», в карцер, думая, очевидно, принести мне этим, так сказать, «наказание», но он принес не наказанье, а великую радость.

Посадил он меня на два дня «на хлеб, на воду».

Карцер — маленькая комнатушка, рядом с помещением сторожа, — редко когда пустовал. Сидели в карцере только днем, а на ночь выпускали. Кормили куском хлеба раз в день и на питье — кружка воды.

«Заведывал», как теперь говорят, карцером пожилой с подстриженными усами солдат, обращавшийся «с заключенными» самым добродушнейшим образом, то и дело говоривший свою какую-то странную поговорку: «качай вода — не мути!»

Помню, когда ему «сдали» меня, он, запирая за мной дверь карцера, с насмешкой сказал:

— Ну, качай вода — не мути, захочешь если кофию кушать — постучи.

А немного погодя сам постучал в дверь и крикнул:

— У попа было девять коров, у дьякона десята, — закуривай, ребята! Табачок-то, качай вода — не мути, есть ли?

— Я не курю.

— Мо-о-лодчина!

Пол в карцере во многих местах был прогрызен крысами, которых по всему училищу водилось великое множество. Веселый солдат-сторож ловил их, как рыбу, на удочку. Как производить ловлю, он научил и меня, превратив, таким образом, мое пребывание в карцере из места наказания в место охоты.

На конец нитки, тонкого шпагата, он прикреплял гитарную струну, а к струне — небольшой обыкновенный рыбный крючок и, надев на этот крючок хлебный шарик, клал его около прогрызенной в полу дыры крысиного «лаза» и ждал «клева».

Помню, как мы оба с ним, притаившись, задерживая дыхание, сидели на корточках в углу около двери и ждали клева. Около нас на полу лежала коротенькая железная кочерга с той целью, чтобы когда крыса попадет на крючок, добить ее этой кочергой.

Сидим, глядим... Сторож шепотком ругает за то, что долго не вылезают. Но вот, наконец, из дыры показывается мордочка, поводит усиками, обнюхивает хлебный шарик и, схватив его, тащит за собой в дыру под пол.

— Та-а-щи! — каким-то страшным шопотом говорит сторож.

Я дергаю нитку, под полом раздается писк.

— Пы-ы-мал! Что, качай вода—не мути, попала, сволочь!—радостно восклицает сторож. — Тащи ее, дьявола!

Упирающуюся всеми четырьмя лапками, растопырившуюся крысу вытаскиваем наружу.

— Держи, не пускай! Подтаскивай к себе! К себе тащи! А я ее кочережкой! А-а-а, качай вода — не мути, попалась! Врешь, не уйдешь! На-ко вот тебе... Нн-а! Нн-а!

И, как-то по-особенному перекосив на сторону рот, бьет крысу кочергой.

Сам заведывающий училищем «инспектор» был какой-то полоумный. Воспитанники прозвали его «Лягавым» за то, что он, или по привычке или, может быть, по болезни, и на-ходу и даже сидя дрыгал то одной, то другой ногой, тряс головой, подставлял пальцы рук ко рту и дул на них.

Бежит, бывало, через зал в класс, а сам то левой ногой начнет лягаться, то правой.

А учитель географии и рисования «Телка» с выпученными глазами, ходивший как-то по-особенному с подскоком, «пятки вместе — носки врозь», представлял из себя бессловесное существо, на которое воспитанники не обращали внимания.

Грубость и сквернословие во всех классах, как я уже и упоминал, стояли на первом плане. Чем гаже ругался, тем лучше. Больше почету.

Особенно хорошо я помню одного воспитанника из четвертого (последнего) класса, который превзошел руганью всех.

Парень этот (у него была какая-то польская фамилия) здоровенный, толстошеий, толстомордый, рябой, каждую субботу скобливший в каморке у сторожа тупой бритвой свое рыло, походя дравшийся (особенно любивший измываться над первоклассниками), наводил на меня прямо-таки какой-то ужас.

По ночам в спальне (койка его стояла неподалеку от моей) во время сна он имел привычку как-то особенно страшно-жутко скрипеть зубами и бредить, ругаясь матерно.

Помню, бывало, ночью проснешься и слышишь этот то на минуту затихающий скрип, то снова еще с большей силой повторяющийся.

Завернешься в одеяло с головой, ткнешься вниз ничком, но и закрывшись слышишь скрип и чувствуешь, как все твое существо охватывает какой-то особенный страх.

Не один раз воспитанник этот колотил меня — так, здорово живешь, ни за что. Попадешься ему где-нибудь нечаянно, — схватит тебя левой

рукой за волоса, а правой начнет «ковырять масло» или же просто оттаскает, даст хорошего «раза» сзади, выругается и отпустит.

В конце концов, чем дольше я жил в училище, привыкал к порядкам, тем все больше и больше злобился, тосковал и мечтал о доме.

Учился я вообще неважно, а по арифметике и вовсе плохо. «Поведением» тоже не отличался. Чувствовал я себя хорошо только на работе в мастерской.

Сначала работал, немного впрочем, в столярной наверху, а потом переведен был вниз в слесарную. Здесь поставили меня к тискам, выдали зубило, молоток, и начал я учиться рубить зубилом, что на первых порах было не так-то просто. Дело в том, что во время рубки, держа в левой руке зубило, а в правой молоток, надо глядеть не на тот конец зубила, по которому бьешь молотком, а на тот, который рубит. Сначала без привычки частенько ударяешь молотком не по концу зажатого в кулаке зубила, а по моталыжке большого пальца. Но работа эта — да и вообще вся мастерская с ее шумом, запахом масла, закоптелыми стенами, — нравилась мне, и здесь за работой я чувствовал себя хорошо.

В училище была и библиотека. Книги выдавались раз в две недели, по субботам. Книги я охотно брал и читал их запоем во всякое свободное время. Читал зряшно, что попало, без всякой, так сказать, системы. Помню, прочел я «Три мушкетера», «Двадцать лет спустя», «Королева Марго». С удовольствием читал Жюль Верна. Но больше всего я любил читать книги наших русских авторов. Глубокое, например, впечатление, помню, произвела на меня книга некоего Зарубина под заглавием «Светлые и темные стороны русской жизни».

К концу зимы я очень сошелся и подружился с двумя воспитанниками из нашего же класса. Один из них был плотный, лобастый парнишка по прозвищу «Бычок», а другой — худенький, тоненький, большеглазый, задумчивый, по прозвищу «Спичка».

«Спичка» был слабосильный, беззащитный, всех и каждого боявшийся, и сразу было видно, что не здесь бы, не среди озорной ругающейся толпы быть ему, а где-нибудь в другом месте, где бы его берегли и обращались бы с ним по-иному — кротко и нежно.

На верхнем этаже, под самым чердаком, где кончались лестница и ход наверх, было низкое полукруглое, с широким выступом-подоконником, окно.

Сюда мы трое приходили, спасаясь от озорства, и здесь, усевшись на подоконнике, тихонько беседовали. А беседовать было о чем. Задумчивый, худенький «Спичка», любивший читать Майн-Рида, Густава Эмара, Купера и тому подобных авторов, как-то раз, по своему обыкновению, тихо и как-то задумчиво-задушевно сказал:

— А я хочу убежать из училища.

— Куда? — разом спросили мы.

— Пройдет лед на Шексне, скоро уж теперь, — устремив глаза в окно, в которое видны были синеющие дали, говорил он, — тепло будет....

сяду в лодку, украду ее на берегу и поеду вниз, сперва по Шексне, а потом по Волге... вниз все, вниз, вниз! А там на Кавказ проберусь, там и останусь, там и буду жить в горах... Хо-о-рошо!

— А жрать что? — спросил «Бычок».

— Найду что. Там плодов много. Яблоки, виноград. Ружье бы хорошо украсть у кого-нибудь, кабанов бы стал стрелять, птиц.

И помолчав, шопотом добавил:

— Вы молчите... Секрет это, а уж я стал сухари копить. Поеду когда на лодке, ими буду питаться... Топор в кухне украду... топор нужен пуще всего.

— А зима придет, замерзнешь! — опять сказал «Бычок».

— Там и зимы-то нет. Там тепло, а холодно будет — я землянку выкопаю, сухих листьев в нее натаскаю, вот и тепло будет. Как только, — повторил он, — пройдет Шексна, уеду на лодке!

Между тем зима проходила. Дни становились длиннее. Я, вместе с «Бычком» слушая «Спичку», все больше и больше увлекавшегося своим проектом бегства на Кавказ, тоже с своей стороны как-то затосковал и мечтал о другой свободной жизни вне стен этого опротивевшего училища.

В конце апреля прошел на Шексне лед, и она широко, только глазом окинуть, разлилась по левой низменной стороне. Установилась хорошая, теплая погода. Воспитанники свободное время стали проводить больше на воле в саду перед училищем.

Здесь играли в городки, или, как там принято было называть, «в рюхи», и кружились на «гигантских шагах». Иногда тихими вечерами, при кротко догоравшей заре, группа воспитанников с хорошо подобранными голосами хором пела песни. Пение это далеко разносилось вокруг, и случалось, что издалека, с той стороны Шексны, вторил хору чей-то другой хор, и голоса нашего хора и дальнего, слившись вместе, то грустные, то весело бодрящие, наполняли тихий жадно слушавший их вместе с румяной зарею вечер.

В такие вечера, слушая где-нибудь в сторонке пение, тоска особенно люто сжимала мое сердце, выжимая из глаз слезы.

А тут случилось и усугубило еще сильнее тоску большое горе. Умер «Спичка». Умер не от болезни, а неожиданно сразу — жестоко и дико. Дело было вечером. Несколько человек воспитанников и в числе их «Спичка» качались на «гигантских шагах». Было шумно и весело. Вдруг столб, кругом которого бегали играющие, накренился, упал и сразу насмерть убил «Спичку», ударив его по голове.

Кончились мечты о поездке на лодке и житье на Кавказе!!.

Подошло время экзаменов, к которым воспитанники — особенно старших классов — усиленно готовились — зубрили. Я, как и следовало ожидать, провалился по арифметике, и мне по этому предмету назначена была осенью переэкзаменовка.

После экзаменов большинство воспитанников разъехалось на лето до конца августа по домам, кто куда. Остались «горюны», к числу которых

принадлежали я и «Бычок». Летом было много свободы, и на нас, оставшихся, совсем мало обращалось внимания со стороны начальства. Нередко мы с «Бычком», украв лодку, переправлялись на ней на ту сторону Шексны, где и пропадали по целым дням.

Лето прошло. К переэкзаменовке я не готовился, и когда она настала, я опять торжественно провалился, и меня по решению школьного совета «за непостижимую леность» из училища исключили.

Поехал я домой поздней осенью, когда уже начались заморозки и пароходы делали последние рейсы. Ночью на пароходе (находился я на палубе) у меня до того озябли ноги, что я, грея их у котла, сжег сапожонки.

Из Рыбинска попал в Ярославль и оттуда по железной дороге «прибыл» в Москву. Здесь я очутился без копейки денег, измученный и физически и нравственно.

Домой, верст за семьдесят, надо было итти пешком, и вот помню, когда я вышел перед вечером за Бутырскую заставу, навстречу мне с низко бегущих туч спускалась какая-то тоскливая серая пронизывающая муть.

. . . .

Так закончилось мое «ученье», и уже больше ни в каких училищах быть мне не пришлось. Образование школьное закончилось...

(Продолжение следует.)

Гражданская панихида.

Командир Знамов!

Честь и покой тебе!

Когда полыхают поющие печи
И жизнь уходит с ребятами из школы, —
Сторож поленья колет,
Жить становится нечем.
Тогда в гололёдной злобе
Крутится ветер марта,
Вращается дряхлый глобус,
Ложатся учебные карты. —
Народы льются с Памира,
Бронзу ищет Эллада.
Бородатые воины Кира
Львиные луки ладят.
Львиные стрелы ладят они:
Мир и война, мир и война,
Мир и война все далее.
Цезарь на мрачных плечах солдатни
Проносит орлов по Галлии.
Шаг этот, волчий шаг веков,
От Ромула неутолимый.
Вой этот, вой нормандских полков
Под стенами Иерусалима.
Над Иерусалимом крест и луна.
Мир и война, мор и война,
Мрак и война и паника: —
Франция — война! Англия — война!
Война — Испания!
Память встает как смерчь! —
Палуба или смерть!
Палуба сухо стучит под ногами,
В компасе бродит слепая игла

Огибает Африку Васко-де-Гама,
Огибает Америку Магеллан.
Пассаты гладят груди парусов,
Муссоны приносят бессмертные бриги —
Туда, где пылает созвездье Волхвов:
Бетельгейзе, Беллàтрикс и Ригель..
Где, пенясь разлетом седых усов,
Везет океан бескорыстные лавры
Для всех, кто увидел созвездья Псов,
Гидры, Кита и Центавра.
И грохоча и зовя умереть
Бьет над калужской землей окаянной
Синее марево-море морей,
Тихий, великий отец океанов.
Полночь. Мороз. Тараканы. Тепло.
Льются арийцы из горла Памира,
Волны качают дикарский плот.
Сторож во сне: «Спаси и помилуй!»
Где справедливость? Где право на жизнь?
— Жизнь отложи и судьбу отложи!
Это ли жизнь в тараканьем изморе,
В книжном шуршаньи далекого моря?!

Так завелась червоточина —
И первая часть кончена.

Гром! Сельского учителя Знамова —
Снаряд! — села Великое Лыськово —
Гром! — сумасшедшее русское знамя —
Снаряд! — на правёж, на расправу вызвало.
Развернуло его и пошло канителиться
С турком, австрийцем, венгерцем, немцем.
Сыпало без просыпу снарядной метелицей —
Солью, перцем, собачьим сердцем.
Окоп — лазарет. Окоп — лазарет.
Кружились лафетными спицами.
Окоп — лазарет. Окоп — лазарет —
Варшава. Рига, Галиция!
Чтобы вопить из воронки большой:
— Только бы пронесло бы!
Чтобы поднялась солдатской вшой
Над миром окопная злоба.
Чтобы ни эллинов, ни морей,
Читанных, думанных, моленных, —
Чтобы кормить броневик у дверей
Серобагрового Смольного.

Иной океан заходил грохоча —
Так кончается вторая часть.

От Ленинграда до Нахичевани
Смерть просвистела уши.
Вдоль по республике шли кочевать
Красные орды теплушек.
Салют!
Салют нашим мертвым, могильным отрядам;
Товарищам, павшим под Ленинградом,
Товарищам, легшим на волжские шири,
Товарищам, в черной тайге Сибири,
Товарищам, в сизой кубанской полыни,
Товарищам, в желтых полях Волыни!
Теперь положите вторые патроны —
Салют! — для погибших на южном фронте!
Командир Знамов!
Честь и покой тебе...
Речь:
Он верил как верил и мог как мог,
И в десять походов, сутулый и длинный,
На хилых подметках казенных сапог
Прошел географию русской равнины.
У лагерных щей, на промерзшей траве
Мы речь командирскую слушать привыкли,
И Ленин мешался в его голове
С великим Колумбом и мудрым Периклом.
Партиец? — Не знаю. Но с пеной у рта
Он разагитировал бездну народа,
Учил математике встречных атак
И древнему делу ночных переходов.
— Мы шли, шли, шли
Через море к Сивашам.
Мы пели, пели, пели
Песенку о малышах:
— «За тебя, беднота, за твоих малышей,
За твои разоренные хаты
Я по свету пущу миллионы огней,
Я сожгу все дворцы и палаты!» —
И выпала полночь в кромешную копоть,
И родина сузилась Перекопом.
Ночь, отодвинувшись, вполоборота,
Пускала во тьму молчаливые роты.
Ветер свистел на штыке и затворе,
Приветствуя иодистым запахом моря,

И в шопоте сотен: — «Молчите, молчите!!»
Вел черную роту безумный учитель.
Тогда началось! Посинели виски,
Шрапнели взлетели как рыжие птицы,
И полк за полком, наклоняя штыки,
Ушли в преисподню Чонгарских позиций.
Крым умирал.
Полыхало: «Ура»!
Пулеметная коса
Резала наповал.
Невидимые голоса
Запевали
«Интернационал».
— «Так вот оно море, — соленая жуть!» —
И пуля вошла в командирскую грудь.
Но тысячи звезд, по откосам седым
Взошли на фуражках в распахнутый Крым.

Утро, откройся! Волна, погоди!
Где же наш славный, смешной командир?!
Лежит командир по пояс в воде,
И смерть его холодом хочет одеть,
И смерть его хочет почетно закрыть
Красным знаменем зимней зари.
Но чтобы радостно умер ротный наш —
Пламенем вспыхнул гнилой Сиваш;
Стал океанским, серебряным телом,
Чтобы веселая чайка летела,
И далеко — на границе мира —
Парус ударил в глаза командира.
Так грохоча и зовя умереть,
Двинулось марево-море морей,
А по нему — армада вселенной
К юному солнцу, дорогой пенной!

И зорко глядел командир наш
На Мертвое море, гнилой Сиваш.

Владимир Луговской.

Из книги «Лукавая луна».

1.

У каждого есть маленькая тайна —
В походке, в голосе, в разрезе глаз...
Не потому ли, встретившись случайно,
Невольно мы волнуемся подчас?

Так жадно в первый миг до складки платья
Мгновенный все охватывает взгляд,
И, словно молния, рукопожатье
Пронизывает с головы до пят.

Потом, обнюхавшись, как зверь со зверем,
Мы изредка обходимся без лжи
И в страстный миг до полноты не верим,
Какую правду сердца ни скажи.

Не потому ль, себя оберегая,
Ты с каждым днем становишься немей,
За вымысл принимая, дорогая,
Невероятие души моей?

2.

Любви откровенные речи
Для всех нас ехидну таят
Мешая разлуку со встречей
С отрадой отраву и яд.

Загадки ее — без отгадки,
Невидимы пропасть и свих..
С того мы в конце так и гадки
В возвышенных чувствах своих.

Кому суждено без печали
И не искажая лица
Занятную сказку в начале
С улыбкой дочесть до конца?..

3.

Как прежде все в знакомом перелеске
Прозрачны синь и тишина...
Висят меж сучьев звезды, как подвески,
И как на ниточке луна.

И то ль во сне скрипят вдали обозы,
То ль в памяти родимых мест,
Но непохожи старые березы
На пышный хоровод невест.

В лесу не раз слиняли шкурки куньи,
Не раз сменилася листва,
И эта ночь с кочечком новолунья
Уж не напомнит сватовства.

4.

Лежит заря, как опоясок,
И эту речку, лес и тишь
С их расточительностью красок
Ни с чем на свете не сравнишь...

Нельзя сказать об них словами,
И нету человечьих слов —
Про чащуру с тетеревами,
Про синеву со стаей сов!

Поднявшись разве спозаранья,
Их можно видеть и любить
И хоть себе очарованья
Силком словесным не губить...

Так хорошо уйти к овинам
И лечь в солому подремать,
И в легком сне увидеть мать
В беседе с непутевым сыном.

5.

Уставши от дневных хлопот,
Как хорошо полой рубашки
Смахнуть трудолюбивый пот,
Подвинуться поближе к чашке!..

... жевать с серьезностью кусок,
Тянуть большою ложкой тюрю,
Спокойно слушая басок
Сбирающейся на ночь бури...

Как хорошо, когда в семье,
Где сын — жених, а дочь — невеста,
Уж нехватает на скамье
Под старою божницей места...

... тогда, избыв судьбу, как все,
Не в диво встретить смерть под вечер,
Как жницу в молодом овсе
С серпом, закинутым на плечи...

Сергей Клычков.

Вопросы международной жизни.

М. Некрич.

«Ватиканский узник» на свободе. — «Папа и палач — два краеугольных камня общества». — Разоблачения англо-франко-бельгийской военной комбинации. — По «испытанным» путям. — «Демократические» министры на задворках. — О «полюбовных» соглашениях между британским адмиралтейством и Соединенными штатами. — Германия под гнетом. — Истинные мотивы французских требований. — «Если дело дойдет до новой войны, Франция исчезнет с карты Европы». — Германская буржуазия в поисках «спасительных» идей.

I.

При чтении сообщений о состоявшемся примирении между итальянским государством и папством в памяти встает далекая картина детства — местечковый костел Западной России, где бедного крестьянина, приехавшего из своего села на базар, встречает дородный ксендз со своим обычным «не забудь о святейшем отце в плену». Забитый мужичонка вытаскивает из тощей мошны свою лепту — грош Петра — для «бедного узника, спящего на соломенном мешке». Вокруг этой легенды о «бедном узнике в Ватикане» католическая церковь когда-то развила грандиозную пропаганду, собирая многомиллионную дань с католиков всего мира. Эта комедия с «вавилонским пленением» теперь кончилась. 11 февраля в знаменитом латеранском соборе, где в продолжение веков ковались цепи для свободной мысли, Муссолини и папский уполномоченный, кардинал Гаспари, подписали ряд документов, которыми положен конец войне, продолжавшейся с начала 1870 г. — с того момента, как пьемонтские войска, под командой генерала Кадорна, заняли Рим. Соглашение состоит из двух частей: 1) политического договора, которым предусматривается восстановление дипломатических сношений между итальянским правительством и папской курией. В этом договоре подробно перечисляются здания и улицы, входящие в пределы нового «Ватиканского государства», и устанавливаются суверенные права папы-короля. Дополнением к этому договору является финансовое соглашение, по которому Ватикан получает в возмещение убытков от потери бывшей Папской области сумму в 750 млн. лир и государственные облигации на номинальную сумму в 1 млрд. лир, дающие ежегодный доход в 50 млн. Но главной и основной частью соглашения является 2-я часть ее — конкордат, которым фиксируются права католической церкви в итальянском государстве. Церкви возвращаются в общем все права, потерянные ею в XIX веке в эпоху «либерализма». Церковный брак вновь приобретает все права гражданства, и брачные отношения между супругами делаются предметом регулирования церковных властей. Далее закон божий вводится в школах как обязательный предмет преподавания, причем программа вырабаты-

вается церковной властью. Рядом пунктов конкордата религиозным обществам и конгрегациям предоставляются права юридического лица со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чрезвычайно характерным для того духа, которым проникнуто соглашение, является пункт, в котором говорится, что государство берет под свою защиту католические организации, имеющие целью «распространение и осуществление принципов католицизма».

Достаточно приведенного, чтобы отдать себе ясный отчет, каким крупным успехом для католической церкви является соглашение от 11 февраля. Фашисты сдают все позиции, отвоеванные светской властью в ее упорной вековой борьбе. При чтении конкордата получается впечатление, что Италия повернула вспять на полтора века. Римский папа действительно имеет полное основание праздновать победу и иронизировать над политической близорукостью тех прелатов, которые считают чуть ли не изменой окончательный отказ от требования вернуть папскую область. В речи, произнесенной перед профессорами и студентами миланского католического университета, Пий XI заявил: «Договор этот не требует ни извинения, ни объяснений. Достаточным оправданием для него является заключение конкордата, которое было поставлено нами предварительным условием к заключению политического договора». Желая еще сильнее подчеркнуть смысл победы церковной власти, папа заявил, что «для успешного завершения переговоров нам нужен был этот человек (Муссолини), посланный нам самим провидением». Эта речь произвела в Италии сильнейшее впечатление и комментировалась европейской печатью, как доказательство прочности дружественных отношений, установившихся между папством и фашизмом. Римский корреспондент «Франкфуртер Цейтунг», передавая впечатления и настроения международных кругов итальянской столицы, в номере от 16 февраля писал, что «между Ватиканом и фашизмом создался единый фронт не только против франк-масонов, но и против разрушительных сил». «Ватикан и фашизм, — заключает он, — объединились теперь на жизнь и смерть».

В срочной необходимости найти подкрепление против «разрушительных сил» и следует искать объяснение той капитуляции перед католической церковью, на которую пошло фашистское государство. Несмотря на все свои «победы», фашистская диктатура чувствует себя с каждым днем все менее и менее уверенной. Несколько цифр покажут, в какой глубокой трясине завяз итальянский государственный воз. По последним данным, государственный бюджет сведен с дефицитом почти в два миллиарда лир. По всем видимостям, дефицит за первое полугодие превысит в этом году дефицит за весь 1928 г. Несмотря на все «патриотические» призывы к населению и поощрительные меры, экспорт непрерывно падает. Так, за первые девять месяцев 1927 г. ввоз превысил вывоз на 4 278 млн. лир. В 1928 г. за тот же период времени сумма экспорта ниже ввоза на 5 749 млн. лир. Характерным для упадка хозяйства Италии является тот факт, что Италия все больше ввозит предметы продовольствия вместо сырья и полуфабрикатов. Всеобщее обеднение приводит к сильнейшему сокращению внутреннего рынка. Число безработных, по официальным данным, выражается в $^1/_2$ млн. чел., но в действительности оно превышает эту цифру, по крайней мере, в два раза. В промышленной жизни страны наблюдается значительный застой. Банкротство следует за банкротством; в то время как за весь 1927 г. официально зарегистрировано 944 случая банкротства, первые четыре месяца 1928 г. уже дали больше 1 000. Государству приходится постоянно принимать меры для поддержания крупных банков, крах которых мог бы вызвать полное

расстройство промышленной и торговой жизни. Сама казна в значительной мере пробавляется краткосрочными внутренними займами принудительного характера. Не имея возможности платить по этим займам, государство часто не выдает подписавшимся их облигаций или же, при помощи патриотического трюка (так называемый «регистр национальной благодарности») подневольного обывателя заставляет «добровольно» отказаться от своих облигаций, которые торжественно сжигаются на «алтаре отечества». Об условиях труда говорить не приходится. В прошлом году Муссолини преподнес итальянскому рабочему классу своеобразный подарок— декрет о введении 9-часового рабочего дня, фактически же 10—12-часовой рабочий день представляет собой обычное явление. Неудивительно, что, несмотря на кровавый террор фашизма, недовольство охватило все слои населения, не исключая даже некоторых кругов крупной буржуазии. Фашизм нуждается теперь в испытанном союзнике, который не выдаст. Таким союзником может быть только церковь. Нет никакого сомнения, что объединение фашизма с папством знаменует собой переход католической церкви в наступление. Момент в настоящее время весьма благоприятный. Буржуазия, которая когда-то хвастала своим неверием и молилась Вольтеру, теперь в страхе перед социальной революцией тесно объединилась с церковью. То, что происходит в Германии и Франции, достаточно знаменательно. Борьба за конфессиональную школу, которую ведет в Германии партия центра во главе с прелатом Каасом, показывает, что католическая церковь ставит перед собой далеко идущие планы. Весьма симптоматичной в этом отношении следует считать речь папского нунция Пачелли в Берлине, произнесенную несколько времени тому назад в большом зале филармонии. «Много сил, — сказал он, — ведут в настоящее время борьбу за молодежь, много лживых пророков проповедует теперь новое евангелие. В этой путанице мыслей твердо стоит церковь, как педагог человечества. Под руководством Пия XI церковь будет всеми силами вести борьбу за душу молодежи».

Наше время несколько напоминает период мрачной реакции, последовавшей в Европе в начале XIX века после наполеоновских войн. Реставрированные короли и помещики, страшась ежеминутно возвращения великой революционной волны, искали опору в церкви, создавая специальные теории, в которых доказывалась социальная необходимость церкви. Муссолини может вместе с католическим писателем начала XIX века, с Жозефом Де-Местром, сказать, что «папа и палач—два краеугольных камня, на которых зиждется общество».

Европейская печать усиленно занималась в последнее время вопросом, в какой мере папство окажется подходящим орудием в руках воинствующего итальянского империализма. Особенно велико беспокойство во Франции, где опасаются, что католические миссионерские общества на Ближнем Востоке, немало сделавшие для распространения влияния Франции, направят всю свою деятельность на пользу итальянского империализма, в ущерб интересам Франции. Вся французская печать, без различия направлений, предостерегает папу от возможных для него последствий, если он будет в своей политике сообразоваться только с интересами Италии. Католический публицист Морис Перно в резкой форме упрекает папу в том, что он вел с Муссолини переговоры по секрету от консистории, руководствуясь только своими чувствами итальянского патриота. Еще более определенно выражается радикальная «Эвр», которая пишет: «Папство будет казаться миру зависимым именно теперь, когда Италия признала его независимость. Поэтому Ватикан, чтобы

снять с себя подозрение, должен будет интернационализировать свою курию, которая сейчас наполнена прелатами итальянского происхождения. Придется покончить с традицией, что папа должен избираться исключительно из среды итальянских кардиналов». Газета предостерегает Пия XI «от опасности оказаться орудием фашистского империализма». В этих двух отзывах из бесчисленного количества откликов французской печати уже звучит старый галликанизм — борьба французских католиков против засилья итальянской секции черного интернационала. Нам думается, что опасения французской печати в значительной доле преувеличены и что в той же мере преувеличены ожидания Муссолини, что римская церковь завоюет ему Восток. Мы далеко ушли от тех времен, когда народы Европы поднимались на крестовый поход по призыву из Рима. Малейшая попытка Ватикана оказывать существенное содействие политике итальянского империализма вызовет бунт среди империалистов других католических стран. Они не остановятся перед тем, чтобы назначить себе собственного папу по образцу авиньонского. По этому поводу нелишне будет напомнить, что во время мировой войны в Германии носились с планом перевода папы из Италии на какой-нибудь остров, прилегающий к берегам Испании. Вождь партии центра Эрцбергер особенно развивал этот план обеспечения ватиканского нейтралитета во время войны.

II.

Совершенно исключительно по своей важности место в международных событиях последнего времени занимают разоблачения голландской газеты «Утретш Дагблад», опубликовавшей тексты военных конвенций, заключенных осенью в 1927 г между Францией и Бельгией при сотрудничестве Англии.

Опубликование, произведшее сильнейшее впечатление в Европе, бросает необычайно яркий свет на закулисные махинации генеральных штабов буржуазного мира и на методы работы Западно-европейских ведомств. Эти разоблачения показывают, что всемогущество и безответственность милитаристских кругов остались незатронутыми, несмотря на то, что Европа «демократизировалась» до последних пределов. Смехотворные опровержения заинтересованных правительств лишь подтвердили подлинность документов. Разоблачения голландской печати, доказывающие, как далек буржуазный мир от политической стабилизации, заслуживают самого серьезного внимания советской общественности. Действительно чем больше вчитываешься в эти два военных соглашения, чем больше вдумываешься в них, тем яснее становится, насколько мир близок к новому всеобщему побоищу, которое будет еще более грандиозным, чем последняя мировая война, ибо в грядущей войне главными противниками будут Соединенные штаты и Англия. Мы давно знаем, что Франция привязала к себе Бельгию крепкими цепями. Это произошло в тот день, когда Бельгии навязали два германских округа — Эйпен и Мальмеди. Этим Франция закрыла для Бельгии пути к примирению с Германией. Французские милитаристы действовали в этом отношении с полной сознательностью, ибо главной заботой Франции, после того как Америка отказалась присоединиться к Версальскому договору, было стремление прочно установить враждебные отношения между Германией и всеми ее соседями и, таким образом, сделать их своими естественными союзниками. Присоединение Эйпен—Мальмеди к Бельгии, Верхней Силезии и Данцигского коридора к Польше, установление своеобразных границ Чехо-Словакии —

все это результаты той же политики. Когда два года тому назад Бельгия, желая избавиться от опеки французского милитаризма и вернуть себе свободу действий, вступила в переговоры с Германией о возвращении ей двух злосчастных округов, совершенно ненужных Бельгии и показавших на парламентских выборах, что они остались немецкими и хотят снова вернуться в пределы Германии, французы вмешались в это дело самым бесцеремонным образом и наложили свое решительное вето. Бельгийскому правительству было заявлено, что Версальский договор гарантирован круговой порукой всех держав-победительниц и что возвращение Эйпен и Мальмеди было бы равносильно самовольной ревизии Версальского договора.

Желание Бельгии ликвидировать, в связи с этими переговорами, свои репарационные претензии к Германии были приняты как «измена общему делу». Тогдашний министр иностранных дел Вандервельде, с обычной храбростью социал-демократического лидера, в испуге отступил и... вскоре вышел в отставку. На сцену выступили бельгийские генералы, которые, действуя согласованно с французским генеральным штабом, добились совершенно обратного результата — еще более тесного военного сотрудничества с Францией и окончательного включения бельгийской оборонительной системы в фортификационный план Франции. Теперь мы узнали из разоблачений голландской газеты, что военное соглашение от 1920 г. *дополнено специальным разъяснительным протоколом, подписанным осенью 1927 г.* Бельгийцы, согласно этому протоколу, обязываются выступать на стороне Франции не только в случае войны с Германией, но и в случае военного столкновения со всякой другой страной. В статье первой протокола прямо говорится: «Кто бы ни оказался врагом, с которым придется бороться одной из обеих стран, союзник должен вмешаться». Далее с полной ясностью заявляется, что «вероятными» врагами Бельгии будут Германия и Голландия, а врагами Франции — Германия, Италия и Испания. В протоколе уже наперед устанавливается план провокационной кампании против Голландии. Определенно указывается, что поводом к войне между Бельгией и Голландией могут оказаться разногласия об урегулировании судоходства на Шельде. Об этих разногласиях многозначительно говорится, что «иные меры Голландии могли бы быть рассматриваемы как недружелюбный и, пожалуй, даже агрессивный, шаг». Наконец, мы, к величайшему изумлению, узнаем, что и Англия является участницей франко-бельгийской военной комбинации. В статье 1-й как бы вскользь упоминается, что «англо-бельгийское соглашение, заключенное 7 июля 1927 г., позволяет точно ограничить круг возможных врагов Бельгии». Добавим еще, что военные обозреватели иностранной печати после подробного изучения имеющихся в протоколе вариантов возможного наступления на Германию рисуют приблизительно следующую картину будущего вторжения в Германию по территории Голландии (через Лимбургскую провинцию): франко-бельгийская армия вступает в Рэрскую долину (не смешивать с Рурской.— *Н.*) между Аахеном и Кельном, в то время как англо-бельгийская армия проходит через голландскую территорию к германским городам Гейнсберг и Гейленкирхен; третья армия ударяет на Германию севернее, двигаясь через голландский город Веерт. Таким образом можно будет нанести непосредственный удар крупному германскому промышленному району, концентрирующемуся вокруг Крефельда и Мюнхен-Гладбаха. С полной несомненностью выясняется, что, желая получить наиболее удобный путь для вторжения в пределы Германии, Франция заключает

договор, которым заранее предусматривается нарушение нейтралитета Голландии, причем у союзников уже имеется готовый план провоцирования военных действий с Голландией. Здесь интересно подчеркнуть и другой момент — документ, подвергающий опасности все национальное существование Бельгийского государства, как будто достаточно важен для того, чтобы подвергнуться рассмотрению хотя бы на конфиденциальном заседании военной комиссии парламента. Между тем бельгийский парламент о нем ничего не знал: и не только парламент, — соглашение 1927 г. было неизвестно, как теперь оказывается, даже самому министру иностранных дел. Соглашение это, столь опасное для страны, заключено между генеральными штабами, и о нем, как полагают, знали только премьер, военный министр и король; от остальных ответственных министров бельгийской «демократии» его просто скрыли. (Этот случай с Вандервельде, кстати, показывает, какую жалкую роль играют «социалистические» министры в буржуазных правительствах.)

История этого военного соглашения почти с точностью повторяет историю вступления Англии в мировую войну. Об этом весьма уместно вспомнить сейчас — как раз на-днях английский король и французский президент обменялись приветственными телеграммами по случаю 25-летия сердечного согласия (Антанта), спровоцировавшего мировую войну. Английский парламент, как известно, оказался тогда перед совершившимся фактом. Стране было объяснено, что Англия должна заступиться за гарантированный ею бельгийский нейтралитет. Что произошло в действительности, мы узнали с полными подробностями из меморандума бывшего английского министра лорда Морлея, умершего два года тому назад. Морлей, вышедший в отставку в знак протеста против вступления Англии в войну на основании обязательств, которые не были известны даже членам кабинета, пишет в этом меморандуме: «До утра 3 августа вопрос о Бельгии играл второстепенную роль по сравнению с нашими спорами о том, как далеко идут наши обязательства по отношению к Франции. Грей (министр иностранных дел) все время подозрительно молчал и только раз как будто невзначай обмолвился, что «политика Германии напоминает политику большого европейского завоевателя вроде Наполеона». Только после долгих пререканий Грею было разрешено заявить французскому послу Камбону, что британский флот окажет полную защиту Франции». К меморандуму приложены некоторые письма по этому поводу другого крупного английского деятеля — лорда Лорберна. В письме от 1 ноября 1917 г. Лорберн говорит: «Этот меморандум написан человеком, который находился в святое святых правительства; он оставляет нам неопровержимое доказательство того, что вступление в войну вызвано нашими обязанностями по отношению к Франции и к Антанте и что, не будь этого, вопрос о Бельгии можно было бы урегулировать и без войны». В письме от 5 ноября того же года, которое является ответом на несохранившееся письмо Морлея, Лорберн пишет: «Для меня ясно, что в продолжение долгого времени вас, как и многих других, обманывали насчет наших действительных отношений с Францией. Ваше сообщение доказывает с полной несомненностью, что действительной причиной, приведшей нас к этой войне, было наше секретное соглашение с Францией, а не желание защищать нейтралитет Бельгии. Этот факт должен быть уроком для будущего, так как он показывает, куда заводит секретная дипломатия». Правильность утверждений Морлея подтверждается английским публицистом Спендером, который в те годы был глав-

ным редактором «Вестминстер-Газетт» (эта газета была тогда официозом премьера Асквита). Спендер пишет, что вплоть до 2 августа 1914 г. само бельгийское правительство ничем не выявляло своей точки зрения и не сообщало в Лондон, желает ли оно защищать свой нейтралитет с оружием в руках или же оно допустит проход германских войск. Противники войны в кабинете, — подчеркивает Спендер, — в эти дни неоднократно говорили, что для англичан было бы «безумием быть более бельгийцами, чем сами бельгийцы». Как видит читатель, в опубликованном утрехтской газетой документе проводятся все та же система подготовки войны и все те же гнуснейшие элементы провокации.

Разоблачения «Утретш Дагблад» произвели в Голландии ошеломляющее впечатление. Всеобщее негодование нашло свое наиболее яркое выражение в следующих строках «Ниэвэ Ротердамше Курант»: «Среди глубокого мира и во время действия устава Лиги наций мы вдруг являемся свидетелями военного договора, который представляет собой покушение на независимость Нидерландов. Мы здесь имеем дело с циничной бессовестностью и преступностью генеральных штабов. Дополнительное соглашение от 1927 г. с неопровержимой ясностью доказывает, какой великой опасности подвергаются страны, внешняя политика которых находится в руках генералов. Этот договор нам показывает, что в случае войны англо-бельгийские войска пройдут через Лимбургскую провинцию в трех пунктах. Теперь мы знаем, какую судьбу нам готовят. Голландию хотят заманить в западню; мы в буквальном смысле слова проданы и преданы».

Особенно велико было недовольство в Германии. Со столбцов газет неслись негодующие крики, смысл которых сводится к тому, что «пелена окончательно спала с глаз». Возмущение немцев, надо признать, производит несколько странное впечатление. Едва ли эти разоблачения представляют собой для Германии особую неожиданность. Ведь цветочки Локарно уже давно увяли, а ангелы мира давно улетели в небеса. Эти несколько лицемерные крики преследуют, несомненно, определенную цель: 1) воздействовать на американских банкиров, решающих теперь в Париже судьбу Германии, и показать им, насколько Германия заслуживает сочувствия, не в пример милитаристской Франции; 2) добиться окончательного дискредитирования Лиги наций, как гаранта международного мира, и в связи с этим добиться аннулирования запрещения Германии вооружаться. Само же «Локарно» давно умерло, если оно вообще когда-либо существовало в том представлении, которое немцы себе о нем строили. Несколько месяцев тому назад в связи с заявлением Чемберлена об его полном согласии с французской точкой зрения по вопросу о выводе союзных войск из Рейнской провинции известный французский специалист по вопросам внешней политики Пертинакс рассказал в «Эко де Пари» любопытную историю локарнских переговоров. Оказывается, что якобы обоюдная гарантия безопасности, которую Англия предоставила в Локарно Германии и Франции, в действительности является гарантией только для одной Франции. Франция, добившаяся в Версале осуществления всех своих желаний, не имеет оснований добиваться изменения настоящего положения вещей. Лелеять такую мечту может только Германия. Поэтому попытка насильственного изменения границ могла бы исходить только от нее. Пертинакс далее сообщает, что когда Чемберлен упрашивал Бриана согласиться на локарнскую комбинацию, тот настоял на внесении в локарнское соглашение пункта о будущем урегулировании вопроса о демилитаризации Рейна. В результате,—

поясняет Пертинакс, — Локарно является не чем иным, как тем перестраховочным договором, который английские правительства, предшествовавшие кабинету Болдуина, упорно отказывались заключить с Францией».

Казалось бы, что все эти разочарования должны были убедить германские руководящие круги в необходимости взять решительный курс на тесное сотрудничество с СССР. В самом же деле, Германия, несмотря на все получаемые ею щелчки и удары, упорно продолжает строить свою политику на безнадежной локарнской иллюзии. Штреземан, например, не решился поднять даже в рейхстаге вопрос об утрехтских разоблачениях, и дальше закулисных разговоров дело не пошло. Объясняется это, конечно, буржуазной природой германской государственности. Весь патриотизм, вся хваленая немецкая «любовь к отечеству» исчезает при мысли о тесном сотрудничестве со страной, решительно порвавшей с буржуазным строем и переведшей все свое государственное хозяйство на социалистические рельсы. Поэтому в Германии, наперекор стихиям, появляются такие статьи, как выступления «Дейче Бергверке Цейтунг», предлагающей победителям военный союз и создание всемирного антисоветского фронта. Исходя из этого факта, мы, поддерживая корректные отношения с Германией, должны постоянно помнить, что имеем дело с классовым врагом, готовым предать нас при первом удобном случае.

Факт присоединения Англии к франко-бельгийскому военному союзу заслуживает пристального внимания. Сомневаться в достоверности этого факта не приходится после того, как на запросы в палате общин представитель правительства ответил, что «правительству ничего неизвестно об официальных переговорах». Это опровержение тут же было всеми истолковано как подтверждение того, что переговоры действительно велись, но не официальными представителями британского правительства, а келейно, между генеральными штабами, в порядке, так сказать, дружеского собеседования. В чем же заинтересованность английских империалистов в этой франко-бельгийской военной комбинации? Каковы мотивы, которые толкнули их ко вступлению, в качестве третьего союзника, во франко-бельгийское содружество? Некоторую роль — и не маловажную — играет, конечно, желание Англии обладать постоянным орудием давления на своего германского конкурента и стремление вытолкнуть, наконец, Голландию из Индонезии, захватив ее богатые колонии. Но решающим мотивом этой политики, которая все глубже и глубже втягивает Англию в интересы чисто континентального характера, является грядущее вооруженное столкновение с Соединенными штатами. Британская политика последних лет вся проникнута мыслью о неизбежности войны с Соединенными штатами. Что бы ни говорили о полюбовном соглашении по спорным вопросам, о добровольных уступках Соединенным штатам, несомненно, что такого рода уступчивость — как, например, в основном вопросе о свободе на море — была бы равносильна полной капитуляции. Такие споры, которые разделяют Англию и Соединенные штаты, не разрешаются полюбовными соглашениями, особенно если одной из спорящих сторон является британское адмиралтейство, история которого знает мало уступок и дружественных соглашений. Англия готовится к войне с Соединенными штатами и хочет добиться поддержки Франции. Конечно, речь не идет об участии Франции в военных действиях против Америки. В Англии понимают, что Франция не пожертвует ни одним солдатом и ни одной подводной лодкой для войны с Соединенными штатами, с которыми у нее острого столкновения интересов нет. Но Англии необходимо обеспечить

себе дружественный нейтралитет Франции и возможность в случае войны с Соединенными штатами беспрепятственно получать с европейского материка продовольствие и военное снаряжение. Морская блокада со стороны Соединенных штатов быстро поставила бы Англию на колени, ибо эта страна не может обойтись больше 7 недель без привоза извне. Этими соображениями и объясняется, между прочим, благоприятное отношение английских политических кругов к вопросу о постройке туннеля под Ламаншем, о чем в Англии еще лет 15 тому назад и слышать не хотели. Да будет нам разрешено в качестве вывода из разоблачений «Утретш Дагблад» привести следующее извлечение из тоскливой «поздравительной» статьи «Манчестер Гардиан» к 10-летию перемирия: «Сегодня мир находится в худшем положении, чем до начала войны. Лига наций является пока только надеждой. Многие угнетенные народы оказались освобожденными, но мы не можем сказать, сделано ли больше добра, чем зла, ибо угнетенные стали сами угнетателями. Большие флоты носятся по воде, воздушные бомбометы реют под небесами, подводные лодки плавают под водой, ядовитые газы собраны в конуса, — все готово для другого, еще более убийственного — 1914 года».

Но как бы ни были велики взаимные противоречия империалистов между собою, мы не должны упускать из виду ни на один момент, что империалисты Англии и Соединенных штатов могут временно притти к какому-нибудь компромиссу — пусть гнилому и временному, — но достаточному для того, чтобы повернуться объединенными силами против той государственной системы, которая благодаря своим политическим и экономическим достижениям является постоянной смертельной угрозой для капиталистического строя.

III.

Внимание политических кругов Западной Европы продолжает сосредоточиваться на занятиях парижской конференции экспертов. Германская буржуазия, у которой за последние годы успели подрасти империалистические крылья, с нетерпением ждет эвакуации Рейнской области, чтобы «снова занять свое место под солнцем». В Германии окончательно разочаровались в ожиданиях, что время само-собой расшатает основы Версальского договора и что можно будет мало-по-малу разрывать одну цепь за другой. Эти ожидания не сбылись, наоборот, конкуренты Германии, победившие ее в мировой войне, все туже затягивают версальскую петлю. Поэтому в Германии пришли к сознанию, что цепи, наложенные в Версале, можно разорвать только силою. Там поняли, что, если Германия останется разоруженной, то она навеки останется данницей победителей. Первым шагом к этому должна быть эвакуация Рейнской области. Германская буржуазия ждет от парижской конференции окончательного фиксирования ее долга и установления сносного модуса платежей, чтобы иметь возможность сказать: «Теперь, когда уплата контрибуции обеспечена, верните рейнский залог».

Отказываются ли французы от выполнения этого требования? Нет. Они вполне готовы на этот шаг, но ставят два условия: 1) превращение германских контрибуций фактически в вечную ренту, обеспеченную всем достоянием германского государства, и 2) увековечение демилитаризации Западной Германии (не только одной Рейнскойо бласти). Какова должна быть та рента, которую союзники во главе с Францией хотят себе выторговать? После кру-

шения военного могущества Германии в конце 1918 г. победители были сами настолько ошеломлены грандиозностью своей победы, у них аппетиты настолько разгорелись, что они боялись просчитаться и отложили на более поздний срок окончательное фиксирование размеров контрибуции. Только после того как они лишили Германию всех средств обороны, они назвали головокружительную сумму в 132 млрд. марок (лондонский ультиматум мая 1921 г.), согласно принципу «le boche payera tout» (презренный немец все заплатит). В ожидании окончательного урегулирования (французы мечтали о том, чтобы такого урегулирования никогда не наступило, так как неопределенность положения больше всего благоприятствовала их планам) из Германии выжимали деньги и контрибуцию натурой. Брали все, на что только падал жадный глаз беспощадного победителя, — уголь, железо, лес, готовые товары и, наконец, человеческий пот в виде труда инженерно-технического состава. Вот приблизительный подсчет того, что Германия уплатила до сих пор союзникам в деньгах и товарах всякой спецификации. Мы берем подсчеты вашингтонского института экономики, как наиболее объективные, так как французские и германские подсчеты, по понятным причинам, настолько разнятся друг от друга, что их совершенно нельзя использовать. Не считая отделенных от Германии областей и того, что внесено на основании протокола о перемирии, за $4^1/_2$ года до рурского вторжения (октябрь 1923 г.) Германия уплатила 25,8 млрд. марок (по подсчету самих немцев — 41,6 млрд., а по подсчетам репарационной комиссии — фактически французов — 7,94 млрд.). Во время оккупации Рура Германия внесла товарами и деньгами 6,55 млрд., за годы функционирования плана Дауэса,— включая сюда нынешний пятый год действия плана,— 8 млрд. В журнале «Stahl und Eisen» германский экономист доктор Рейхерт высчитывает, что ежегодная контрибуция в $2^1/_2$ млрд. марок — только формальная сумма, а что в действительности, если принимать в расчет проценты, которые Германия платит за добывание этих сумм, и проценты по нарастающей задолженности по всем статьям государственного хозяйства, то эта сумма повышается до 2 940 млрд. марок.

Сейчас, якобы при окончательном подведении счетов все — Франция, Англия, Италия, Бельгия, а за ними и «малые» победители с Балкан— представляют свои тщательно подсчитанные претензии, где уже, будьте уверены, ничего не пропущено. Общий принцип — заставить Германию заплатить за все горшки, сломанные во время войны. Счет по внешности довольно несложный: союзники хотят, чтобы Германия платила столько лет, сколько они обязались платить Америке, и ежегодно вносить сумму, равняющуюся общей цифре их ежегодного платежа Америке. Союзники считают, что если Германия будет платить в продолжение 64 лет по $2^1/_2$ млрд. в год, то это приблизительно покроет их обязательства Америке. Франция, впрочем, хочет еще получить кое-какой остаточек на бедность, т. е. на «восстановление разрушенных областей»... давным-давно восстановленных. Речь идет о том, чтобы «коллерциализировать» этот долг, т. е., окончательно зафиксировав цифру германских контрибуций, выпустить в соответственные сроки и в надлежащих размерах огромное количество облигаций, которые котировались бы на рынке, как всякая другая биржевая ценность; это освободило бы союзников от вечного страха, что Германия может перестать платить и потребовать пересмотра своих долгов, на что она имеет право как по Версальскому договору, так и по плану Дауэса.

Но этого недостаточно. Боясь, что хитрый немец сумеет как-нибудь справиться со своими платежами и что ему останется еще кое-что для

восстановления своих вооруженных сил, союзники — и в первую очередь Франция — хотят обеспечить навеки демилитаризацию Рейнского района, т. е. оставить за собою право в любой момент вторгнуться в незащищенную территорию Германии. Речь идет о полосе в 50 километров глубины на правом берегу Рейна, между швейцарской и голландской границей. Сюда входит территория в 56 тыс. квадратных километров с населением в $15^1/_2$ млн. (т. е. больше одной четверти территории и населения страны). Это как раз наиболее важные в промышленном отношении районы, где сосредоточена почти вся тяжелая промышленность страны. Это — Вестфалия, Пфальц, Рейнская провинция Пруссии, Баден, Гессен и часть Баварии. В этих областях Германия не имеет права возводить какие-либо укрепления и держать хотя бы самые незначительные войсковые части. Это положение по требованию французов должно быть увековечено. После окончательного вывода оккупационных войск в 1935 г. в Кельне или другом крупном центре Западной Германии должна начать функционировать «комиссия по улажению недоразумений», — как мягко выражается Бриан. Задача комиссии — следить за тем, чтобы правила демилитаризации нигде не нарушались. Германские военные эксперты считают, что в случае войны германские военные силы можно будет сосредоточить только на востоке, чуть ли не в районе Гамбурга. Когда говорят о демилитаризации германской территории, то обыкновенно забывают, что эта мера принята не только по отношению к западной Германии, непосредственно соприкасающейся с Францией и Бельгией, но что она касается и всей прибрежной полосы Северного и Немецкого морей. И там запрещается возводить какие-либо береговые укрепления в районе шириною в 50 километров. Береговые батареи остаются в том виде, в каком они были к 10 января 1920 г. после полного разоружения германских берегов. Внутри этой полосы разоружители приняли еще особые меры, чтобы оставить беззащитными крупные германские порты; от Гельголанда до Померании береговая полоса разоружена полностью, и там не разрешается ставить даже полевые орудия легкого типа.

Для того чтобы понять действительный смысл игры, которая ведется сейчас в Париже, следует постоянно помнить, что основной интерес Франции состоит не в желании получить как можно больше денег от Германии, а в стремлении сделать ее совершенно беззащитной в военном отношении и лишить ее всякой, хотя бы самой отдаленной, возможности когда-либо посчитаться с Францией силою оружия. Недавно бывший французский министр юстиции Кольра довольно откровенно высказался по этому поводу на страницах «Пти Журналь»: «Как кредиторы Германии, — писал он, — мы не должны стремиться к ее разорению, но как ее соседи мы боимся, что она, восстановив свое могущество, когда-нибудь снова предстанет перед нами как мощная вражеская сила. Если бы нас поставили перед выбором, то подавляющее большинство французов наверное предпочло бы потерять часть репараций, чем подвергнуться опасности нового вторжения».

«Ревю де Франс» недавно опубликовала тайный протокол нашумевшего в свое время свидания Макдональда и Эррио в Чеккерзе (резиденция английских премьеров под Лондоном). Это было летом 1924 г., после того как во Франции пришли к власти радикалы-социалисты, а в Англии — рабочая партия. Оба новоиспеченных премьера вели между собою переговоры об установлении мирных отношений с Германией в связи с ликвидацией рурской эпопеи и о подготовке пресловутого женевского протокола, долженствовавшего заменить Франции ту военную гарантию, которую Англия отказалась ей дать после Версальского мира. Наиболее инте-

ресным извлечением из этого протокола является заявление радикал-социалистического премьера Франции Эдуарда Эррио. «Так как мы говорим среди друзей, — заявил он, — то я считаю себя обязанным откровенно изложить положение Франции. Я убежден, что урегулирования финансовых вопросов мы так или иначе добьемся... Нужно иметь смелость отдать себе отчет в том, что репарационная проблема представляет собой не только финансовую проблему, но что она по вине Германии превратилась также в политическую и военную проблему. Из сведений, полученных мною от генерала Нолле — убежденного демократа и искреннего пацифиста, — определенно явствует, что Германия в настоящее время создает совершенно новый вид сухопутной армии. Генерал Нолле твердо убежден в том, что с теми 100 000 солдат, которые Версальский договор оставил Германии, она в состоянии повторить то, что Пруссии удалось после ее разоружения Наполеоном I... Я считаю нужным уже сейчас самым определенным образом подчеркнуть, что Франция скорее откажется от получения долга, чем от обеспечения своей безопасности, ибо, если дело дойдет до новой войны, Франция, несомненно, исчезнет с карты Европы». С тех пор прошло пять лет, но в положении ничего не изменилось. Наоборот, страхи Франции еще увеличились, ибо за эти годы Германия восстановила свою экономическую мощь и, следовательно, свои потенциальные военные возможности.

Таков путь, по которому повели Германию ее социал-демократические и демократические вожди в 1919 г. Но если им удалось заключить мир, который во внешнеполитическом отношении является не больше чем временной передышкой, то с «внутренним» врагом им справиться не удалось. Им удалось лишь временно отбить штурм на буржуазные твердыни—и только. Неслыханно тяжелые контрибуции выжимают все соки из крестьянства и рабочего класса. Средние классы, которые когда-то составляли самую крепкую опору буржуазного строя, потеряли свою моральную устойчивость. Буржуазная идеология находится в поисках «спасительных» идей и с завистью, — как это недавно сделал известный публицист Ганс Церер в «Фоссише Цейтунг», — констатирует, что Москва владеет этими увлекательными лозунгами. В декабре прошлого года в признанном органе германской интеллигенции, «Франкфуртер Цейтунг», была напечатана обратившая на себя всеобщее внимание статья, в которой прямо говорилось, что в массах что-то бурлит, что в народную толщу проникает какое-то тревожное чувство отчаяния, могущее привести к неожиданным взрывам. Редакция немецкой газеты на это ответила трафаретным призывом к терпению. Статьи органа германской тяжелой индустрии «Дейтше Альгемейне Цейтунг» с призывами к союзникам облегчить положение Германии под страхом «разбудить сонного льва» объясняются не только желанием запугать буржуазию соседних стран. Эти призывы в значительной мере являются отражением подлинного страха перед неизвестным будущим.

С отчетом правительства СССР.

Бор. Волин.

17 декабря, понедельник.

Срочный пакет из Президиума ВЦИК, — постановление Президиума:

> *Для участия в перевыборах сельских советов, волостных и районных съездов советов командировать в январе и первой половине февраля 1929 г. следующих ответственных товарищей:*
> *Волина, Б. М. — Владимирская губерния...*

и мандат за подписью М. И. Калинина и секретаря ВЦИК А. Киселева.

Одновременно полная «избирательная» литература: справочники, сборники, инструкция по перевыборам и т. д. И приглашение на вторник 18 декабря к 7 часам вечера в Президиум ВЦИК на совещание.

18 декабря, вторник.

Зал заседаний Президиума ВЦИК. Народ подбирается. Тут и т. Семашко, и т. Буденый, и т. Баранов (Главвоздухфлот), и т. Немцев (секретарь Общества старых большевиков), и т. Полюдов (коллегия НКПС) и многие другие. Всего — человек 30, намеченных в разные губернии РСФСР для участия в перевыборах советов.

Секретарь ВЦИКа т. Киселев открывает совещание. Кратко останавливается на задачах избирательной кампании вообще и задачах уполномоченных ВЦИКа в особенности. Надо помочь губерниям. Надо избежать прошлогодних ошибок. Надо помочь исправить ошибки, которые и нынче сделаны. Придется сделать в деревнях и волостях, а также и в городах доклады от имени правительства. Затем выяснить состав избирательных комиссий соответственно требованиям закона. Не было ли перегибов в ту или другую сторону при лишении избирательных прав. А затем попутно вообще прощупать аппарат советский. Вопросы хлебоснабжения, хлебозаготовок, сельхозналога, самообложения, применения революционной законности и т. д.

Выступления товарищей не очень многочисленны и длинные. Каждый в общем представляет себе свою задачу, которая по существу сводится к тому, чтобы помочь местным товарищам и сделать ряд докладов перед крестьянством и рабочими о работе правительства. Сомнения, конечно, будут вырешены на местах. Я лично высказываю радость по поводу предстоящей поездки, благодарность за командировку, причем, шутя, сомневаюсь, будет ли только довольно правительство нами.

Уславливаемся зайти еще в информотдел ВЦИКа для получения конкретных материалов по интересующей каждого губернии.

31 декабря, понедельник.

Был в информотделе ВЦИК. Надо признаться, материалов получил мало, по существу они мне ничего не дали. Товарищи (заведующий и референт по Владимирской губернии) обратили мое внимание на то, что середняк оказался оттертым. Избирательные сельские комиссии, видимо, сильно засорены антисоветским элементом. В прошлом году были какие-то нелады с учетом избирательной активности населения, давшим по Владимирской губернии слишком высокий процент.

4 января, пятница.

Был в информотделе ЦК партии. Долго толковал с т. Богомоловым. Он по своей работе хорошо знает Владимирскую губернию. Дополняю сведения, полученные во ВЦИКе.

Владимирская губерния по социально-экономическому составу населения очень пестра: там есть крупный пролетариат, но имеются и чисто крестьянские районы, часто малоземельные с отходниками, кустарями, беднотой. Придется обратить внимание на рост партийной организации, на работу с рабочими, живущими в деревне и работающими на близлежащих фабриках (ведется ли работа?), на выяснение беспартийного актива как рабочего, так и крестьянского (будущие члены губисполкома и ВЦИКа). Владимирская губерния вообще отличается сильной культурной отсталостью. Там среди пролетариата до 30% безграмотных.

6 января, воскресенье.

NB. С вечерним поездом — во Владимир!

* * *

Я провел во Владимирской губернии всего 6 недель.

Моя работа заключалась в непосредственном выполнении задания Президиума Всероссийского центрального исполнительного комитета: сделать отчеты правительства Советского Союза перед рабоче-крестьянскими массами, выяснить ход избирательной кампании на местах, помочь товарищам в их работе и, где нужно, исправить ошибки. В ходе моей работы мне пришлось не только выполнять эти задания, но и почти во всех местах, где я выступал с отчетами правительства, я особо выступал на партийных активах или пленумах уездных комитетов партии и принимал ряд заявлений граждан, в большинстве не связанных непосредственно с ходом избирательной кампании.

В общем мои наблюдения за 6 недель, проведенных мною во Владимирской губернии, сводятся к следующему: как советские, так и партийные организации в центре и на местах, несомненно, поняли глубочайшее политическое значение избирательной кампании, которая сводилась не только к достижению известных положительных результатов, связанных непосредственно с перевыборами советов, но и к развертыванию перед рабочими и крестьянскими массами важнейших вопросов политического положения Советского Союза, его хозяйственной жизни и государственного строительства.

В самом начале организации избирательной кампании отмечается ряд дефектов, которые, пожалуй, были свойственны, судя по всему, и прошлым выборам.

Ряд фактов, имевших место во всех уездах Владимирской губернии, говорит о том, что и в образовании избирательных комиссий, особенно сельских, и в составлении списков избирателей и лишенцев были допу-

щены ошибки и неправильности. Избирательные комиссии иногда составлялись несоответственно закону, в них входили элементы, явно недоброкачественные, и возглавляли их иногда лица, которые потом оказывались лишенными избирательных прав. При составлении списков лишенцев был ряд упущений, не способствующих выявлению полностью лиц, не имеющих избирательных прав, а с другой стороны — и перегибы, которые затронули избирательные права лиц, имевших на них полное право (середняков-крестьян и трудовую интеллигенцию). Всего лишено избирательных прав по всей губернии 6,2%.

В самом начале кампании перевыборов, как и следовало ожидать, имели место исключительные по своей настойчивости и резкости выступления кулачества. Борьба за избирательные комиссии, за председательствование в них, за влияние при составлении избирательных списков и списков лишенцев приняла со стороны кулачества неслыханно обостренные формы. Кулачество проделывало все возможное, начиная от задабривания местных руководителей, подпаивания бедноты и молодежи, угроз, срыва отчетных собраний и использования своего влияния вплоть до террористических актов — поджогов, покушений и убийств. Местные судебные и следственные органы в самом начале не всегда учитывали политический смысл этих выступлений, но это положение было вскоре выравнено, и серьезные репрессии советской власти против нарушителей избирательной кампании, встреченные полным одобрением со стороны бедняцко-середняцких крестьянских масс, заставили кулачество понять, что его надежды на овладение ходом избирательной кампании в деревне не оправдались. В дальнейшем, за редким исключением, избирательная кампания проходила в нормальных условиях. Кулак оказался отброшенным. Местные попы (очень часто и сектанты) все время шли вместе с кулачеством и участвовали во всех его антисоветских затеях.

Наши уполномоченные как губернского, так и уездного масштаба столкнулись в деревне с несомненным фактом крайней слабости советских и партийных организаций, почти с полным отсутствием работы среди бедноты, а также среди женских крестьянских масс. Работы в этом направлении оказалось так много, количество собраний, проведенных с беднотой, было до того значительно, что на первом этапе хода избирательной кампании середняк оказался вне поля зрения уполномоченных и местных организаций.

Первоначальные выступления середняка нередко обнаруживали кулацкое влияние. Середняк был обойден, забыт, он был обижен невнимательным отношением к нему и, несомненно, завидовал той работе, которая проделывалась нами с беднотой. Если при этом учесть, что зачастую статистика расслоения проведена в деревне неправильно, что в группы бедноты иногда попадают и середняцкие хозяйства, что, таким образом, на середняцкие группы падает значительно бóльшая тяжесть сельхозналога, то станут понятными выступления со стороны середняка, проявлявшие враждебность к бедноте, третирование ее «лодырем» и т. д.

Но дальнейшая организационная и разъяснительная работа среди середняцких элементов, привлечение их к участию на общих собраниях бедноты для обсуждения кандидатур и наказов и репрессии против кулака высвободили середняка из-под кулацкого влияния, значительно изменили его настроение и доказали ему, что в его же собственных интересах — дружная работа с беднотой.

В самом начале некоторые группы бедноты испытали известное влияние со стороны кулачества, но и качественно и количественно это влияние оказалось незначительным, и на всем протяжении избирательной

кампании приходится отметить, безусловно, советские настроения со стороны бедноты, желание помочь советской власти в ее работе и осуществить ее основные мероприятия в деревне. В ряде случаев беднота (и батрак, конечно!) активно реагировала против выступлений кулаков и подкулачников.

Исключительно благодарный материал для советской работы в деревне, несомненно, представляет женщина-крестьянка. Ряд выступлений крестьянок по моим отчетам правительства характерен в том отношении, что крестьянка сознает огромное освободительное значение советской власти, что она понимает, что путь освобождения крестьянки лежит через коллективное хозяйство и что она верит, что трудности, нами переживаемые, являются временными и что дальнейшее наше хозяйствование и укрепление советской власти, несомненно, должны привести и к серьезному раскрепощению крестьянки.

Крестьянка-активистка играет исключительную роль в нынешней кампании. Можно без преувеличения сказать, что от ее активности очень многое зависит при нынешней расстановке классовых сил в деревне.

Вопросы бытовые, вопросы культуры — основные темы выступлений крестьянок. Одобряя деятельность советской власти, крестьянка вместе с тем жалуется на плохую свою организованность, на редкие собрания, на то, что даже женщину — члена сельсовета — не приглашают на заседания сельсовета и не дают ей никаких поручений.

Принимая во внимание, что значительная часть крестьянства Владимирской губернии уходит на всякие городские отхожие промысла и что вся тяжесть сельскохозяйственной работы падает на женщину-крестьянку, можно понять, какое огромное значение имеет дальнейшая работа по организации этого женского актива. Следует отметить исключительную злобу и ненависть, которую питает кулачество к крестьянке-активистке, которую оно часто терроризирует, создавая совершенно неслыханную тяжелую обстановку для ее работы. Несмотря на все эти трудности, около 17% женщин прошло в сельские советы (около 2 000 крестьянок—членов сельсовета). В председательницы выбраны 84 крестьянки против 31 председательницы сельсоветов в 1927 г.

Во Владимирской губернии значительная часть фабрично-заводского пролетариата связана с деревней, в которой рабочий имеет не только свое хозяйство, но зачастую и живет. Ряд выступлений середняков и бедноты говорит о том ненормальном положении, в котором находится хозяйство значительной части таких рабочих: их земля используется крайне плохо, иногда хищническим путем; почти не наблюдается интенсификации этих хозяйств, а зачастую при громадном общем недостатке земли эта земля оказывается совсем неиспользованной (бросовая!). К сожалению, приходится отметить, что эти рабочие с близлежащих фабрик и заводов, живущие в деревне, участвуя на отчетных или избирательных собраниях, иногда не только не являлись носителями городской пролетарской культуры в деревне, но наоборот — порой являлись инициаторами провала таких необходимых для крестьянства мероприятий, как самообложение и т. д. Вместе с тем приходится, к сожалению, констатировать, что на фабрике известные слои этих рабочих являются проводниками так называемых «крестьянских настроений».

Особо следует упомянуть о «сезонниках», работающих на строительных работах в Москве. Они зачастую крайне озлоблены и являются конкретными носителями антисоветских идей и настроений.

Нынешняя избирательная кампания отличается большой массовостью. Не единицы, а массы фабрично-заводских пролетариев под руко-

водством партии организуют деревню, придают ей уверенность в ее борьбе за реконструкцию сельского хозяйства на социалистических началах.

Вряд ли найдется такая фабрика или завод, где не было бы организовано одной или нескольких рабочих бригад для помощи деревне на время избирательной кампании. На многих общефабричных и заводских собраниях было решено в фонд помощи деревне, в фонд бригад отработать два часа или отчислить 1% заработка.

Формирование и отправка бригад проходили с большим подъемом. Фабрика «Оргтруд» насчитывала среди своих текстильщиков около 350 добровольцев-бригадиров, среди которых 100 девушек и 46 взрослых работниц. Фабрика «Комсомолец» имела бригаду в 50 человек. Инструментальный завод № 2 — 240 человек, Кольчугинский завод — 40 и т. д.

В большинстве случаев бригады отправлялись в деревни по воскресным дням или накануне. Но насчитывается немало и таких фабрик и заводов, бригады которых отправлялись на продолжительный срок (до 2 недель). Некоторые бригады оставляли своих представителей в деревне на весь период избирательной кампании.

Работой бригад руководили обычно особые комиссии из представителей общественных организаций (партия, профсоюзы), которые и разбивали добровольцев-рабочих на отдельные бригады. Так, работали организационно-политические бригады, которые подготовляли собрания, украшали здания школ и нардомов, вели отдельные беседы, разносили повестки. Бригады ремонтные чинили сельскохозяйственный инвентарь у отдельных крестьян-бедняков, колхозов и машинных товариществ (в воскресные дни бесплатно). Бригады культурно-просветительные составлялись из драмкружков (синеблузники), кинопередвижки, певческих хоров, духовых оркестров, физкультурников (лыжники). Бригады нянь из девушек и женщин обслуживали крестьянские семьи (ходили за ребятами, покуда старшие уходили на собрания).

Появление рабочих и работниц в деревне вызывало обычно встречную демонстрацию со стороны крестьянства — на улицу высыпал и стар и млад. Развертывались плакаты, говорившие о смысле выборов в советы, о смычке пролетариата с крестьянством, раздавалась литература, произносились речи, гремела музыка, звенели песни. Там, где побывали бригадиры, выборы проходили с наибольшим успехом, и активность крестьянства на отчетных и избирательных собраниях достигала очень высоких процентов.

Отношение бедняцко-середняцкой части деревни к дружинникам было всегда самое благожелательное. Крестьяне нередко говорили: «Вы, рабочие, нам открыли глаза» или: «Когда к нам рабочие приезжают, мы смелее, — и нам легче бороться с кулаками». На некоторых избирательных собраниях крестьяне предлагали вводить в сельсовет представителей от рабочих для постоянной связи с фабрикой.

Несмотря на то, что выборная кампания в губернии закончилась, бригады не распускаются, а наоборот — численно растут. Рабочие понимают, что выборами их обязанности не закончились, а только начались. Бригады сейчас усиленно готовятся к весенней посевной кампании и спешат запастись минимумом агрикультурных знаний.

Бригадирство — блестящее подтверждение того, какие огромные резервы имеются у диктатуры пролетариата для осуществления и проявления его ведущей роли в революции. А отношение к бригадирству со стороны середняцко-бедняцких масс деревни, влияние дружинников на ход избирательной кампании, готовность продолжить свой опыт в весеннюю посевную кампанию свидетельствуют о том, что, вопреки уверениям пани-

керствующих правых уклонистов, не только нет разрыва в рабоче-крестьянской смычке, но что в распоряжении нашей партии имеются огромные возможности для еще большего укрепления смычки с деревней, для еще большего укрепления в этой смычке руководящей роли пролетариата.

Уполномоченные, как я уже сказал, оказали исключительно большую помощь местным деревенским партийным организациям в деле правильной организации и плодотворного проведения избирательной кампании. Наша деревенская партийная сеть, к сожалению, еще слишком недостаточна и узка; качественно она крайне слаба, а отдельные элементы оказываются слишком связанными с разными антисоветскими (кулацкими!) элементами и их интересами. Вот почему внешне выполняя известные обязанности (организация избирательных собраний, развеска и расклейка плакатов, демонстрации, шествия и т. п.), наши деревенские партийцы на самих собраниях слишком часто скрывают свое лицо, плетутся в хвосте, не проявляют себя, как подобает членам партии, почти не защищают кандидатур, выставляемых общественными организациями, и не участвуют в защите тех или иных пунктов наказа.

Этой же слабостью наших деревенских организаций объясняется, несомненно, тот факт, что 25—30% (очень редко больше) предлагаемых деревенскими организациями кандидатов оказывались отведенными на общих собраниях избирателей, причем отвод являлся незлобным, не антисоветским, а имел в виду замену худших кандидатов лучшими. Немало насчитывалось таких случаев, когда в наших списках оказывались лица, явно скомпрометировавшие себя, с недоброкачественным прошлым, малоавторитетные и т. д. Отводили женщин-крестьянок (крестьяне боятся женщин в сельсоветах как врагов водки!) и на их место ставили мужчин.

Вместе с тем наши деревенские организации в достаточной степени не учли того огромного авторитета, каким пользуются вернувшиеся домой молодые красноармейцы, которые почти единогласно выбирались в советы.

Конечно, бывали отдельные, единичные случаи злостного провала кандидатур, предложенных общественными организациями, но это можно объяснить исключительно слабостью нашей работы, ибо неправильно избранные советы, выбранные с нарушением конституции и инструкций, после некоторой разъяснительной кампании тотчас переизбирались.

Слабой работой и малой авторитетностью наших организаций объясняется и тот, несомненно, печальный факт, что женщины и комсомольцы проходили в чрезвычайно незначительном количестве; только отдельные волости имеют у себя в каждом сельсовете хоть по одной крестьянке.

Советская демократия сказалась на селе в нынешнюю общественную кампанию в разных направлениях:

а) Отчетное собрание. Нынешняя избирательная кампания дала значительный пример широкого проявления советской демократии в деревне. Отчетные собрания проходили в переполненных помещениях школ или народных домов. Выступления были многочисленные и — нужно прямо сказать — исключительно деловые.

б) Кандидатские списки. Кандидатские списки будущих членов советов обсуждались на многочисленных собраниях — партийных, комсомольских, женщин-крестьянок, групп бедноты и середняцкого актива, а затем снова, кандидатура за кандидатурой, обсуждались уже на избирательных собраниях, на которых присутствовало от 70 до 90% избирателей, среди которых женщины-крестьянки занимали не последнее место.

в) Наказы. Наказы, как в их политической части, так и особенно в практической части, обсуждались исключительно деловито, при большом выступлении ораторов; каждый пункт дополнялся и уточнялся самым внимательным образом. Эти наказы, в которых сосредоточены как общеполитические интересы, так и практические нужды и пожелания каждой деревни в отдельности, представляют собой высокий тип практического проявления в деревне советской демократии.

г) Конференции. Особенно замечательны в этом отношении происходившие по всей губернии вслед за перевыборами советов волостные производственные конференции крестьян, связанные с предстоящей весенней посевной кампанией.

Там, где мне пришлось выступать с отчетами правительства, я слышал деловую оценку этой работы, одобрения всей работы правительства, заявления со стороны середняков о том, что «благодаря революции мы получили помещичьи земли, стали пахать плугами, сеять сеялками, перешли на многополье, а при царизме ковыряли землю сохой». Крестьяне очень часто отмечали с большим удовлетворением тот факт, что в то время, когда прежние правительства никогда не отчитывались, теперь правительство широко отчитывается перед крестьянами и советуется с ними о своей работе.

Многие из крестьян, особенно на производственных конференциях, подтверждали, что в одиночку очень трудно жить и работать и что единственный выход — объединение в колхозы: почти в каждой деревне количество молотилок, сеялок, сортировок по сравнению с довоенным временем увеличилось в несколько раз. Те задачи, которые сейчас страна поставила перед сельским хозяйством, поднимают на исключительную высоту активность крестьян, ибо переход на многополье, агрикультурные мероприятия, машинизацию сельского хозяйства, колхозное строительство представляет собой подлинную революцию в крестьянском быту и его хозяйстве.

Такую же активность, но качественно иного порядка, приходится отметить и в выступлениях пролетариата Владимирской губернии как на собраниях, связанных с перевыборами вообще, так и на объединенных заседаниях, где ставился отчет центрального правительства. Здесь безраздельно проявлялась преданность пролетариата советской революции, высказывалось полное одобрение всей политики правительства, и немало было замечательных выступлений, констатировавших не только общий рост благосостояния пролетариата, но и отмечавших, что отчет правительства перед пролетариатом является практическим осуществлением диктатуры пролетариата в стране и что «биение пульса индустриализации чувствуется на каждой фабрике».

Мне пришлось посетить изрядное количество деревень Владимирской губернии. Общее впечатление — деревня за годы революции сильно обновилась, очень много свежепостроенных изб. Из бесед с отдельными крестьянами, которых я заставлял сравнивать дореволюционную деревню с нынешней, вытекает, что деревня, раньше совершенно некультурная и неграмотная, ныне становится значительно культурней. Во многих волостях построены новые школы, просторные народные дома, организованы избы-читальни и красные уголки. Несомненно, что дело здравоохранения значительно улучшилось по сравнению с царским временем, — это констатируют все крестьянские выступления: там, где раньше был фельдшерский пункт, сейчас уже работают врачи, а в отдельных случаях построены больницы. Есть волости, где раньше о «гимназии» или даже о «прогимназии» и думать не смели, а нынче построены семилетка и даже девятилетка,

Материальное положение значительно улучшилось, несмотря на ощущаемый недостаток в мануфактуре, обуви, железе и т. д. Сами крестьяне констатируют переход от крестьянских тканей на фабричные и от лаптей на кожаные сапоги.

Глубокие изменения происходят в сельском хозяйстве: там, где были раньше одна соха и деревянные бороны, теперь крестьяне уже имеют дело со сложными сельскохозяйственными машинами — плугами, сеялками, веялками, сортировками, минеральными удобрениями и т. д. В то время как раньше в волостях было полное отсутствие агрономической помощи, сейчас на каждую волость имеются агроном и специальные агрономы для колхозного строительства. То же самое следует сказать и о ветеринарном обслуживании деревни.

Общий вид деревень в период выборной кампании праздничный — красные флаги, плакаты через улицу, транспаранты, зелень и т. д.

Но наряду с этим следует отметить исключительно развитое пьянство: во Владимирской губернии нет такой волости, где бы не пропивалось 100—200 тыс. руб. Я бывал в деревнях, где в один только крещенский праздник было пропито не менее $^1/_3$ всего годового сельхозналога.

Почти во всех уездных городах и фабричных поселках я видел огромный рост нашего хозяйственного строительства, начиная от церквей, ликвидированных и превращенных в большие клубы и театры, и новых железобетонных, прекрасно оборудованных огромных клубов и кончая такими новыми постройками, как льняная фабрика в Вязниках, Лакинка во Владимирском уезде и новая печь на Бухаринском заводе в Гусе-Хрустальном, Новая гутта на стекольном Свердловском заводе, фабрики «Пионер», «Правда» (районная электростанция) и т. д. Наряду с каторжными казармами, построенными капиталистами, вырастают новые поселки (поселки Ильича), не удовлетворяющие, конечно, всей жилищной нужды рабочих, но уже являющиеся залогом совершенно нового жилищного строительства. Новые больничные корпуса, школы-девятилетки в рабочих поселках, хлебные заводы, прекрасные новые универмаги, рабочие клубы свидетельствуют о громадных изменениях, которые происходят в быту владимирского пролетариата.

Из всех уездов, мною посещенных, наилучшее впечатление на меня произвели Ковровский и Вязниковский уезды. Как в одном, так и в другом чувствуется напряженная творческая работа, происходящая на глазах у пролетариата, который с большим удовлетворением отмечает это в своих выступлениях.



Сельские и городские советы в губернии переизбраны. Не будет преувеличением сказать, что не менее трех четвертей всего населения было втянуто в избирательную кампанию.

Огромная разъяснительная работа, павшая на почву советских настроений пролетариата и крестьянства, дала положительные результаты. Освещена внешняя политика советской власти, разъяснен смысл индустриализации страны и преобразования сельского хозяйства, отвечено на тысячи выступлений и десятки тысяч вопросов, обновлены советы, — словом, поднята огромнейшая активность масс.

Советы переизбраны. Но надо добиться того, чтобы работал не один председатель сельсовета, а весь совет в целом. Надо создать такие условия для сельсовета, при которых он действительно стал бы подлинным органом власти на селе.

Перед сельсоветом стоит серьезнейшая задача — претворение в жизнь наказа, данного ему крестьянами-избирателями. Предстоит организация секций и деловой работы в них. Сельсоветы сильно обновлены в своем составе. Председатели в подавляющем числе вновь избраны. А партийные ячейки на местах крайне слабы, и сеть их очень ограничена.

Но кроме обычной текущей работы перед нынешним составом сельских советов страной поставлена исключительная по своей ответственности, сложности и трудности задача — поднятие урожая, увеличение запашки, коллективизация сельского хозяйства.

Энергия, которую развили в отчетную и выборную кампанию губернские и уездные партийные, советские и общественные организации, не должна быть ослаблена.

Надо прямо сказать, что позади — наиболее легкая часть задачи. Кулачество и поповство, отброшенные во время выборов, попытаются взять реванш либо на почве председательского места в совете (через подкулачника!), либо на почве контрактации, либо в связи с задачей увеличения урожая и колхозного строительства. Борьба преодоления влияния кулака на середняцкие массы деревни будет не менее трудна. Здесь одной политической агитацией не отделаешься. Вот почему рабочие-бригадиры говорили мне, что при бригадирстве в весеннюю посевную кампанию им надо будет серьезнее подковаться, пройдя хотя бы краткосрочный цикл лекций по основным вопросам колхозного строительства и агрокультуры.

За шесть недель, проведенных мною во Владимирской губернии, я слышал одно только выступление фабричного подмастерья, который считал, что материально пролетариат хуже сейчас обеспечен, чем при царском режиме. Но один за другим выступали рабочие и работницы (беспартийные), которые высмеивали его и с величайшей горячностью, вспоминая тяжелое прошлое, констатировали, как несравненно лучше и полнее удовлетворяет теперь пролетариат свои материальные и культурные нужды. И двухтысячное собрание рабочих особой резолюцией осудило этого подмастерья.

То же было на крестьянской производственной конференции, где один старик, зажиточный середняк, начал было рассказывать, как с полных лавочных полок крестьянин когда-то узлами тащил к себе домой всякие товары. И здесь, как и на рабочем собрании, выступили колхозники, бедняки и середняки, которые разоблачили старика и рассказали, как плохо жила деревня раньше и как она растет при советской власти.

За такими единичными исключениями вся бедняцко-середняцкая масса крестьянства (не говоря уже о рабочих) убежденно и полностью одобряла политику мира и вообще внешнюю политику правительства и горячо приветствовала индустриализацию страны, коллективизацию деревни и мероприятия советской власти по поднятию производительности индивидуальных бедняцко-середняцких хозяйств.

И вот сейчас, подводя итоги всему, что происходило и произошло в деревне за время выборной кампании, надо прямо сказать, что, не будь четкой ленинской линии XV съезда и последующих пленумов, мы не могли бы с полным удовлетворением констатировать нынешние успехи избирательной кампании.

К концу ноября и в декабре активность кулацких, поповских и всяких антисоветских элементов сильно возросла. Кулачество использовало

все нюансы своего влияния на середняцкие и даже бедняцкие массы такой малоземельной и потребительской губернии, как Владимирская.

В этот период фронт оказался прорванным в ряде мест. Не было почти ни одной информационной сводки от уполномоченных, которая не сообщала бы как о крайней засоренности сельских избирательных комиссий, так и о некоторых колебаниях середнячества.

Что же было бы, если бы партия поверила россказням о том, что кулаков нет, что в деревне никакой классовой борьбы нет, и, словом, всему тому, что предлагают правые, оппортунистические элементы? Мы получили бы, несомненно, избиркомы из кулацких и сильно зажиточных слоев деревни, которые по-своему провели бы отчетную и избирательную кампанию. Что стало бы с организацией бедноты, с колхозным строительством, с увеличением запашки, с поднятием урожайности, с самообложением? Каков был бы состав сельских советов?

Эти вопросы были основными, по которым проходила линия борьбы в деревне. И, не получая отпора, а наоборот — встречая благожелательное к себе отношение, этот зажиточный кулацко-поповский блок перетянул бы на свою сторону середняка.

Но благодаря решительной линии партии этого не случилось. Мы повели энергичное наступление. Были исправлены ошибки в конструировании сельизбиркомов; была ликвидирована нерешительность в деле пересмотра и пополнения списков «лишенцев»; были приняты серьезные меры против тех, кто пытался сорвать собрания, кто терроризировал избиркомы или деревенских активистов, была проделана огромная организационная и разъяснительная работа с крестьянками, с середняцким активом (не говоря уже о молодежи и бедноте).

Антисоветские силы этой политикой партии отброшены и изолированы. Середняцкие элементы деревни пошли вместе с беднотой против кулаков, за политику партии и советской власти.

Организационная и разъяснительная работа партии в деревне дала положительные результаты: партийная прослойка стала толще; процент батраков повысился (вместо 181 теперь 326 батраков членов совета); количество женщин в сельсоветах увеличилось, особенно количество крестьянок-председательниц, кампания дала бедняцко-середняцкие советы, которые при дальнейшей помощи со стороны партии станут подлинными организаторами социалистического переустройства деревни и борьбы за повышение урожая.

Избирательная кампания подтвердила исключительную правильность нашей партийной линии в деревне и отчетливо показала, какие трудно поправимые удары мы нанесли бы диктатуре пролетариата, если бы пошли по путям, предлагавшимся правыми уклонистами.

Из истории моего бытия.

С. Канатчиков.

(Продолжение.)

На заводе в Мытищах.

Новый, светлый, просторный внутри Мытищенский завод блестел как игрушка. Даже со стороны было на него приятно смотреть. А гул его могучего, богатырского гудка, с которым не могли бы сравняться сотни труб архангелов, далеко разносился по лугам, лесам, пугая лесную дичь, будя захудалые, серые деревушки от глубокого, многовекового сна. Внутри и вокруг еще кипели строительные работы — воздвигались новые заводские корпуса, строились в беспорядке жилища для рабочих — деревянные домики, дома и огромные казармы для холостых.

Наша модельная мастерская помещалась в верхнем этаже над механической мастерской, внутри огромного высокого здания. В ней стояли характерный монотонный металлический грохот мерно работающих токарных станков, строгательных, фрезеровочных, шелест целой паутины скользящих приводных ремней. Изредка в этот мерный шум врывался визг круглой пилы, резавшей крепкое сухое дерево.

Завод работал всего лишь несколько месяцев, а потому здесь еще не успели сложиться традиции затхлой цеховщины. Стариков было мало, преобладала веселая, жизнерадостная, вольнолюбивая молодежь. С первого же дня я почувствовал себя как дома. Пробные работы меня уже теперь нисколько не смущали. Я с ними справился без малейших затруднений. Несмотря на мой юный возраст (восемнадцать лет), мастер мне положил рубль шестьдесят копеек, то есть вдвое больше того, что я получал у Бромлея. Я был, что называется, на седьмом небе.

На квартире я поселился в получасе ходьбы от завода, в деревне Шарапово — в дачном домике с палисадником. Хозяин квартиры — токарь по металлу Василий Алексеевич Клушин — был очень почтенный и вполне «сознательный» человек, когда-то работавший у Гоппера; он участвовал в забастовке и знал по именам всех наиболее выдающихся рабочих, которые пострадали за убеждения. В церковь он не ходил, богу не молился, а по постам ел скоромное. Выписывал журнал «Нива» — из-за приложений, как он объяснил мне. С первого же чаепития он завоевал мои симпатии, и я надолго сохранил о нем самое лучшее воспоминание. С большой теплотой я потом вспоминал темные летние вечера, когда после работы, сидя на террасе за чаем при свете мигавшей лампы, Василий Алексеевич своим монотонным, скрипучим, но глубоко проникавшим в мою душу голосом рассказывал о героической борьбе народовольцев,

об отдельных эпизодах из истории Французской революции, о вождях рабочих, руководивших стачкой, в которой он принимал участие, и т. д. В его рассказах все действующие лица сразу оживали, становились большими, сильными, с непреклонной волей и неотразимо влекущей к себе симпатией.

Несмотря на его спокойный тон, я чувствовал в нем глубокую ненависть к «кровопийцам» — дворянам, хозяевам, попам и царю. Когда по ходу рассказа дело касалось царя, Василий Алексеевич тщательно обходил это слово, заменяя его «сам» или понижая свой голос до таинственного шопота.

— Темен народ, несознателен, — говорил он мне впоследствии, как бы в свое оправдание, — верит в царя-батюшку. Чиновников, дворян как хошь ругай — ничего, а как «самого» задел, так сейчас на дыбы. «Помазанника», говорит, не трошь! А кой его чорт мазал!? Темен, темен наш рабочий народ, Сенюшка, спит! — со вздохом качая головой, после небольшой паузы, прибавлял Василий Алексеевич. — Его бы чем-нибудь по башке хорошенько ошарашить, может он тогда скорей проснется. Или вот если бы у нас какой-нибудь разбойник объявился, вроде Стеньки Разина или Пугачева, — тогда бы, пожалуй, все за ним пошли богачей да дворян на фонарях вешать, как во Франции, — начинал иногда фантазировать Клушин, недовольный медленным пробуждением рабочего люда.

Любил Василий Алексеевич также помечтать и о будущем справедливом устройстве человечества:

— Все будут тогда равны на земле. Не будет ни царей, ни владык земных, ни судей, ни жандармов, ни попов.

Ленивому брюху мы есть не дадим,
А царство небесное на земле создадим!

любил цитировать он, переделывая на свой лад стихи Гейне.

От него же я впервые услышал известное изречение Пушкина:

В России нет закона —
Есть столб, а на столбе корона.

Одно мне не нравилось у Василия Алексеевича — это когда он, напившись в получку, начинал без основания ревновать и бить свою жену — худую, измученную хозяйственными заботами и детьми женщину. Мне нередко приходилось брать ее под свою защиту и спасать от побоев разгневанного Клушина. Несмотря на это, мои симпатии к Василию Алексеевичу не ослабевали: в те времена в рабочей среде битье жен было обычным явлением.

Сам же Клушин далеко не был обычным явлением на заводе. Правда, во время моих последующих скитаний я почти всегда встречал одного или двух почтенных, уважаемых, сознательных рабочих на заводе, по своему духовному облику весьма похожих на Василия Алексеевича: они обычно выписывали передовую «прогрессивную» газету, покупали книжки с «направлением», читали, следили за политикой и не верили в бога. Но от всякой активной политики держались вдали. Ни во что не вмешивались, ни с кем не знакомились, в откровенные разговоры вступали лишь с теми рабочими, в которых были уверены. В молодости они почти все принимали активное участие в политике, а некоторые даже пострадали. Были знакомы в свое время с выдающимися революционерами, о которых вспоминали с восхищением и с гордостью рассказывали нам, молодежи.

Ни к какому определенному политическому направлению они не принадлежали, но всегда охотно давали советы и делились своим опытом, соблюдая осторожность, с молодыми сознательными товарищами.

Забегая немного вперед, скажу несколько слов об одном из таких стариков, с которым я спустя год познакомился в Петербурге, когда работал на заводе Семянникова. Фамилию его я не помню. Все его звали Василий Евдокимыч, в то время было ему за шестьдесят, но он был бодр, здоров и жизнерадостен. Его знала почти вся революционная молодежь, которая работала тогда за Невской заставой. В нашей мастерской все к нему относились с большим уважением, хотя и называли «студентом», «безбожником». Василий Евдокимыч дожил до революции 1905 г. Его пробовали было выбирать в Совет рабочих депутатов делегатом, старостой и т. д., но он от всего отказывался. Было как-то бодрее и веселее на душе, когда знал, что вот тут, рядом с тобой, или в другом цехе работает человек, с которым ты можешь поделиться своими мыслями, сомнениями, неудачами. Знал, что этот человек тебе сочувствует, понимает твои тревоги... Поможет тебе советом, поделится опытом...

В истории рабочего движения эти культурные рабочие-одиночки, несомненно, сыграли немалую роль.

Впоследствии, обогащенный революционным и житейским опытом, я невольно сравнивал два вида отхода от политики и революции — рабочего и интеллигента. Отход интеллигента от революции обычно сопровождался разочарованием, оплевыванием своего прошлого, злобной критикой того, чему поклонялся, нередко ренегатством и в лучшем случае обывательским небытием.

Положение революционера-рабочего было иное. Ему некуда было уходить от рабочего класса, — он попрежнему оставался среди своих угнетаемых и эксплоатируемых капиталом товарищей, даже если он разочаровывался в революционной борьбе. Приобретенные ими знания и опыт в революционной борьбе все-таки оставались при них, а объективная обстановка вынуждала, хотя и с большой опаской, делиться ими с молодыми, активными рабочими.

Василий Алексеевич Клушин относился ко мне с большим доверием и в свою очередь являлся для меня авторитетом. К сожалению, знания его были весьма отрывочны, несистематичны, а потому он не всегда мог удовлетворить мою любознательность.

Однажды он посоветовал мне достать сочинения Шелгунова, которые, по его словам, были «запрещены». Не смущаясь этим обстоятельством, во время моих воскресных поездок в Москву я целыми днями слонялся по Сухаревке, ища сочинения Шелгунова, но напрасно. Я уже совсем был готов махнуть рукой, как вдруг, зайдя наугад на Сретенке к букинисту, спросил для очистки совести еще раз. К моему изумлению и радости букинист полез под прилавок и извлек оттуда два больших тома в желтой обложке — сочинения Шелгунова. Не помня себя от радости, почти не торгуясь, я уплатил букинисту два рубля пятьдесят копеек, тотчас же отправился на вокзал и поехал к себе в Мытищи, крепко держа в руках драгоценную покупку.

Сочинения Шелгунова меня интересовали и волновали по двум причинам: во-первых, они были запрещены, а во-вторых, по словам Василия Алексеевича, я мог найти в них исчерпывающие ответы на все волновавшие меня вопросы рабочей жизни.

Однако когда я с бьющимся сердцем приступил к чтению первого тома, я испытал большое огорчение и досаду на самого себя. Отвлеченный язык, длинные периоды, иностранные слова лишали меня возможности

понимать книгу. Как я ни старался напрягать свое внимание и проникнуть в существо написанного, у меня ничего не выходило. Помощь Клушина тоже мало помогла. Наконец ему как-то пришла в голову мысль посоветовать мне купить словарь иностранных слов. И тут меня постигла неудача: купленный за пятьдесят копеек словарь был слишком мал. Пришлось купить другой. Так я, просиживая все вечера, в течение месяца только смог с грехом пополам одолеть одну статью, кажется «Положение рабочего класса в Западной Европе».

Мои учителя всегда ставили мне в пример западно-европейский рабочий класс — проделанные им революции, его формы политической и профессиональной борьбы. А Шелгунов описывает ужасающе тяжелое его положение, гнет и эксплоатацию капиталом, жилищную нужду и т. д. В чем же тут дело?

Когда я поделился своими сомнениями с Василием Алексеевичем, он попытался смягчить это впечатление, сказав:

— Это же было раньше, давно, а теперь заграничные рабочие живут очень даже хорошо... А вот когда у нас будет революция, то буржуев слушать не нужно — обманут... Рабочим самим нужно научиться быть вожаками... чужим не верить.

Эти успокоительные выводы, однако, мало меня в чем убеждали. Прочитанная статья настраивала на пессимистический лад насчет будущих судеб революции...

Но живая жизнь, очевидно, была сильнее всяких головоломных теорий, не давала мне возможности предаваться пессимистическим настроениям, а толкала меня к живой активной деятельности. Теперь уже достаточно укрепившись в сознании, что я — «взрослый», «самостоятельный» и к тому же «сознательный», я отважно вступил в борьбу с «неправдой людской». Вступался за обиженных и угнетенных, просвещал и убеждал «несознательных», горячо спорил с противниками, защищая свои «идеалы».

На квартире у Клушина, кроме меня, жило еще человека четыре, которые размещались по летнему времени в сенях, в чулане, на террасе. Это была молодежь моего, или немного старше, возраста: два брата-литейщика — Александр и Флегонт, ярославцы, говорившие на «о», очень живые и веселые ребята, один из которых имел «венскую» гармонь и хорошо играл на ней; один слесарь Иванов — серый мешковатый парень, часто служивший объектом насмешек; токарь Володька Озерецковский, кичившийся перед нами своим «духовным» званием, и, наконец, табельщик Ослопов — хлыщеватый молодой человек с косым пробором и тоненькими рыжеватыми усиками, важничавший своей принадлежностью к заводскому «начальству» и очень стеснявшийся своей двусмысленной фамилией. «Моя фамилия не Ослóпов, а Óслопов», — с раздражением обычно поправлял он кого-нибудь из наших ребят, делая ударение на первом слоге, так как мы намеренно старались исказить его фамилию.

Ослопова мы не любили и сторонились, а если когда и вступали с ним в разговоры, то лишь с целью подтрунить и поиздеваться над принадлежностью его к «благородному» канцелярскому сословию. Жалованье его было значительно меньше нашего месячного заработка, но все-таки на нас, рабочих, он смотрел «сверху вниз». Разговаривая, он держал голову вверх, растягивал слова, произнося их немного в нос, подражая механику. Для пущей важности он часто начинал свой разговор со слов: «Мы с механиком...»

Прежде Ослопов служил у губернатора в канцелярии писцом и носил картуз с кокардой, который он благоговейно хранил у себя в чемодане.

— Я и сейчас имею право кокарду на картузе носить, да только сам не хочу, — хвастался он перед нами.

— Кокарда ума не прибавит, — вставлял Флегонт. Ослопов сердился и уходил из-за стола.

— Приходите почаще — без вас веселей, — посылал ему вслед неугомонный Флегонт.

Редко какой обед или чай у нас проходил без столкновений между Ослоповым и Флегонтом. Однако, если исключить Ослопова, в общем мы жили между собой дружно.

По воскресеньям к нам иногда приходили девицы. Литейщик Александр заводил свою «зенку», и у нас начинались танцы. Борьба с «неправдою людской» мне отнюдь не мешала совершенствоваться в «светском» обхождении. Мой самоучитель танцев пользовался успехом. Нужды в деньгах я уже теперь не испытывал. Купил себе праздничную «тройку», часы, а для лета широкий пояс, серые брюки, соломенную шляпу и франтовские «баретки» (туфли). Словом, оделся я так, как в те времена одевалась городская заводская молодежь, имевшая самостоятельный заработок и не зашибавшая водочкой.

Помещался я в одной комнате с Озерецковским, о котором я уже упоминал. Я его знал еще по работе у Листа, где он работал тоже учеником. Он был, что называется, «рубаха-парень». Непрочь был выпить, хорошо закусить, в компании попеть, поплясать, любил одеться и приударить за девицами. Был он, кроме того, большой «чистоплюй» — раза два на неделе чистил ваксой ботинки, содержал в чистоте кровать, не ложился на одеяло в грязных сапогах и блузе и каждый день зубным порошком чистил зубы. Озерецковский был духовного звания — сын не то дьячка, не то пономаря, — чем он любил похвастаться в пьяном виде.

Несмотря на мою близость с ним, а может быть благодаря ей, моей пропаганде он не поддавался. «В писании сказано: не мечите бисера перед свиньями... — иронически возражал он мне, когда я начинал на него наседать. — Вот кабы все рабочие поднялись, тогда и я бы пошел с ними, а один в петлю не полезу, да и тебе не советую. Лбом стену не прошибешь!» Эти и подобные им шаблонные возражения в устах молодого парня меня вначале очень возмущали, но потом я привык и махнул на него рукой.

По части антирелигиозной пропаганды мне здесь мало приходилось прилагать усилий, ибо заводская молодежь, с которой мне приходилось сталкиваться, или была равнодушна к религии или же сознательно неверующая.

Возвращаясь однажды вечером с работы, я нашел у себя «гостя», то был мой отец. Увидев меня, он встал мне навстречу, обнял и троекратно поцеловал. В длинной, линючей со сборками поддевке, с белеющей бородой и пробивающейся сединой в темных поредевших волосах, он за эти несколько месяцев как-то ссутулился, осунулся, постарел. Голос стал тихий. Мне было его жаль. Мы просидели с ним весь вечер в нашей комнате вдвоем (Володя Озерецковский эту неделю работал в ночной смене). Покашливая и тяжело вздыхая, тихим голосом отец рассказывал о деревне, о плохом урожае льна, о падеже двух овец, о наших семейных неурядицах, о своей ссоре с моим старшим братом и т. п. Умом я постигал, что во всех семейных неурядицах виноват сам отец с его властным деспотическим характером, а мой брат был страдающей стороной. Но слушая его тихую, проникновенную речь, я невольно заражался настроением отца. Мне становилось бесконечно жаль его, одинокого, страдающего, всеми покинутого старика. Но чем я мог помочь ему? Вернуться в деревню, стать крестьянином? Нет, об этом не могло быть и речи. Отец и сам

понимал мое умонастроение, и поэтому о моем возвращении в деревню не обмолвился ни словом.

Прожил он у меня три дня. Внимательно присматривался к нашему образу жизни. Судя по всему, мною остался доволен.

Мои товарищи проявили по отношению к отцу максимум внимания и заботливости. Не желая огорчать старика, Володя даже решил скрыть наше вольнодумство: под воскресенье вечером он зажег лампадку перед образом, висевшим в нашей каморке, которая вообще никогда не зажигалась, а в пятницу потихоньку просил хозяйку готовить для нас постную пищу. Такая предусмотрительность была излишней, ибо отец отлично понимал, что я не только «не обратился к вере христианской», а еще больше утвердился в своем вольнодумстве. Да и сам я этого не скрывал.

Успокоенный и растроганный моим вниманием, отец вернулся в деревню. При прощаньи я дал ему десять рублей. Такое внимание, повидимому, особенно было приятно отцу. Как мне рассказывали уже спустя много лет в деревне, отец очень гордился мною. Ему были не столь важны деньги, сколько то, что я вышел в люди и стал самостоятельным человеком.

Но в то же время, судя по его письмам, по рассказам земляков, отца все время мучила какая-то смутная тревога за меня и за мою будущую судьбу

— Удивляюсь, што у меня за дите уродилось, — водки не пьет, табаку не курит, в карты не играет, а об хрестьянстве тоже ничего знать не хочет, — говорил он со скорбью обо мне своим приятелям-соседям.

— Ничего, Иван Егорыч, образуется, как будет постарше, — говорили те ему в утешенье.

Незаметно для меня лето начинало подходить к концу. Я начинал подумывать о зимней квартире, так как наша «дача» для зимнего жилья была не приспособлена. С Клушиным мне расставаться не хотелось, а потому эти вопросы мы обсуждали с ним совместно. Словом, все течение моих мыслей было направлено по руслу зимнего благоустройства. На заводе я чувствовал себя прочно: мастер относился ко мне хорошо, работой моей был доволен, промахов в работе я никаких не делал, на работу являлся аккуратно, без прогулов. Так мне казалось.

Но вот однажды мастер дал мне одну очень простую работу: сделать модель самой обыкновенной прямой трубы с фланцами. Чертежи модели мастер начертил от руки. Когда труба была готова, он подошел ко мне, смерил кронциркулем модель и заявил, что модель нужно бросить, ибо я ошибся на один дюйм, что поэтому я должен получить расчет. Возмущенный не столько объявлением мне расчета, сколько оскорблением моего профессионального самолюбия, я бросился к верстаку, чтобы взять чертеж, ткнуть им в нос мастеру и показать, что ошибся он, а не я. Но увы, чертежа не оказалось на верстаке, и все мои поиски были напрасны... Чертеж, единственное доказательство моей правоты, исчез, как в воду канул. Мастер его отыскивать не стремился. Это последнее обстоятельство мне показалось подозрительным. И когда мой гнев и возмущение немного улеглись, для меня все стало понятным...

Получив расчет и распрощавшись со своими друзьями, я снова отправился в Москву на поиски работы.

У «рашпиля» [1].

И на сей раз без работы мне пришлось ходить недолго. Поступил я на небольшой механический завод у Крестовской заставы — Вартц

[1]) «Рашпиль» — напильник с крупной насечкой. Мастеровые «рашпилями» называли мелких хозяйчиков.

и Мак Гил, — кажется, он так назывался. Вначале все шло гладко, хорошо. Я сдал пробу, поставил «спрыски», перезнакомился с модельщиками и даже завел себе закадычного друга, которого впоследствии перетащил в Питер.

Ваня Майоров — так звали моего нового друга — был моего возраста, работал еще в качестве ученика, очень живо интересовался общественными вопросами, вступал в споры и горячо боролся против всякой «несправедливости». Мы с ним очень скоро сошлись, а впоследствии поселились в одной комнате.

От него я впервые узнал о существовании поэта Некрасова.

— Вот, Сеня, кабы нам с тобой найти стихотворения Некрасова, многому бы мы с тобой научились! Уж так человек хорошо писал про бедных и так ненавидел богатых! Ну, просто за живое забирает, — с горящими глазами и поднятыми, сжатыми кулаками с восторгом рассказывал он. — Вот был человек! А ведь нуждался и как его ненавидели всякие вельможи, празднаболтающие и обагряющие руки в крови, — и тут же декламировал:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви.

— А еще есть у Некрасова одно такое стихотворение про вельмож и про мужиков, — продолжал он. — Когда его читаешь, так слезы на глаза навертываются и кулаки сами сжимаются. Вот бы его почитать! Заглавие его «У парадного подъезда».

После этого почти каждое воскресенье мы с Ваней отправлялись на Сухаревку в поиски за Некрасовым.

В одно из воскресений нам повезло, — мы нашли старый истрепанный том стихотворений Некрасова, после чего с большим восторгом помчались домой. Однако нас ожидало большое огорчение: лист со стихотворением «Размышление у парадного подъезда» оказался вырванным. Мы не теряли надежды каким-нибудь способом его восстановить. В одно из ближайших воскресений Ваня, писавший лучше меня, направился в Тургеневскую библиотеку, дабы получить там Некрасова и переписать из него «Размышление у парадного подъезда». Но и здесь нас ожидало разочарование. Оказалось, что сочинения Некрасова в народных библиотеках к чтению не допущены.

Другие стихи Некрасова мы читали с энтузиазмом. Часто, невзирая на то, что нам предстояло в шесть часов утра вставать на работу, мы далеко за полночь засиживались, читая вслух простые гневные стихи Некрасова, отныне ставшего нашим дорогим и любимым поэтом. Все мало-мальски выдающиеся стихи его мы выучили наизусть. А впоследствии, в течение долгого времени стихи Некрасова являлись могучим орудием пропаганды среди начинающих рабочих.

Не прошло и месяца моей работы на заводе Вартца, как меня снова уволили, на этот раз не предупредив даже за две недели вперед. Пробовал я искать «правды» у фабричного инспектора, но из этого ровно ничего не вышло. Вместе со мной уволили также и Ваню Майорова. Наступили тяжелые, мрачные дни безработицы. Наши денежные запасы подходили к концу. Вставали мы раньше обычного, пешком отправлялись на какую-нибудь окраину города и становились у заводских ворот, ожидая появления мастера. На конках мы уже давно перестали ездить — они были не по карману. Обедали в «живопырнях» — на пять копеек: рубцы из требухи и легкое, — а вечером пили чай с хлебом.

Все наши поиски по заводам — найти какое-нибудь местечко — были напрасны. Пришлось обратиться к «рашпилю». Последний нас встретил недоверчиво и подозрительно. Обычно к нему поступали на работу горькие пьяницы, пропившиеся до-тла и являющиеся на работу в костюме «чуть грех прикрыт», а тут вдруг пришли два молодых парня в штанах, в штиблетах, в кепках с заклепками — и никаких признаков непробудного пьянства на физиономиях!? Воистину было чему удивляться! Прищурив плутовато левый глаз и бесцеременно в упор осмотрев нас с ног до головы, «рашпиль» поковырял многозначительно в носу, почесал себя ниже спины и спросил:

— Работать умеете?

— Умеем.

— Выходите завтра на работу.

Обрадованные, после почти месячной безработицы, мы с удовольствием встали за верстак и усердно принялись за работу. «Рашпиль» был доволен.

Рабочих в мастерской Малявкина (так звали «рашпиля») было немного: нас двое, его младший брат, только что вернувшийся из солдат — здоровый парень, бывший столяр и теперь обучавшийся модельному ремеслу, — и два ученика-подростка.

Модельная мастерская Малявкина находилась в Марьиной роще в подвальном этаже двухэтажного грязного деревянного дома. Сам «рашпиль» Малявкин — среднего роста, широкоплечий, с маленькими, постоянно прищуренными, как бы прицеливающимися глазами, с ухватками ярославского буфетчики — в мастерской не работал, а носился где-то вовне, добывая заказы и попутно обделывая всякие другие дела.

Строго говоря, «предприятие» Малявкина можно было назвать «модельной мастерской» лишь с большими оговорками, так как модельной работы у нас было немного, а потому мы выполняли «задания» различных «изобретателей».

Одно время мы трудились над разрешением модной в то время проблемы «небрызгающих» шин: строили различные покрышки, предохранители, кожуха на колеса, вырезывая в них различные углубления, которые, по мнению изобретателей, должны задерживать грязь на месте, а не обливать ею прохожих.

Долгое время мы также трудились над осуществлением «изобретения» кресла-ватер-клозета с различными потайными ящиками, полочками, долженствовавшими придать ему видимость обыкновенного изящного кресла и препятствовать распространению вони. Доставило ли славу и деньги это изобретение их авторам, — сказать не берусь, но наш «рашпиль» на этом деле немало заработал.

Рабочий день у нас официально считался одиннадцать часов, но, на наше несчастие, «проблема времени» разрешалась не нами, а нашим изобретательным предпринимателем, который при помощи своего категорического императива предписывал нам и правила нашего поведения. В мастерской висели пыльные, засиженные мухами, стенные часы, которые, повинуясь воле Малявкина, при начале работы ускоряли свой бег, а при окончании — замедляли, и превращали таким образом наш одиннадцатичасовой рабочий день в двенадцатичасовой. Жалования мы получали по восемьдесят копеек в день. Мириться с этим мы могли лишь временно. И по профессиональной амбиции и по установившемуся у меня уровню жизни я не мог удовлетвориться этим жалованием.

Но, к сожалению, и этот скудный заработок наш «рашпиль» стремился урезать. Постоянно нуждаясь в деньгах, мы были вынуждены в проме-

жуток от одной получки до другой перехватывать у Малявкина небольшую сумму. Последний в этих случаях бывал необычайно предупредителен и даже, как нам показалось, щедр. Когда мы просили у него два-три рубля до получки, он обычно говорил: «Берите, ребятушки, больше... потом сочтемся... Для вас у меня всегда деньги найдутся». А иногда и сам предлагал перехватить у него.

Наступала получка. Малявкин подводил «баланец», как он выражался, — и у нас всегда оказывался просчет по полтора-два рубля на брата. Путем «высказываний» мы пытались восстановить права объективной истины, но, несмотря на то, что мы имели большинство, однако субъективная истина «рашпиля» всегда брала верх, и мы, возмущенные, сжимая кулаки и проклиная его «добродетели», шли в нашу убогую конуру. Долго рассуждали о несовершенствах существующего общественного устройства, накопляя в себе злобу и возмущение.

Приближалась зима. Жизнь у «рашпиля» нам становилась невмоготу. Усталые, злые, мы поздно приходили домой, молча пили чай и ложились спать. Рано вставали, торопливо одевались, наскоро спросонья завтракали и бежали на работу. И так изо дня в день. Долго и упорно каждый из нас в одиночку думал о том, как бы вырваться из цепких лап «рашпиля»... Но куда?.. В Москве на многих заводах меня уже знали. Получить работу на каком-нибудь маленьком заводе было трудно, да и неинтересно. Я страстно мечтал о переезде в Петербург. Последний в моем представлении рисовался как «земля обетованная», где большинство рабочих «сознательны» и живут душевной товарищеской жизнью, поддерживая друг друга в борьбе против мастеров и хозяев.

Вскоре у нас созрело решение переехать в Питер — сначала мне, а затем, как только я найду работу, туда же переедет и Ваня Майоров.

Спустив за бесценок все нажитое мною обмундирование, я собрал на дорогу денег и осенью 1898 г. переехал в Питер.

В Питере.

Рано утром, когда еще горели огни, с ящиком инструментов в одной руке и парусиновым чемоданом в другой я сошел с перрона Николаевского вокзала... Куда итти? Знакомых — ни души. На улице темно. А денег в кармане — двугривенный.

Подумав немного, решил зайти в чайную, напиться чаю и подождать рассвета... Пью чай с баранками и мучительно ломаю голову, что делать дальше? Вспомнил, как отец рассказывал, что в Петербурге у него живет какой-то дальний родственник, который когда-то был женат на его сестре (моей тетке), а когда она умерла, женился на другой. От отца я также слышал, что по профессии он тоже модельщик... Но ни своей покойной тетки, ни Быкова (так звали мужа тетки) я никогда в жизни не видал. А не разыскать ли мне этого самого Быкова? — соображаю я. — Он тоже модельщик — может, и окажет мне какую помощь...

Разыскал адресный стол. Дали справку, что такой-то живет за Невской заставой по Смоленскому тракту. Сажусь на паровичок и еду за Невскую заставу. Забираюсь на верх: дешевле и видней. Куда ни повернешь голову, везде фабрики, заводы, мастерские. Целый лес огромных заводских труб, выбрасывающих тучи черного дыма, застилавшего и без того серое питерское небо. Фабричные здания, дома, улицы и торопливо снующие люди — все это покрыто густым слоем копоти. Отовсюду неслись грузные, ритмические звуки — грохот огромных валов, прока-

тывающих раскаленные железные полосы, удары парового молота, от которых сотрясалась земля, тяжелый шум пыхтящих паровозов, и надо всеми этими звуками в воздухе висел непрерывный гул от клепки огромных паровых котлов, лежавших на земле, как гигантские гусеницы. Здесь все дышало мощью человеческого труда и величием его неистощимого творчества.

И впоследствии, когда я попадал в этот район, меня всегда захватывал, вздымал и уносил этот быстрый, могучий поток человеческой энергии.

Паровичок, сильно громыхая на разъездах, скоро подтащил меня к остановке у фабрики Максвеля. Я невольно остановился и стал осматривать, — это та самая фабрика, рабочие которой два года назад вели героическую борьбу за лучшую долю. Этим борцам мы обязаны нынешним десятичасовым рабочим днем. Они за нас боролись, страдали...

С этими мыслями, таща в обеих руках свой багаж, я отыскал деревянный двухэтажный домик и поднялся наверх.

В коридоре на лестнице меня встретила маленькая, полная женщина, с засученными по локоть рукавами. В одной руке она держала помойное ведро, а в другой — грязную тряпку. Повидимому, готовилась мыть пол.

— Быков? Здеся, здеся!.. А вы кто такие будете? — спросила женщина, ставя на пол ведро и оглядывая меня любопытным взором.

Я сказал.

На лице женщины выразилось недоумение... радость.

— Какой же ты большой стал и как же ты сюда попал? А я ведь тебя вот эдаким знала, — показывая рукой на поларшина от полу, затараторила женщина. — Вот уж не гадала то, пра, ей-богу... Небось на улице встретила — ни за что не узнать бы. Да што же это я стою-то, — спохватилась она. — Пойдем к нам в квартиру, я тебя кофеем напою... Небось ты, сердешный, с устатку.

Мы вошли в квартиру, состоящую из трех комнат и кухни. В ней было тесно и пахло от висевшей рабочей одежды дымом, смазочным маслом и детскими пеленками. На полу в одних коротеньких рубашонках без штанов играли худенькие ребятишки. По производимому ими шуму, крику, писку мне показалось, что их было человек восемь.

— Это все ваши? — спросил я.

— А чьи же? Все наши... Отец старается на старости лет... Совсем одолели ребята! Маленькому Феде два года, а я уж шестым чижела.

Авдотья Петровна Быкова, повидимому, действительно обрадовалась моему приезду: она хлопотала, бегала, суетилась, поила меня кофе и расспрашивала о моем отце, о доме, о деревне и т. д.

Незаметно за разговором приблизилось обеденное время. Заревели заводские и фабричные гудки. Где-то близко троекратно с передышками рявкнул могучий гудок.

— Вот это наш гудит. Пойду обед собирать, а то сейчас наши с работы придут, — заторопилась Авдотья Петровна.

Минут через десять, нагибая голову, дабы не стукнуться о притолоку двери, влезла высокая худая жилистая, с небольшой светлой бородкой, немного сутулая фигура самого Быкова.

— Это будет сынок Ивана Егорыча — Семен Иванович, — отрекомендовала ему меня Авдотья Петровна.

Суровое с виду морщинистое лицо Быкова внезапно озарилось широкой, добродушной улыбкой. Он протянул мне огромную в мозолях руку. Сели вместе обедать. Авдотья Петровна принесла полбутылки водки и

подала на стол чашку густых, жирных щей. Быков расспрашивал меня об отце, о деревне, которую он оставил лет двадцать пять тому назад. В свою очередь я сказал ему, зачем приехал в Питер, и просил похлопотать для меня на Семянниковском заводе работу.

— Сейчас как будто бы у нас нет ни одного свободного верстака, — сказал он, — но я все же спрошу мастера. Вот у Растеряева на заводе, мне говорили, нужны модельщики... Пойди поработай туда, а потом я тебя и к себе перетащу, чем без дела-то ходить. Струмент у тебя есть? — Я указал на ящик, стоявший под кроватью. — На первое время этого будет довольно, — сказал он. — А после прикупишь, чего нехватит.

Авдотья Петровна предложила мне до приискания работы поселиться у них и отвела на кухне койку.

— Ты уж не обессудь на меня, Сенюшка, тебе придется вдвоем с нашим жильцом Михайлой спать. В тесноте, да не в обиде.

Этот неожиданно радушный прием поднял мое настроение, и на другой день, рано утром, полный надежд и упований, я пустился по заводам в поисках работы. Ежедневно приходилось за неимением денег пешком совершать расстояния по десять, пятнадцать верст: на Выборгскую сторону, на Васильевский остров и т. п.

Не прошло и недели, как я уже работал на Выборгской стороне на металлическом заводе. В первое время за неимением квартиры из-за Невской заставы мне приходилось ходить на работу на Выборгскую сторону. Уставал я страшно, но это не понижало моей бодрости и энергии. Дотянув до первой получки, я отыскал себе квартиру вблизи завода, поблагодарил Быкова за оказанное гостеприимство и с усердием принялся за работу.

В модельной мастерской металлического завода работало человек около ста. В значительной своей части это были финны, эстонцы и латыши — народ все суровый, молчаливый, с которыми было чрезвычайно трудно сойтись. Порядки на заводе были тоже суровые, — той патриархальной простоты, которая была на московских заводах, здесь не было. Начать хотя бы с того, что огромные железные ворота завода, как часовой механизм, минута в минуту захлопывались утром при начале работ и после обеда. Если не добежишь хотя бы на несколько секунд, тяжелые ворота с грохотом захлопывались перед твоим носом — и ты полдня должен гулять, за что помимо прогула тебе еще влепят штраф в размере рубля. Даже уборная находилась в мастерской, возвышаясь как бы на эстраде, откуда все восседавшие были доступны для обозрения мастера.

Краснорожий коренастый с рыжей бородой мастер непрерывно маячил у своего стола посреди мастерской и неустанно наблюдал за каждым движением работающих. Все это производило мрачное, гнетущее впечатление.

Моя квартира, помещавшаяся вблизи завода на Тимофеевской улице, тоже не доставляла мне ни отдыха, ни радости. Официально я нанимал полкомнаты, но у меня не было кровати, и приходилось спать вместе с работающим на этом же заводе очень серым парнем — чернорабочим. Другой мой сожитель по комнате — высокий, толстый с большими рыжими усами литовец — работал в котельной мастерской. Был он католик и отличался большой набожностью. В свободное время, даже в будни, он садился за молитвенник или доставал себе у ксендза какую-либо божественную книгу и начинал нам приводить из нее тексты и изречения Фомы Аквинского, Сократа, Платона и т. д. Кто такие были сии персонажи, в то время было для меня не известно, но всех их я зачислял в штат католических святых.

По праздникам оба мои сожителя одевали крахмальные рубашки, доставали из сундуков сюртуки и отправлялись в костел. После обеда ложились спать, затем шли к своим знакомым или к ним приходили гости — такие же серые, набожные, ничем не интересующиеся — и вели разговоры о мастерской, о заработках, о дороговизне и о том, что жизнь прежде была не в пример лучше. Вести с ними разговоры о «высоких материях», без которых я уже не мог жить, было бесполезно и небезопасно. Знакомых, близких у меня не было ни души. И лишь только по праздникам я отправлялся за Невскую заставу и отводил душу с Иваном Васильевичем Быковым. Он, правда, не принадлежал к моему поколению, не был настроен романически, как я, но все же великолепно понимал меня, сочувствовал людям, которые боролись за «правду», жалел их и готов был оказать им всяческую поддержку. Однако в торжество «идеалов справедливости» он плохо верил.

Прошло месяца два. Я познакомился с одним молодым парнем-модельщиком — Алексеем Чураковым. Жил он вместе со своими родителями на Охте, и когда однажды в разговоре я выразил недовольство моей квартирой, он предложил переехать к нему. Мы с ним быстро сошлись, начали спорить, читать вместе книжки, и моя жизнь начала мало-по-малу принимать осмысленный характер. По моему вызову из Москвы приехал Ваня Майоров, и мы поселились все вместе.

Жизнь на Выборгской стороне была все же довольно скучна и однообразна. Рабочему человеку в свободное время или в праздничные дни деваться было некуда. Единственным местом развлечения были трактир и биллиард. Целые две недели до получки обычно варились в собственном соку: спорили, разговаривали, читали, но все это надоедало, и мы начинали искать какого-либо иного развлечения. Наступала получка. Получив деньги, мы иногда заходили в трактир, заказывали бутылку водки на двоих, из молодечества и соревнуясь выпивали без передышки, а затем шли играть на биллиарде. Возвращались домой поздно вечером и навеселе. Старуха-мать ругала Алексея Чуракова, а попутно доставалось и нам. Иногда к нам заходил высокий худой столяр Скородумов, который приносил с собой запрещенные книжки или прокламации. Мы с жадностью прочитывали, спорили — и тем дело кончалось.

Наши связи и влияния не росли и не ширились. Между тем на заводе сначала у меня, а затем у Чуракова начали происходить мелкие столкновения с мастером. И мы сами и окружающие видели и чувствовали, что мастер Артемьев над нами издевается и хочет нас выжить. Вначале мы терпеливо сносили все его придирки, но вот, когда наступила получка, мы увидели, что он сбавил нам по десять копеек аккордной платы. Наше терпение лопнуло. Мы были оскорблены и возмущены этой несправедливостью. Вся мастерская об этом знала, была на нашей стороне и с напряженным вниманием ожидала развязки. Возмущенные и негодующие, мы подошли к мастеру, бросили ему на стол книжки и потребовали расчета. Мастер немного опешил, но затем спокойно принял наш вызов и обещал через две недели выдать нам расчет.

Не могу сейчас точно вспомнить, до объяснения ли с мастером или после него у нас созрел план во что бы то ни стало проучить его. [В свой план мести мы посвятили кое-кого из близких нам товарищей. Последние тоже, повидимому, с кем-то поделились, и в результате по мастерской были произведены сборы на случай нашего ареста. Это обстоятельство особенно сильно подняло в нас дух мести. Мы заранее чувствовали себя героями, совершающими подвиг за интересы всех угнетаемых мастером. Сговорившись заранее, взвесив все обстоятельства и выработав план, в пятницу

утром на масляной неделе мы трое — Чураков, Скородумов и я — в глухом переулке, вдали от городового, где по нашим расчетам должен был проходить на работу мастер, стали поджидать его. Мы знали, что Артемьев обычно ходит на работу немного позже рабочих, когда уже в переулке бывает пусто. Прогудел последний гудок, захлопнулись ворота, переулок опустел, и из-за угла показалась коренастая фигура Артемьева. Увидев нас, он, очевидно, понял наши намерения и хотел броситься назад. Но в это время стоявший сзади его Скородумов ловким ударом кулака свалил его на землю. Он поднялся, но в это время подбежали мы, сбили его с ног опять, раскровянили ему физиономию и бросились бежать. Артемьев — кричать... Подбежал городовой, но нас никого уже не было.

В этот же день вечером мы все трое пришли в заводскую контору за расчетом. Однако вместо бухгалтера в конторе встретили околоточного надзирателя. Стали требовать у начальника мастерских расчет. Последний заявил, что мы его получим в участке.

— Позвольте, но ведь мы же не работали в участке? — ответили мы.

— Здесь много не разговаривать, марш в участок, — грубо заявил околоточный.

Мы повиновались и последовали его приглашению. В участке составили протокол, в котором говорилось, что мы напали на мастера и избили его. Мы отрицали и отказались подписать. После небольших препирательств нас отвели в подвал, где и заперли вместе с вытрезвляющимися пьяницами. Наутро каждого из нас с городовым отвели по домам и сдали под расписку дворникам.

Недели через две нас вызвали на суд, и, несмотря на то, что мы доставили самых подлинных лжесвидетелей, которые удостоверили нашу невиновность, мировой судья все-таки приговорил нас к десятидневному аресту [1]).

На Васильевском острове

Вскоре после случая на металлическом заводе я снова поступил на работу на завод Сименс-Гальске на Васильевском острове. Этот завод вырабатывал электрические части машин, различные аппараты, арматуру и т. п. Работали на нем квалифицированные рабочие, главным образом иностранцы. Среди них были немцы, шведы, эстонцы, но мы их объединяли всех одним названием — «немцы». Условия работы здесь были хорошие: рабочие не подвергались унизительному обыску при выходе из завода, в мастерских имелся гардероб для верхнего платья. Рабочие-иностранцы приходили на работу в крахмальных воротничках, в шляпах, некоторые приезжали на велосипедах, а затем, войдя в мастерскую, они переодевались, вешали платье в гардероб и одевали длинные блузы. Во всех мастерских имелись умывальники, казенное мыло и концы чистых тряпок для мытья рук. Заработная плата, правда, на заводе не была выше обычной, но эти внешние условия служили большим притяжением для рабочих. Многие мечтали поступить к Сименс-Гальске.

---

[1]) Этот эпизод я уже однажды пробовал описать в 1909 г., но, к несчастью, рукопись была отобрана у меня жандармами и фигурировала в качестве вещественного доказательства на суде в судебной палате под председательством небезызвестного Крашенинникова. Помнится после того как мой защитник адвокат Новиков произнес речь, в которой доказывал, что я самый честнейший человек в мире, прокурор встал и иронически процитировал то место из рукописи, где говорилось: «...несмотря на то, что я представил самых подлинных лжесвидетелей; мировой судья все-таки приговорил меня к десятидневному аресту...» Мой адвокат был этим обстоятельством очень смущен и уже не пожелал вызвать свидетелей на мою защиту.

Мне в этом отношении повезло: без хлопот, без протекции, я сразу же был принят на работу, сдал пробу, и мне положили четырнадцать копеек в час жалованья. Кроме того была и аккордная выработка, так что в общем получалось около двух рублей в день.

Здесь я познакомился с двумя молодыми рабочими — модельщиком Христофором Маракасовым и слесарем Павлом Смирновым. Сначала мы вместе довольно часто сходились на квартире у Маракасова, а затем наняли большую комнату и поселились все трое вместе. У Смирнова были связи со студентами, которые изредка приходили к нам на квартиру; мы их угощали чаем и вели беседы на различные политические темы. Однажды кто-то из них принес нам книжку Степняка «Подпольная Россия». Многое в ней для нас было непонятно, особенно теоретические рассуждения, но отдельные рассказы, эпизоды из революционной жизни, характеристики произвели на нас очень сильное впечатление. Было жутко и страшно, и в то же время мы хотели пострадать за общее дело, принести себя в жертву, как те самые герои, о которых говорилось в книжке.

Чаще других заходил к нам Илья Шендриков [1]. Среднего роста худенький, с маленькой бородкой и длинными волосами, живой, горячий, он часто развивал перед нами самые страшные террористические планы. То он говорил о том, что хорошо было бы изобрести такое электрическое ружье, которое невидимо могло бы поражать жандармов, шпиков и власть имущих вообще. То он проектировал бросить сильнейшую взрывчатую бомбу в Государственный совет или же еще в какое-либо учреждение, где собираются высокопоставленные лица и всякая знать. Часто между ним и другим студентом Корякиным — высоким, лохматым, одетым в сюртук — возгорались жаркие споры, которые для нас были малопонятны.

Для меня все это было ново, волнующе-интересно, высоко поднимало над всем окружающим, ставило передо мною целый ряд новых вопросов и возбуждало жажду знания. Шендриков, Корякин и другие студенты, с которыми я в первый раз в жизни встретился, казались мне людьми необыкновенными, держащими в своих руках все знания и имеющими готовые ответы на все вопросы. Я им завидовал и в то же время чего-то боялся и в чем-то сомневался. В их среде я не чувствовал себя так просто, как среди своих же собратьев-рабочих.

Как-то однажды Шендриков, зайдя к нам, предложил мне поехать с ним в Таицкую санаторию, где лечился больной студент Корякин. Я охотно согласился, одел свой праздничный костюм, крахмальный воротничок, и мы с ним отправились на вокзал. Дорогой мне Шендриков сказал:

— Так как в санатории будет много публики, с которой вам придется знакомиться, я буду вас рекомендовать не как рабочего, а как фармацевта.

Слово «фармацевт» я первый раз услышал, а значение его совсем не понимал. Но из ложного стыда я не решался спросить у Шендрикова разъяснения и сделал вид, что понимаю. В санатории нас встретил обрадованный Корякин и повел по огромному зданию показывать различные достопримечательности. Погуляли немного в лесу. Потом пошли пить чай в общую столовую, где собралось много народу. Затем какая-то приезжая дама играла на рояле. К Шендрикову подходили знакомые студенты и о чем-то толковали с ним. Со всеми он меня знакомил, очень неясно произнося мою фамилию. Подошел к нему также студент-медик в форме, которого я принял за офицера. Познакомились. Он спросил, чем я зани-

[1]) Это тот самый Шендриков, который в Баку играл авантюристически-предательскую роль. В Сибири в 1917/1918 гг. он просто стал прохвостом.

маюсь; я сказал: «фармацент». Он улыбнулся и, отведя в сторону Шендрикова, о чем-то с ним пошептался. Смущенный Шендриков подошел ко мне и сказал, что этот студент очень усиленно расспрашивал, кто я, потому что слово «фармацевт» я неправильно произношу. Это обстоятельство меня настолько расстроило, что я начал делать одну неловкость за другой и в конце концов попросил Шендрикова скорее отсюда уехать. Последний начал меня успокаивать и уверять, что из этого никакой неприятности не произойдет. Впоследствии Шендриков довольно часто навещал нас и всякий раз делал попытки затащить меня в какое-нибудь общество, но после случая в Таицах я решительно отказывался.

Христофор Маракасов познакомил нас с чертежником Балтийского завода Василием Ивановичем Рябовым. Он был очень живой, остроумный, жизнерадостный малый, больше нас начитанный и имевший также связи со студентами. По его предложению мы образовали небольшой кружок и в неделю раз сходились, беседовали на злободневные темы или же читали какую-нибудь статью из журнала или книжки, которую нам комментировал и разъяснял Рябов. В политических группировках в то время из нас никто не разбирался, поэтому нередко мы читали статьи или рассказы из журнала «Русское богатство».

Однажды в наш кружок пришел Шендриков и стал нас убеждать образовать кассу взаимопомощи, устав которой он нам напишет. Насколько я припоминаю, в предложении Шендрикова не было ничего политического, а тем паче революционного. То тяжелое положение рабочего класса, о котором он нам рассказывал, мы непосредственно не особенно чувствовали, ибо заработки наши были хорошие, рабочий день также недлинный, а разговоры о нашем быте нам надоели дома и на заводе. От человека со стороны, от студента мы хотели услышать что-нибудь небудничное, новое, которое бы открывало перед нами новые горизонты. Поэтому к предложению Шендрикова мы отнеслись очень равнодушно, хотя из деликатности не возражали и приняли его предложение без споров. Тут же произвели отчисления и передали ему. Впоследствии мне и моим товарищам приходилось неоднократно делать отчисления в какие-то кассы взаимопомощи, которые как таковые нас мало интересовали. Отчисляя же в них взносы, мы имели в виду, что в сущности это не обычные кассы взаимопомощи, а что средства эти идут на цели революционной борьбы.

Приблизительно в это же время к нашему кружку присоединились две женщины, работницы с текстильной фабрики Чешера. Обе они были знакомые Павла Смирнова: Ольга Николаевна Мельницкая и Анна Николаевна... (фамилии ее я не помню). Первая была очень развитая, много читала и имела брата в ссылке — Николая Мельницкого (литератора).

Прежде в нашей рабочей среде по старой рутине женщину-работницу мы рассматривали как существо низшего порядка. Она не интересуется никакими высокими материями, неспособна бороться за идеалы и всегда является лишь тормозом и обузой в жизни сознательного рабочего. Велико было мое изумление и восхищение, когда я в первый раз познакомился с двумя сознательными работницами, которые рассуждали и спорили так же, как и все мы. Мы часто встречались с ними и совершали в праздники большие загородные прогулки.

Жизнь наша протекала бодро, весело, осмысленно, мы радовались настоящему и с надеждой взирали на будущее. Не омрачило нашего жизнерадостного состояния даже и то обстоятельство, что меня опять уводили с завода. Но я вскоре поступил на очень маленький механический заводик Михаэля, где рабочий день продолжался одиннадцать часов. Это для меня

было утомительно, но молодость, здоровье все преодолевали. Бегая по различным связям в отдаленные рабочие районы, я часто не досыпал, уставал, но все же не терял бодрости.

Так прошло лето, приближалась снова зима. Я чаще обычного стал наведываться за Невскую заставу к Быкову, снова напоминая ему об его обещании. В одно из моих посещений, осенью, Иван Васильевич с радостью объявил, что мастер Семянниковского завода велел выходить мне на работу. Радостный, возбужденный, я явился к товарищам поделиться своей удачей. Они очень сожалели, что приходилось расставаться, но я дал им обещание, что, живя и за Невской заставой, крепко буду держать с ними связь.

Из деревни от отца я получил уже два письма, одно тревожнее другого. Ему, повидимому, кто-то наговорил обо мне всяких небылиц и ужасов. В первом письме он призывал меня ходить в церковь, молиться богу, усердно служить хозяину и т. п. А в качестве образца добродетели он приводил в пример себя самого: «Я двадцать пять лет в Питербурге прожил, — писал он, — всего двух хозяев переменил, ни под судом, ни под следствием не был, в участке не ночевал, а ты, негодяй, не успел в люди выдтить, а каждый месяц места меняешь. Дождесся скоро тебя хозяева от ворот метлой будут гонять»... Второе письмо было еще более грозное, в нем отец уже категорически требовал моего исправления: ...«А если ты, негодяй такой, не остепенисся, то я тебе пачпорту не дам, а потребую тебя домой по этапу, а когда тебя домой пригонят, сам розгами выдеру тебя в волостном правлении при всем честном народе»...

Получив это грозное письмо, я всерьез забеспокоился, тем более что срок моего паспорта подходил к концу. Правда, я знал, что отец не приведет свою угрозу в исполнение, хотя по тем временам имел полную возможность ее осуществить, и подобного рода случаи я сам помнил. Я знал вспыльчивый, но и отходчивый характер отца. Написал ему успокоительное письмо, послал десять рублей денег, и отец немного успокоился.

(Окончание следует.)

ЗА РУБЕЖОМ

Стамбул и Турция.

(Окончание.)

П. Павленко.

День республики.

«Одно я знаю наверняка, — говорит Эверс в своей «Индия и я», — Индия не имела истории. Или нет: у нее есть, пожалуй, история, но только не для себя, а для других народов».

То же самое я сказал бы о Турции. Ее история существует для англичан, французов, немцев, американцев. Но только не для турок. Все события прошлого для турка только тяжелый сон. Турок не ведает своего прошлого, и сегодняшнее служит ему одновременно вчерашним и завтрашним.

Что знал о своем прошлом невежественный и нищий подданный падишаха? В его мозг вместе с первой памятью вошел тяжелый синодик падишахов, с изуверствами которых была связана сказочная быль прошлого. Войны, завоевания, поражения, реформы, угнетения — все это были явления какого-то высшего, необъяснимого порядка. Память о прошлом умирала, однако, вместе с людьми, и все сегодняшнее воспринималось само по себе, вне всяких традиций.

Турецкая история существовала для иностранцев. Для них она оказывалась целой сокровищницей исторических откровений. Турецкое общественное право, философия османского искусства, турецкая государственность — все это были вещи высокого любительского порядка для целых поколений европейских исследователей Востока.

Но сама Турция откровенно не ведала ни о существовании общественного или иного права, ни о традициях своей государственности. Из столетия в столетие она только и делала, что чрезвычайно заботливо сдавала свое устроение с торгов. Подрядчиками были люди дела. Они не копили традиций и не занимались колупаньем прошлого. А страна жила «себя не помнящей».

Ее политическую биографию писали во всех четырех измерениях. И измерений нехватало. Каждый пытался облупить ее до сердцевины, но у каждого исследователя была своя ориентация, и ориентация эта, как ядро на ноге каторжника, не давала шагнуть свободно. Точки зрения на Турцию плодились и размножались. Точки зрения вели между собой борьбу, иногда переходившую в войну стран. Грязь и вонь восточного быта, кошмар пороков, выросших из многобрачия, разнузданность нравов,— все то, что яростно клеймила мораль европейской цивилизации, приобретало в Турции, в Стамбуле аромат какой-то утонченности, примесь какой-то

мистической глубины так называемого восточного быта. Я не знаю, что подумали бы турки о себе, если бы они прочли все, что о них писалось сладкопевцами вроде Пьера Лоти на протяжении многих веков султанского эпоса.

Всего они прочесть не удосужились, но Лоти они прочли и запомнили. Едва ли до этого кто-нибудь из них предполагал, сколько можно найти поэзии и лирики в грязных извилинах их полукультурной скотской жизни. Оказалось, что тонкий и балованный вкус европейца находит лирику даже в том, что откровенно отдает гноем.

Анатолия, т. е. всамделишная Турция, пришла к революции «голенькой». Без никакого багажа.

Традициям султаната, если они до этого и были, пришел конец. А новое и вправду было новым и завоевывалось с удара. И настоящая турецкая история началась только со смерти султаната, ей четыре года, и только в этих годах, только в них могут найти пищу для восторга и удивления те, кто искренне считают себя друзьями Востока. Ибо те, кто продолжают ловить рыбу в мутной водице османизма, — не могут любить Турции живой, настоящей, такой, как она есть сейчас.

Впрочем, все это пока предисловие. К крохотной бытовой теме о том, как праздновался день четырехлетия республики, подойти чрезвычайно трудно. Ибо это не был праздник по традиции, такой праздник, который устраивается больше всего из соображений официального характера, для чиновников да дипломатического корпуса. Это был экзамен правительства перед народом.

Ко дню республики готовились внимательно и нервно. Еще бы! Эта годовщина проходит в обстановке особенно торжественной. Подумать только, сколько пережито! Французские интриги в Сирии, английские в Месопотамии, бойкот европейских держав, эмиграция капиталов, разрушение экономики, провокационная работа вселенского патриархата, курдский путч, Моссул и т. д. и т. д.

Недели за две до дня республики стал вырисовываться символ, под которым пройдет праздник. Символом этим должна была явиться реформа головного убора. Недели на две особым декретом было объявлено о полном и безоговорочном изгнании фески из турецкого быта. Последним днем ношения ее объявлен был канун праздника. Декрет комментировался распоряжениями префекта. Обстоятельно объяснялись ритуалы поклонов, преподавались правила обращения со шляпой, — и вот фетровая шляпа и кепи стали предметом первой необходимости. Они появились в мясных, в парикмахерских; связками, как серые губки, облепили витрины сапожных магазинов. Как фрукты, их продавали в корзинах уличные торговцы. Упрямые носители фесок испытывали злой остракизм толпы. По вечерам, в глухих улицах Стамбула полицейские палками напоминали о том, что феска на самом деле кончена.

«Какие причудливые люди, — говорит К. Фаррер о стамбульской толпе до революции, — какие странные расы, — фески, тюрбаны, меховые колпаки, каскеты, шляпы, чарчафы и другие головные уборы являются чем-то вроде ярлыков с обозначением происхождения на головах этих мужчин и женщин, прибывающих из далеких, неведомых стран; однако так как в Турции фески носят не только мусульмане, но вообще оттоманские граждане, то число их всегда преобладает — и они, как множество пунцовых маков, красиво колышатся над пестрой толпой».

Правда, писалось это давненько. С тех пор многое изменилось. Появилась кемалистская папаха, армия получила кивера и картузы, железнодорожные служащие — колпаки с козырьком. Улица стала серее, ровнее, обычнее. Сравнительно, конечно.

Года два тому назад в глухих переходах пестрого стамбульского базара — Чарши европейскую шляпу встречали свистом: «Долой гяуров! Долой шляпу!» Если дело было вечером, вдалеке от полицейского поста,— то прикладывали и руку. С европеянок срывали шляпы. «Вон из Стамбула, грязные твари!»

Это было два-три года тому назад. Уже при республике. В Стамбуле, в столице, где живут грамотные, бывалые люди. А теперь — в солнце прекрасного, будто весеннего дня течет солидной суетой город новеньких фетровых шляп, котелков и цилиндров. Даже нищие и те в картузах. Школьники — в каскетках. Дамы — с открытыми лицами. Чадра, выродившаяся в чарчаф — простую косынку, — повязана кокетливым тюрбаном — прообразом будущей первой шляпы, которую оденет турецкая горожанка.

По улицам-колодцам толпа «в обновках» стекает к Галате и через мост уходит в глухие катакомбы Стамбула, чтобы вынырнуть бурливым морем на классической, на святой земле ипподрома Византии — теперь площади Султан-Ахмет. Там, на месте, где конные ристалища белых и голубых решали судьбы спортивно мыслящих базилевсов, где милые монашествующие старики спорили об ипостасях и дракой решали твердые канонические правила, где Юлиан Отступник реставрировал эллинизм маскарадом чудесных вакхических действ, — стоят одинокие и временем обезличенные памятники далекого прошлого. Такие трогательные в своей простоте и грубые, как киликийские пастухи, дремлют: обелиск Феодосия и рядом с ним Змеиная колонна. Для той части человечества, которая сделала своей религией поклонение памятникам прошлого, и монолит Феодосия и Змеиная колонна — святыни очень почтенные. Еще бы! Обелиску Феодосия стукнуло уже семнадцать веков до начала нашего летоисчисления (чтобы вы не ошиблись — помечу: 1 700 лет до начала нашей эры). Когда-то, двадцать семь веков тому назад, жители Гелиополиса совершали перед ними моления солнцу. Ветхие иероглифы еще и до сих пор рассказывают прекрасную историю этой солнечной молодости. Феодосий Великий перетащил 600 000 килограммов сплошного гранита на ипподром Византии. Змеиная колонна — остатки треножника из храма Аполлона Дельфлйского. Она имеет какое-то отношение к дельфийскому оракулу. На изгибах змеиных тел греческие надписи указывают имена городов победителей при Саламине и Платее. Есть еще и другие памятники. Какой-то не то глобус, не то гриб из мрамора — подарок Вильгельма.

В гранит обелиска, в бронзу колонны, в мрамор памятника бьется толпа. Группы, одиночки, делегации. Вот рабочие-металлисты. Они несут эмблемы своего труда — наковальню и молоты. Красные полотенца плакатов, распростерших руки над толпой, испещрены трогательными надписями-пожеланиями: «Да здравствует Турецкая республика!», «Пусть не будут забыты рабочие!» Двигаются процессии школьников. Школьницы — в шляпках. Бьют барабаны бойскаутов. Чеканит землю дружный топот спортсменов. Позвякивая оружием, вливаются в бурное море «штатской толпы» войска. Совсем, как у нас. Особенно обманывают красные знамена.

В этот день хочется видеть Турцию не на параде, а в простой, будничной обстановке. Есть ли праздник в этот день для тех, кто никогда не

оставляет труда? У пыльных набережных Галаты, где грузятся и разгружаются пароходы, труд не останавливается даже на ночь. Но сегодня и там пустовато.

Хаммалы в блестящих кожаных картузах или широких шерстяных кепи; служащие надели какие-то розетки в петлицу; на улице предприимчивый торговец показывает толпе любопытных содержание своего лотка — дешевые жетоны с портретом Кемаля в середине.

Сегодня иностранцы не успевают переживать своих впечатлений. Их кодаки работают, как пулеметы. Ведь в самом деле — это первый праздник улицы. И притом — костюмированный.

Белый подполковник, комиссионер по подысканию квартир, встретил своего клиента, советского работника, и весело приветствует его.

— С праздником! Замечательная картина. Никогда, уверяю вас, не поверил бы, что можно так быстро менять бытовые обычаи. Вы посмотрите, это — почти европейцы. Молодцы, ей-богу!

— У нас, полковник, найдете получше.

— Сказали тоже... у нас. Здесь — это прогресс, понимаете, движение, а у нас... извините... совсем другое дело.

Толпа течет и течет в бассейн Айя-Софии. Грохот потрясает воздух. Это приветствуют цилиндры отцов города. Уже нет места на площади Султан-Ахмед, она заполнена чуть не в два яруса; балконы соседних домов и заборы почернели, набухли и шевелятся. Медленная зыбь направляет толпу в русло соседних улиц — к прекрасным площадям Баязета и Фитих, к уюту ароматных кофеен, где внимательный и быстрый «кафеджи» сейчас же зажжет наргилэ, расскажет новости, которые будут напечатаны только в завтрашней газете, и найдет партнера для долгой партии в нарды.

Дети еще долго будут маршировать по улицам. На барабан бойскаутов из темных уличек вылезают оставшиеся сторожить квартиры. Они совсем не видели праздника и с нескрываемым удивлением едят глазами ребят в галстуках и показывают пальцами на шляпы учителей.

На маленькой пристани Айван-Сарай на берегу Золотого Рога под бубен поют цыганки. Пестрые платья раздуваются по ветру и открывают смуглые ноги без чулок, на которых ненужно торчат затрепанные европейские туфли на высоких каблуках.

Через две пристани от Айван-Сарая — Эйюб, Ватикан Стамбула. Он лежит на окраине Стамбула, в глубине Золотого Рога. Всего сорок минут езды на пароходе до Галаты, а какой контраст с тем, что происходит в городе! Там — шум, движение, музыка, процессии, там — праздник, а здесь — очень многие в фесках. Вызывающе проходят по уличкам. Может быть, даже хотят скандала, чтобы открыто «пострадать» за феску. Муллы закрыли тюрбаны каскетками. Старики во дворе мечети — продавцы ароматических масел — накинули на фески клетчатые платки и плоские матерчатые шляпы. Молящихся нет. Даже женщины сегодня вместе с толпой. И во дворе мечети Эйюба, белом мраморном ящике, царит пустое и гнетущее безмолвие.

Это — самое святое место Стамбула и всей Турции. Здесь похоронен Эйюб — Ансар, знаменосец пророка, павший при осаде Византии арабами. Над его могилой Магомет Завоеватель построил самую старинную мечеть Стамбула. Вокруг нее печальным лесом раскинулось кладбище. одно из самых старых и аристократических. Здесь покоятся роды и роды родов именитейших сынов прежней Турции, султаны и дервиши, полководцы и одалиски, рабы и поэты. Величественный Трианон мертвых.

Но это не только самое святое, это и самое высокое, в смысле политическом, место. Что-то вроде нашего Успенского собора в Москве. Здесь,

в мечети Эйюба, челебей — глава танцующих дервишей — опоясывал султана мечом Османа Первого. Здесь, как в музее, — запечатлена в вещах и памятниках вся история блестящих падишахов.

Эйюб — город мертвых и умеет любить мертвое. Эйюб — за старое, за свои могилы. За историю, написанную на памятниках, за спокойный порядок и дедовские обычаи. Дервиши сегодня совсем не вышли на улицу. Их высокие колпаки — вроде тех, что у нас когда-то носили бояре, — слишком бросаются в глаза. Не стоит делать демонстраций. Живописные старики во дворе мечети, — волшебники с кудрявыми бородами до колен, мастера изготовлять хитрые ароматические масла и духи, — покрыли головы тряпками и скучно, словно стыдясь друг друга, перебирают сандаловые четки. Голуби, которые здесь так же нужны, как и площади святого Марко в Венеции, голодны и беспокойно шныряют взад и вперед. Им придется поголодать. Старушка, что продает у стены пшено и кукурузу, давно закрыла рундучок и ушла дремать на ароматное солнышко кипарисного кладбища.

Да. Здесь это день пустого безделья.

Вечером город иллюминован. В Стамбуле, в Галате, на Пера, в Шишли — всюду ворочается галдящая экспансивная толпа. Проходят школьники со знаменем. Вся публика останавливается и аплодирует им. Проезжают ряженые. На белой колеснице провозят девушку всю в белом, с алым знаменем Турции в руках. Снова гремят аплодисменты. Толпа, наэлектризованная обстановкой, дрожит.

Крики: «Да здравствует великий непобедимый Кемаль!», «Да живет республика!»

Смех: человек в сутане, францисканец, переходит улицу. «Долой попов!», «Долой иностранцев!», «Поезжай к себе домой!», «Да здравствует Турция!».

Во всех кино дают картину: «Поездка Мустафы-Кемаль-паши по Анатолии». Когда на экране появляется высокая сухая фигура президента, делается что-то невероятное. Оркестр играет «Марш независимости», все встают, кричат, смеются. Мустафа-Кемаль в сером английском костюме, с котелком в руках проходит по улице какого-то города. Видно, как ревет толпа — там, в маленьком каком-то городке Анатолии, и видно отлично, какая она нарядная и праздничная.

Движется лента, и Кемаль много раз уже уходил и приходил, садился и вылезал из машины, кивая головой в сторону публики, и опять уезжал на автомобиле, а партер требует повторения. Мустафа-Кемаль — хозяин сегодняшнего праздника.

«Варяги» в Стамбуле.

О русском Константинополе когда-нибудь напишут большую и разностороннюю монографию. В этой монографии найдут себе место и серьезные исследования социологов и психиатров, и будничные фотоэскизы журналистов и полицейских чиновников.

За свою жизнь, богатую превратностями, Стамбул не раз и не два побывал в руках иностранных опекунов самой невероятной масти. Ведь было время, когда он подчинял свой быт мудрым законам арабского жизнепонимания. Потом персидский слащавый стиль наполнил десятки страниц его истории. Арабо-персидская комбинация, настоенная на ветхих традициях покоренной Византии, создала то, что обычно называют чисто

турецким стилем в искусстве и в жизни, но этот турецкий стиль не был однажды и навсегда оформлен в твердых рамках определенных эпох, как нечто законченное, — он изменялся вместе с летами, вбирая в себя новые и новые краски.

Первый европейский язык, который узнали турки, был английский. За языком пришли привычки. Искусство курить трубку и плеваться пришло, я вас уверяю, вовсе не с Востока.

За англичанами в Стамбул вломились французы. Французы принесли с собой аромат и ритм настоящей, что называется, Европы, научили беспринципному нигилизму и любви к дешевым материальным удовольствиям. Это от них научились турки легко заражаться сифилисом и потом лечить его спустя рукава. От французов же и гаремы, как мы их знаем. Интерьер гаремов, костюмы дам-затворниц, бутафория сумасшедшей любви — все это продукт веселого парижского «жеманфишизма». Французское влияние пустило здесь глубокие корни. Никакие политические альянсы не стерли следов галльской резьбы на апатическом характере турка. Даже германское влияние, о котором говорилось так много страшных вещей, не вытравило его, не заменило и коснулось лишь одной внешней формы.

Молодое поколение турок перед мировой войной представляло удивительную смесь. Воспитанные во Франции думали по Жоресу, зачитывались Анатолем Франсом, мечтали о создании у себя дома такого же беспринципного режима, как французский, и исповедывали, насколько позволяли обстоятельства, верность тройственному согласию. Те же, которые получили воспитание в Германии, думали прямо противоположно.

Они, впрочем, не отличались особенным лоском образования, в литературе были несведущи, никакой философии кроме вульгаризированного в пивных Ницше не нюхали, политикой интересовались неглубоко. Единственное, — но это, конечно, немало, — они умели работать. Турки — врачи, инженеры, военные, пробывшие в Германии пять-десять лет, — привезли оттуда и посеяли на турецкой почве умение много работать и умение спокойно и твердо жить.

Всего меньше оказалось энглизированных турок, но все-таки были и такие.

Было много и таких, что проходили горький путь науки в мудреных школах своего отечества, либо в колледжах шведо-испаньольского типа, либо в духовных семинариях Шейх-уль-Исламета, вынося из тех и из других одинаковую по эффекту ненависть к человеческому знанию, страх перед всем иностранным и тупую веру в особые, таинственные, одним восточным людям ведомые, судьбы «Блистательной Порты» — своей родины.

Подобно им думали и те, кого каприз мужественного мецената или соизволение родителей бросили в магометанские академии в Каире и Дамаске, в ордена багдадских дервишей или в школы мечтания алжиро-тунисских праведников. Неудивительно поэтому, что во время войны какой-нибудь восторженный франкофил—турецкий офицер добровольно сдавался русским отрядам в то самое время, когда его товарищ в Сирии выкалывал глаза детям из французских пансионов, а третий закалывал товарища по полку всего лишь за одну симпатию к западническим идеям.

Война закончилась. Стамбул перегрузил себя иностранцами. Французский язык и от Франции занесенные повадки вновь легализовались, как будто бы ничего не случилось. Иначе и не могло быть. Вся турецкая литература сегодняшних дней — отпрыск французской литературной школы. Самые популярные писатели турецких верхов — Пьер Лоти и

Фаррер. В Стамбуле есть (да были и во время войны) улицы, названные их именами.

В этот момент, в момент особенного спроса на все западное, по которому соскучились за годы немецкой опеки, и пришли в Стамбул русские.

Впрочем, я сделаю еще одно отступление от темы. Два слова о качестве французского влияния, чтобы понятнее стало принявшее столь чудовищные формы влияние русское.

«Французское» поступало в Турцию теми же путями, какими оно в сороковых годах просачивалось в старую Россию — либо через молодежь, воспитанную за границей, либо все через тех же милых пройдох — заштатных аптекарей и парикмахеров, которые воспитали у нас многие поколения помещичьего дворянства. Большие люди не попадали на Восток, сюда доходили лишь дорогие товары. На большой улице Пера запросто продавали парижские духи лучших марок, и гаремные дамы среднего достатка небрежно носили на плечах, как будничный наряд, дорогие венецианские шали. Но больших людей было всегда немного. Впрочем, в Турции, в Стамбуле нужны были всегда скорее люди среднего масштаба — те, кто могли бы быть работниками, а не хозяевами. Иностранец, тем более француз, расценивался очень высоко и никогда не опускался до низов жизни, все время скользя где-то поверху.

И в этот момент пришли русские. Даже не пришли, а ввалились. Молва утверждает, что было, по меньшей мере, двести тысяч. В конце концов любой из этого двухсоттысячного табора был культурнее любого из всех десяти миллионов турецких низов и середины. Из двухсот тысяч на верхах турецкой жизни нашлось место для избранной тысячи, все остальное, шагая друг через друга, распределилось на тех социальных ступенях, куда еще не опускался, пожалуй, ни один мало-мальски уважающий себя иностранец.

Социальная пестрота эмигрантского табора привела к некоему искусственному отбору, после которого оказалось, что каждый класс турецкого общества вобрал в себя то, что нужно и интересно. Больше всего выпало на долю городских низов, и эти низы, давно ждавшие хорошего со стороны, в первую очередь вдруг оказались глубоко и надолго руссифицированными. У константинопольских дворников объявились русские жены, в ресторанах пристроились повара славной московской школы, на открытых сценах появились русские изящные дамы, притом в таком количестве, которого никогда еще до того не знал Стамбул. Конечно, заезжали сюда красавицы из венской оперетты или парижских шантанов. Но ведь то были одиночки — и редкие. Красивая женщина здесь редка, как чистопробный жемчуг. Еще реже — развитая. Еще реже — и то и другое вместе. Мода на русскую жену (прошлое не имеет значения) получила широкое распространение. Были случаи (герои их живы), когда стамбульские миллионщики в погоне за настоящей русской подругой вступали в брак с отважными полковыми стряпухами или «сестрицами», а потом нанимали для них гувернеров из французских колледжей. В прошлом году на улице показали мне шофера-капитана. Он служит по частному найму у своей бывшей прислуги, которая теперь замужем за богатым греком, — этот капитан передал и свою жену за отступное племяннику грека и скоро покупает собственную машину для биржи.

Я не знаю, сколько могло бы быть женщин из всего числа бежавших в Турцию, но предположим, что только десять тысяч. Десять тысяч женского пополнения. И какого? Все это были если не верхи, то уж по крайней мере—хорошая серединка. Простой публики побежало не так-то уж много, потом все больше мужчин. Эти десять тысяч женщин, сравнительно

интересных, сравнительно развитых, сравнительно культурных, вызвали настоящую революцию быта. Теперь уж не в диковинку, когда какой-нибудь турецкий Кит Китыч ищет себе учителя русского языка и, торгуя на Гранд-базаре поддельным янтарем, терпеливо зубрит головоломные русские спряжения глаголов. Он зубрит, если даже и не женат на русской. Пригодится когда-нибудь.

Люди, вывезшие капиталы, сейчас же открыли магазины. За все существование свое Стамбул не запомнит такого кошмарного количества антикварных и меховых магазинов, какое развелось за эти годы. Там торгуют старыми университетскими значками, потертыми обручальными кольцами, поломанными или целыми «Станиславами» и «Владимирами», фамильными иконами, серебряными чайными сервизами старой солидной работы, подержанными палантинами из горностая и собольими шубами — этой тяжелой и пыльной роскошью «хороших» домов.

Люди, привезшие капиталы, скупали у людей, не привезших ни гроша, их последние драгоценности и продавали туристам и туркам. Серебро русской работы стало модным. Янтарь, вывезенный из России, оказался самым дорогим, часы Павла Бурэ получили ничем не омрачаемую прочную известность.

Рядом с этими магазинами открылись другие — для честного обслуживания ни на одном языке не говорящей эмиграции. Мелкие ювелиры, часовые мастера, сапожники, портные. Надо думать, что в Стамбуле до тех пор не было настоящих мастеров, потому что не успели новые устроиться, как перетянули к себе всю широкую клиентуру. Здешние старожилы, например, и впрямь утверждают, что до прихода русских обыватель не знал вкуса хороших пирожных или взбитых сливок. Добавим ко всему этому ароматные шашлыки, которыми кормят здесь публику именитые грузинские князья.

Но не одни шашлыки и пироги с вязигой создают, в конце концов, мнение улицы. Чорт с ними, — с шашлыками. Белый эмигрант втерся глубже в самые деловые каналы жизни: на бирже он дирижирует спекулятивной горячкой и сидит в меняльных лавочках, играя долларами и пезеттами, будто ничем иным никогда в жизни и не занимался; в турецкой высшей школе он систематизирует библиотеки и собирает гербарии; он — шоффер в богатых семьях и имеет отличные связи в полиции, он, наконец, всеведущий комиссионер и снабжает старых стамбульских снобов разной дребеденью, начиная со «старинного» боярского серебра и кончая усовершенствованными подметками из прессованной бумаги. Эмигрант проник во все видимые и невидимые щели турецкой жизни, голодной на сметливого человека, и устроился в этих щелях, как хороший домовитый паук.

Но речь у меня не о достоинствах эмигрантского хребта, не об испытанной русской сметливости, которую нынче хотят сделать осью «славянской мистической души». Все дело в том, что эмигрантов было много и они были пестры по своему социальному весу. Могу вас уверить, что те же двести тысяч (примем на веру) немцев германизировали бы Стамбул в двадцать, в сорок раз сильнее русских, но вот в том-то и загвоздка, что немцев, как, впрочем, и англичан и французов, было испокон веков здесь так немного, что их нехватало для потребления верхов. Раз за всю свою историю Турция получила иностранное вливание в такой необычной дозе, и русским духом, естественно, запахло, как начинает пахнуть изо рта чесноком после впрыскивания мышьяка.

И все-таки. Русский грузчик, который работает по двенадцати часов в сутки на пристанях Золотого Рога, не утверждает никакого русского

влияния. Портной «Емтов и сын», чьи пиджаки дерзновенно разгуливают по большой улице Пера, тоже, извините меня за упрямство, не утверждает русского влияния. Точно так же и университетский библиотекарь, и полицейский филер и галатский меняла. Одни рекомендуют себя подлецами, другие, что, впрочем, значительно реже, хорошими работниками. Одни учат сноровке и сметливости, другие являются живыми примерами опрощенства и моральной распущенности.

С некоторой оговоркой эту роль можно признать за искусством балета, оперы и живописи. Последнее поколение русской дореволюционной сцены, действительно, гремит по всей Европе. Пьесы русских авторов становятся популярными, русские артисты — любимыми, русская музыка — общепризнанной, русские художники — самыми модными.

Наивны те, кто хоть раз возрадуется этому влиянию русских людей в жизни Турции. Говорить о руссификации могут, конечно, многие, ибо национальная гордость — столь же свойственное чувство у большинства обывателей, как, скажем, икота — чувство насыщенности у дикарей.

Но я вот не радуюсь. Я знаю, что ничего нет худого в том, что турки читают Толстого и Достоевского, что они полюбили музыку Чайковского, что они отлично знают и ценят наш старый балет; неплохо и то, что русские ремесленники приучили Стамбул к хорошо сделанным вещам, а русские дамы — к отлично организованным удовольствиям.

В истории наших взаимоотношений с кемалистской Турцией эмигрантская пропаганда российского величия и российской мудрости скажется как препятствие, а не как помощь. И лучше уж было бы, чтобы турки не знали Чайковского, но не знали бы заодно и многого другого, чему научили их изгои русской общественности.

Искусство изнутри.

В Стамбуле, в Сиркеджи, в громадном доме Сосьете де Ке издавна прижилась ковровая биржа. Стамбул — старейший рынок ковров. Сюда приходят ковры из Туркестана и Персии, Индии и Аравии, Китая и Японии. Здесь, в таможенных складах Сосьете де Ке, они растюковываются и складываются в колоды, как большие игральные карты, по сортам, видам и родам. Сюда приезжают покупатели из Америки и Англии, они рассматривают каждую штуку на свет, ковыряют пальцами узлы, растягивают ткань на изломе, чтобы проверить добротность пряжи, «пробуют» краски кислотами и увозят на свои рынки десятками тысяч штук произведения азиатских деревень.

Ценится ковер, сотканный тонко и крепко, с 20—30 узлами в квадратном сантиметре, окрашенный растительными красками, убранный старым оригинальным орнаментом. Но растительных красок нет, они дороги, а немцы привозят втридешева анилиновые, легкие и нестойкие; старый орнамент забыт или отброшен сознательно из-за сложности, а немецкий фабрикант присылает даром альбомы ходких рисунков — плод быстротечной городской моды, и мастер работает «под немца» — на анилине и шаблонном рисунке. Чтобы сделать дешевый ковер полноценным, в трущобах коврового дома есть фабричка. Там из юных и анемичных ковриков делают старые, мудрые вещи. Ковер, химически окрашенный, с рисунками из журнала кройки и шитья, с дешевой бумажной основой бросается в ванну из хлора. Босые ноги рабочих мнут и треплют ковер в хлорной ванне до тех пор, пока он не перестанет кровоточить красками, а ноги рабочего

потеряют чувствительность и под ногтями откроются ранки. Тогда из хлора ковер вынимают и опускают сполоснуть в чистую воду. Из чистой воды — в другой раствор из дубителей, там отвар гранатовой коры закрепит на шерсти несмытый остаток цветов. Ноги рабочих станут жестки, как терка, но будет мягок и скользок ковер. Потом его пошлют на стальную лежанку, после лежанки под горячий утюг, и наконец, мастер с кистью в руке нагнется над вымученным полотнищем и нанесет на потускневший и ржавый от кислот узор новые линии. Розы или эмблемы роз он умело претворит в ирисы, крикливые тона затушует, плеснет зеленью на мрачный фон, стилизует под старину. После жесткою щеткою поднимет ворс и по ворсу пройдется огненной струей калильной лампы — ворс обгорит и станет старым, а краски, подгорев, приобретут возраст и мудрость. Отсюда, ковыляя на ногах с вывороченными ногтями, рабочий отправит постаревший ковер наверх, в конторы хозяев, чтобы он был продан раз в пять дороже прежнего, а сам, благодаря судьбу за прожитый день, получит ночью шесть алюминиевых гривен за двенадцать часов служения искусству и рынку. В камерах с хлорными ваннами воздух прян и горек, и свежие люди кашляют здесь, как старые козы. У старых рабочих нет на пальцах ногтей, а между пальцев — вечный студень гноя и крови. На «постарении» ковра, сколь бы дорог он ни был, гной не отражается, к счастью.

В Америке недовольны и этим. Там много шалых денег и еще больше шалых людей — и ковры для Америки покупаются только по размеру. Рисунок, возраст, краски — не имеют значения. Мне рассказывал старый ковровщик Алтунян такую историю. Недавно, после войны, из Америки поступает запрос на ковер, безразлично какого типа и сорта, — размером 10×15 метров. Такие размеры редки, и ковры этих размеров необычайно дороги или дешевы, середины нет. Либо ковер стоит многие тысячи, и тогда это произведение чудесных рук и большого вкуса, либо он оценивается в сотни лир, являясь грубым полотнищем с очень дурною внешностью. Америка приказывает найти 10×15 за самую дешевую цену. Нашли и послали. Оказывается, к фирме этой, где-то в Америке, в Нью-Йорке, является управляющий имениями некоей богатой и сумасбродной американки и передает эксперту фирмы рисунок от руки.

— Мистрисс видела во сне, — говорит он, — сцену из «Шехерезады». Она запомнила и сумела, проснувшись, набросать рисунок чудесного ковра, на котором она лежала во сне. Мистрисс хочет иметь этот ковер, размер десять на пятнадцать.

— Но, ведь, это был ковер во сне? — удивился эксперт.

— Мистрисс хочет...

— Я понимаю, — ответил эксперт. — Но такой ковер надо найти. Безусловно ковер подобного рисунка должен где-нибудь существовать. Я просмотрю каталоги и извещу вас.

Посетитель ушел. Эксперт вызывает художника.

— Видите эту белиберду? Надо сделать хороший рисунок по этой чепухе. Лучше. Богаче.

Через двадцать четыре часа рисунок был готов. Фотография рисунка посылается заказчице. Посланный объясняет:

— Мы нашли этот рисунок среди очень старых и редких исфаганских ковров двадцать пять на сорок. Цена фоб Нью-Йорк десять тысяч долларов. Через месяц.

Дама платит. Фирма шлет телеграмму в Стамбул — купить ей полотнище 10×15, безразлично какого сорта. Потом на фабрике, под страшным секретом, снадобьями, составляющими гордость и собственность фирмы,

ковер обесцвечивается вовсе. Остается серое или кремовое полотнище. Химическая премудрость и крепкие ноги рабочих изгоняют искусство с полотнища пряжи. А там, в Америке, особой машиной — тоже гордость фирмы — особым таинственным способом печатается на чистом полотнище нужный рисунок. Он держится не более десяти лет. Через десять лет от ковра останется старая грязная тряпка.

Восток кустарен, и вещи делаются здесь под гипнозом возмутительнейшего пристрастия к мелочам компановки. Вещи делаются не для чего-нибудь, а просто — очень сложно и затейливо. Мудрствуя лукаво над архитектоникой вещи, мастер не думает о том, нужна ли будет такая сложная трудность в работе вещи. Трудные вещи — дороги и благородны. Хороший мастер делает только трудные вещи.

В Чарши, на большом базаре Стамбула, в Безестене — в его святая святых — еще живут и мудрят последние фокусники затейливых вещей, художники выдумки. Они делают ларчики, расписанные стихами из Корана посредством серебряного пунктира. Нужно вбить крохотными молоточками двадцать с лишним тысяч гвоздиков, чтобы получить стихотворный узор на сухом капризном палисандре. Ларчик с узором стоит десять-двадцать бумажных лир. Работает мастер недели две.

В Херике, на азиатской стороне Мармары, еще султаном Абдул-Гамидом построенная фабрика ковров подделывает редчайшие образцы коврового искусства семнадцатого столетия. Громадные плоскости ковров растянуты на станках, как полотна на гигантских мольбертах, и возле станков-мольбертов копошатся девочки-мастерицы. Их шерстяная палитра — комок ниток всех цветов и оттенков — привязана к раме станка. Они ткут и поют вполголоса. Песня ускоряет движение нити, песня корректирует такт работы. Надсмотрщик, старый, пропахший опием пьяница, молча бродит меж станков. Его задача — заставить работать механически, не думая, не соображая, не прочувствуя. Иначе получится не копия, а собственное произведение, едва ли, кстати, удачное. Потому-то на фабричку не берут взрослых рабочих, тем более, если они к тому же еще и хорошие мастера. Взрослый мастер не сможет копировать бессмысленно. Надсмотрщик ходит и смотрит, чтобы мастерицы ткали и пели. Фальшивый тон или заскок в мелодии — ошибка в трактовке нити. Нить, продетая неверно, скомкает песнь. И он слушает, как поют, и идет туда, где срывается песнь: там, конечно, неверен узор. Ковры создаются тысячелетиями, стилей ковров немного, каждый имеет свой музыкальный лад. Порвалась нитка — порвется песня. Ошибка в песне даст кривизну в узле. Другого не может быть.

В Херике, на чудесной фабрике исключительных подделок, девушка-ткачиха получает пятнадцать-двадцать пиастров в день, на хозяйских харчах. Она приходит сюда лет девяти-десяти и уходит, когда ей стукнет тринадцать-четырнадцать. Ее рабочий день — от зари до зари с тремя перерывами на обед и завтраки. В общем чистое рабочее время — девять с половиной—десять часов. Уходя вечерами домой, девушки шатаются и ступают ногами, как будто к их пяткам подбиты подковы. Из них вырастают коротконогие, с широким и деревянным тазом женщины.

На родине Хаджи-Наср-Эддина.

Подобно умирающему в пустыне верблюду, лежит, жалостливо изогнув горбы своих серых улиц, город эпического мудреца, балагура и скомороха, бессмертного в памяти народов Ближней и Срединной Азии, могила Хаджи-Наср-Эддина — тихий и пленительный Ак-Шеир.

Скучные рыжие травы покрывают кажущиеся безлюдными плоскогория, среди которых приютился он; узкие, острые ущелья ползут вкривь и вкось этих бесплодных каменных пространств, они зацвели под солнцем и дождем яркой плесенью и хитро поблескивают зелеными, красными, синими и голубыми красками этой тысячелетней плесени, одевшей старые и мудрые камни ущелий. Поля, убогие и тоненькие, как солдатские одеяла, кое-где прикрыли гранит. В тщете напрасных усилий извлечь из каменной пыли живительный сок пахари скребут их кривыми, деревянными шилами.

Великая тоска витает над этим безлюдьем. Тоска и безволие бедности, у которой нет даже лишнего рубища, чтобы прикрыть им нищету духа, заплесневевшего среди каменной недвижности. Здесь живут тяжелые скучные люди, морщинистые с детства, с глазами неподвижными, как стекло, и головой, твердой подобно бруску дуба. Здесь родятся дети крикливые и беспокойные. Здесь жены сварливы и не блещут красотой, воспетой в анатолийских газелях, а напоминают двуногих вьючных, никогда не выходящих из ярма.

Так вот она какая — эта страна Наср-Эддина, где рождены его неумирающие притчи, вот уже добрых шесть веков пленяющие эпос народов Ближней и Срединной Азии, знакомые болгарам и сербам, ассимилировавшиеся в народном творчестве Кавказа и оставившие след, хотя и утерявший имя Наср-Эддина, в русских сказках и былях. Бездельник, неисправимый циник и веселый балагур, он проник в философию народной литературы всех мусульманских народов и даже их христианских соседей так глубоко, как никто. На дрожжах его местечкового вольтерьянства выросла вся профессиональная литература Срединной Азии конца восемнадцатого и начала девятнадцатого века.

В эпохи, когда гегемония арабо-персидской поэзии заполняла всю область художественной жизни азиатских народов, когда высокий штиль этой поэзии, с ее сложной символикой, с ее отвлеченным от жизни, трафаретным классическим имажинизмом был единственным языком художественной мысли, боящейся, яко огня, реалистических мотивов, — в эти эпохи единственным общественным словом о быте, о живой действенной жизни живых людей были побасенки и анекдоты Наср-Эддина.

В страшный век Наср-Эддина кровь орошала поля Малой Азии подобно весеннему ливню. Дикие нравы господствовали в стране, люди не знали, куда сгибать свои спины и чьи лобызать ступни, — такое было множество опасностей и страстей в повседневности. Политика являлась уделом наиболее сильных, религия переживала период становления догмы и окончательно превращалась из кафедры морального воспитания в духовный департамент полицейского аппарата, официальное искусство окаменело в мертвой колодке неживых арабских шаблонов и, если и продолжало еще господствовать в гаремах и при дворах владетельных людей, то за пределами их почти не сохранило уже никакого влияния на общественные умы.

Между тем суровая характеристика брокгаузовского словаря сухо именует Наср-Эддина всего лишь провинциальным турецким Балакиревым. Наср-Эддин, в противоположность Балакиреву, пришел не сверху, а снизу; он был известен широкому слою средней публики прежде, нежели о нем узнали общественные верхи. Сельские муллы и хаджи утрировали его в своих проповедях, бродячие актеры бережно культивировали его общественные анекдоты и каламбуры, в кофейнях всей Ближней Азии присяжные рассказчики услаждали публику лукавыми повествованиями в его стиле, сделавшемся нарицательным для целой области комедийного рассказа.

Нет сомнений в том, что значительная часть приписываемых ему вещей является созданием коллективным и записали их на него просто по стилистическому признаку, по принципу литературного сродства, но несомненно также и то, что именно он явился отцом и пророком этой литературной школы, натурализовавшей в быту исламистских народов осколки эллинических сказаний, философских арабесок Сократа и Диогена, парадоксов стоиков и эротических эпикурейских анекдотов.

Человек жадный и мелочный, как Плюшкин, и «литератор», столь же неразборчивый в материале, как старик Иловайский, Наср-Эддин сунул в веселый котелок своих рассказов весь типаж арабо-персидской литературы, христианских апокрифов и еврейских саг, благо жил он в стране чудесного прошлого, на дороге больших исторических событий, где еще до сих пор живут предания первых веков христианства и легенды эллинского эпоса.

Серое небо мучительно скучно трясет над равнинами мокрое тряпье своих туч. Не дождь, а какая-то дождливая вьюга.

В купе вагона волны тепла сменяются волнами стужи. Бидоны с горячей водой под клеенчатыми сидениями сердито бурлят и хлюпают, но греют мало.

Делать решительно нечего. Газета прочитана. От книги, набранной мелким шрифтом, болят глаза. Сижу, курю папиросу за папиросой и все пробую задремать.

Но вот кто-то дергает ручку дверцы, долго, толчками отворяет ее, и, наконец, спиной влезает в мое купе, таща по полу два железных прута. Садится. Рослый, черномазый мужчина лет сорока. Недорогая фетровая шляпа на голове, драповое, хорошо разношенное пальто, костюм какого-то зеленого с кирпичным рисунка и тоже выношенный на совесть. Но калоши новые. Золотые часы «Лонжин». Как только сел, закурил из тяжелого купеческого портсигара. Должно быть, старого турецкого серебра.

Я решил тут же атаковать его.

— В Смирну?

— — В Смирну, эффенди. Да хранит Аллах ваше здоровье, а вы также в Смирну?

Набираю десяток слов турецких, французских, персидских и объясняю, что тоже еду в Смирну и вот по таким и таким делам. Он продолжает беседу, добавляя солидно в разговорную смесь еще щепотку французской речи.

Говорим, как подобает серьезным людям, сначала о предметах незначительных и общеизвестных, слегка отмечаем холода этой весны, журим железнодорожную администрацию, но еще больше концессионеров — за беспорядки и плохие вагоны.

Через час-другой собираемся завтракать. У меня — ветчина и масло, у визави — сухой пастуший сыр и яйца, вываренные, как авторезина. И когда в горле пересыхает от кислятины сыра и жирной, солоноватой ветчины, одновременно вспоминаем мы, как хорошо бы выпить теперь стаканчик крепкого чая без сахара, духмяного персидского чая.

— Какой там чай, эффенди! Одна хава [1]) на этой проклятой дороге!

— Что же не построят хороших станций? — говорю я. — Край этот богатый, интересный край, работа для буфета всегда будет.

Визави смотрит на меня снисходительно, улыбается глазами и, не смущаясь, выговаривает за мой оптимизм:

---

[1]) Хава—воздух. В переносном смысле лихорадка.

— Вы думаете, что это, как у вас, в Швеции... Думаете, раз выстроили дорогу, значит уже есть и доход. Э-э-э, — он широко растопыривает пальцы рук и брезгливо отряхает их перед собой, — Турция — мы, э... Азия, э.

Мне хочется перевести разговор на более спокойные рельсы, чтобы не участвовать в невольном, правда, но все же очень нежелательном для меня бичевании Турции.

— Нет, отличная страна, — не соглашаюсь я, — то есть до того милая, что я готов каждый день ездить туда-сюда.

— Разве что полицейские неприятности какие-нибудь, — недоумевает визави. — Есть полицейские неприятности, эффенди, ну тогда ездить самое лучшее. Но вот я, например, эффенди, еду по своему делу — я коммерсант: тут у меня за Балыккисиром маленький маслодельный завод, а вот второй раз не поеду. Раньше, чем через три месяца, не поеду.

А, коммерсант!

— И знаете, эффенди, и теперь не поехал бы, если бы дело не было очень выгодным. Русский заказ это, знаете...

Поезд ерзает на узких рельсах, дрыгает взад и вперед и с места в карьер останавливается на шумной, на табор похожей станции.

— Через два часа будем в Маниссе. А там опять еще два часа до Смирны.

Обглоданные старухи в широких штанах и с лицами, увязанными в платки, цепляются за пассажиров, лезут в окна вагонов, все предлагают глиняные кувшины, лихо расписанные красными и синими цветами.

Гуляем по деревянной платформе. Мнение о русских заказах формулируется более или менее определенно.

— Теперь это наши друзья, эффенди. И хорошие друзья, знаете. Но многое еще непонятно мне, уважаемый эффенди, и даже странно. Вот, например, то, что они у нас много покупают. Пожалуйста, говорят, продавайте нам, что имеете: сезам, оливы, лимоны, орех. Пожалуйста, говорят, мы все покупаем, — и действительно, слава Аллаху, покупают, деньги платят аккуратно.

— Ну, так что же вас удивляет?

— Да вот... никто как-то до сих пор ничего у нас не покупал. Все сами набивались, за полцены обычно отдавали.

— Так оно и понятно. Советы — друзья...

Но не сдается мой спутник.

— Хорошо, — говорит, — это вам говорить, шведам. Живете себе без всяких забот. А мы всего боимся, мы не Швеция, дорогой эффенди, — и начинает злиться. — У нас всякие были друзья. Мы всех теперь боимся. Боимся, а дело из рук жаль упускать. Сердцем верю, что друзья, а умом не верю. Путаница.

— Торгуйте себе, — говорю, — и баста. О чем вам беспокоиться, в Ангоре подумают за вас.

— Подумают, — иронически качает головой купец. — Нет, тут самому надо все знать.—И решив с тоски и безделья вздремнуть, говорит мне, сдерживая зевок: — Очень много надо теперь знать. Хитрое время пошло, эффенди.

Заключительное.

Вначале был Стамбул, и Турция была Стамбулом.

В 1921 г. об Ангоре говорили полушутя. Новая столица с восемью тысячами жителей, городок без воды, без жилищ, с дурными путями сообщения, не вызывал к себе никакого уважения. Но вот следует декрет за декретом. Смирна получает ряд привилегий. Правительство заключает

договора на постройку железнодорожных путей, намереваясь связать порты Черного моря с портами Средиземного моря, оно переводит большинство правительственных учреждений в Ангору — и Стамбул быстро превращается в опальную провинцию.

Старая аристократия опускается на дно очень быстро, это же случилось и со Стамбулом. Он превратился в город западнической оппозиции, в город старой культуры, в убежище развенчанных традиций и... иллюзий. Романтика анатолийской революции проходит мимо него. Он видит в революции одни дыры и язвы. Падение торговли и упадок экспорта, замирание порта, вздорожание жизни, сокращение числа туристов — вот его страдания и несчастья.

В 1924 г. немец, управляющий большим строительным предприятием, зло острил по поводу закона о тридцатипроцентной норме турок в иностранных предприятиях:

Пятьсот тысяч турок теперь устроились, говорил он. В иностранных предприятиях занято до полутора миллиона человек. У меня было в конторе семь человек, теперь я держу десять. Один турок-бухгалтер для переписки всех счетных записей с немецкого на турецкий, для целей фиска, один переводчик-деловод и один работник в счет нормы. Не знаю, что ему поручить, он до сих пор работал надсмотрщиком в табачных складах.

Правительство Исмет-паши остроумно названо «правительством железнодорожных сообщений». Расходы казны на строительство путей и транспорта колоссальны.

Одновременно нужно создать свои турецкие банки, организовать сберегательные кассы, положить начало кооперации, создать хоть одну коммерческую школу высшего типа и агрономический институт, консерваторию, государственный театр, востоковедческий институт. (В Турции, кстати, только один геолог—Гамид-Нафиз-эффенди, и тот служит в нашем торгпредстве.)

Нужно иметь своих инженеров, химиков, геологов и ботаников. Нужно приступить к выработке рабочего законодательства и к созданию законов о труде. Нужно построить тысячи школ. Нужен хоть один санаторий. Нужно иметь хорошие пожарные команды и свое кино.

Турецкая ярмарка реформ пестра и разноценна. Снято покрывало с женщины (уравнения в правах с мужчиной еще нет). Женщина привлечена к общественной работе (но прав выборности не имеет). Были учреждены женклубы (и закрыты). Запрещено многобрачие. Церковь отделена от государства. Принят латинский алфавит. Разогнаны профсоюзы. Запрещено ношение фески. Декретирована обязательность поклонов и рукопожатий по-европейски. Поставлен вопрос о замене пятницы воскресеньем.

Существуют и поощряются проституция, пьянство, потребление опия, ранние браки (с девочками десяти-одиннадцати лет), эксплоатация подростков и уничижение нацменьшинств.

Года два тому назад правительство объявило равенство всех национальностей перед лицом республиканского закона с одним лишь крохотным примечанием — списком профессий, которыми могут заниматься коренные турки. И оказалось, что грек и армянин не могут быть ни половыми в трактирах, ни врачами в учреждениях, ни даже чистильщиками сапог. За нацменьшинствами оставлялись свободные профессии. И то не все: торговцы с лотков тоже должны были быть турками.

Курды — не коренные турки. Албанцы, арнауты — тоже. Арабы — гости. Испаньолы — пришельцы. Левантинцы — захватчики, армяне и греки — враги. Коренными турками оказываются казанские татары-переселенцы, кавказские черкесы да жители центральных анатолийских санджаков.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

У нераскопанных миллионов.

Константин Минаев.

... Опять еду. На север, на Урал. Бедные черноземом, но богатые влагой и торфом поля бегут без конца мимо вагонов. Проносятся подстриженные ели, мелькают лужи, озерца с темной водой, в воде отражаются небо с курчавыми облаками и приникшие кустарники...

Все еще Вятская губерния... Какая ширь! Едем, едем... Целая республика. Вот уже Пермский округ. Промелькнул высокий столб, стоящий на границе Европы и Азии. От Кунгура пошли, наконец, уральские отроги.

Свердловск. Молодой областной город. С огромным будущим. Всюду стройка: воздвигают Уралторг, Дом союзов, гостиницы. Поражает своей простотой и художественностью памятник — «Якову Михайловичу Свердлову — от уральских рабочих».

Екатеринбург был когда-то городом горнозаводчиков и золотопромышленников. Мне указывают на белый старый особняк горнозаводчика Севастьянова, вздумавшего покрыть крышу дома золотом. Царское чиновничество перепугалось, срочно запросило Санкт-Петербург, оттуда пришло мудрое решение: «можно разрешить, если оный Севастьянов сначала покроет золотом крышу церкви святой Екатерины»... Но так как Севастьянов был старообрядец, то, конечно, его план не был выполнен.

На площади Народной мести высится аляповато-красивый харитоньевский дворец, в нем сейчас находится студенческое общежитие. Напротив Воскресенская церковь — превращена в школу-семилетку. Харитоньевский сад с прудом, теперь Сад уралпрофсоюзов, является любимым местом гулянья уральских рабочих. Вот сейчас, пересекая улицы и площади, идут организованно на гулянье колонны строителей, а впереди вместо оркестра, растягивая меха, трое гармонистов... Под косогором, вниз от площади, прижался огромным белым грибом ипатьевский дом — тот дом, где жили Романовы. Тяжелый, сытый особняк русского барина, с большим подвальным помещением. Невольно вспомнилось: «зародились Романовы в Ипатьевском монастыре и окончились в ипатьевском доме». Сейчас здесь полный ремонт — предполагается раскинуть историко-революционный музей.

Нас пропускают осмотреть дом. Звеня тяжелыми ключами, комендант отпирает подвал.

— До сего времени находятся такие, которые не верят, что царь расстрелян, — рассказывает комендант, — недавно приезжали из Вятки, Украины...

Вот через эту лестницу спустились **они**, прошли через эту дверь в подвал. Подвал с полукруглыми сводами, одно оконце с решеткой. Посадили их на табуретке, охрана стала у двери. И когда прочли приказ, Николай, слушавший внимательно, но не понявший, вскочил: — «Что, что такое?» Раздались выстрелы... Трупы завернули в одеяло, увезли на машине. За Исетским заводом у деревни Коптяки трупы, облив серной кислотой, сожгли... — Успели во-время убрать, — продолжает комендант. — На другой день заявились белые. Колчаком назначено было особое следствие. Белые могли верить, что Романовы расстреляны, но не верили, что их трупы сожжены.

На стенах одиннадцать больших дыр. Это были вырезаны пули. Обои под окном все содраны. Следователь Соколов лазал на коленках, обнюхивал каждую щелочку.

— Кровь-то на стенах белые языками вылизали... — улыбается комендант.

Подвал русского царя!.. Величественной монархии! От нахлынувших вдруг мыслей, воспоминаний мы долго молча оглядывали теперь ничего неговорящие стены подвала.

В ипатьевском доме, рядом с историческим подвалом, живут комендант и сотрудник музея т. Гензель. На столах — карты Уральской области.

— Навряд ли кто точно представляет себе, какое огромное богатство в себе таит Урал. И как нам трудно привлечь внимание к Уралу, — рассказывает т. Гензель. — Развернем карту. Смотрите. Самый север: Соликамск-Усолье — величайшие залежи камня, фосфоритов. Тагил — огромные платиновые прииски. Богомолстрой, Кыштым — мировые залежи меди. Южнее: Уфалей — залежи никеля, Егоршино — асбест, изумруд... Многие залежи открыты недавно, а если что было открыто раньше, так лежало в кармане горнозаводчиков. В Алапаевске открыты миллиардные залежи руды, но сколько миллиардов — определить не могут...

В Свердловске нового человека поразит мальчишеский союз чистильщиков. На каждом шагу: у гостиницы, столовой, магазина, автобуса — кричат, хватают проходящих. Ты не даешься, а тебя хватают, один за левую, другой за правую ногу, и через минуту — ботинки блестят. Плати пятак!

Против плотины, за старинной каменной оградой, притаилась гранильная фабрика. Скорее мастерская, чем фабрика, так как за станками сидит всего несколько человек. В конторке на столе у заведующего, — он же мастер, — кучка каких-то зеленоватых неотделанных камешков. Он берет щипчиками, раздробляет их, как сахар, и сортирует. Не понимая, конечно, ничего в камнях, я спросил, нельзя ли взять на память плохонький камешек. Заведующий улыбнулся:

— Все камешки на учете. Камешек, который вы хотели взять, когда отделаем, потянет столько-то карат и даст нам не менее трехсот рублей...

— Этот, похожий на осколочек стекла?

— Да, этот. А вот посмотрите на готовый камешек. — Он полез в стол, вынул маленький стальной ящичек и открыл. Да, там в бумажке лежали не какие-нибудь камешки, а зеленые, вздрагивающие капли воды!..

— На фабрике работает всего шестнадцать человек, а чтобы достать эту кучку камней, в копях работает тысяча шестьсот человек.

Конечно, изумруды товар экспортный, производство незаметное, но в этом ящичке — целое богатство. И рабочие сидят, согнувшись,

ослепшие от кропотливой тонкой работы, и шуршат, гранят зеленые камешки, необходимые для сережек, колец буржуазной дамы демократической республики.

Рядом с фабрикой — художественная мастерская Академии наук. Выделывают разные изящные вещицы из простого уральского камня — селинита и белого, недавно открытого камня — ангидрита: зайчиков, слоненков, медведей, поросят — целые полки.

— Мы и в камнях сделали революцию, — рассказывает т. Рыбин (руководитель мастерской). — Главное — дешевый камень... Заграничные коммерсанты дают нам огромные деньги за наши изделия. Мы добьемся через год-два того, что художественная тарелка будет стоить каких-нибудь три рубля.

Мастерская помогает кустарям, пробуждая их инициативу, давая образцы, и в скором времени предполагает пустить фабрику камней.

Нижний Тагил. Город-завод. Пузатые домны, выбрасывая едкий дым день и ночь, жадно проглатывают руду, которую не успевают подвозить. Завод старый, построен первыми Демидовыми. Работать трудно, особенно в мартэнах, где душно и тяжко и где сырье заваливают чуть ли не голыми руками.

— Наш завод — тюрьма, — говорят рабочие, — огромные нужны деньги, чтобы весь демидовский завод перестроить в советский завод.

И, несмотря на адамовское состояние, завод на всесоюзном смотре за качество своей продукции—листовое железо — получил вторую премию.

Вечером, после гудка, в завкоме собрались женщины-выдвиженки, чтоб обменяться опытом и поговорить о своих нуждах. В первые дни их встретили в цехах не совсем дружелюбно: «Ну, на что тебя, бабу, учить, ведь все равно на кухню пойдешь», говорили рабочие. Вместо того чтобы поддержать, сам заведующий цехом кричал на выдвиженку: «Какой ты чорт десятник, раз тебя не слушают...»

Вот Заикина из электрического цеха учится на электрика-слесаря. С блокнотом в руках спокойно доказывает:

— Надо завкому приобрести техническую библиотеку. Выдвиженкам-ученицам все время дают плохой инструмент. Нам даже приходится самим покупать. С учебой торопят, но я соглашусь лучше временно получать меньший заработок, зато требую более детальной и основательной учебы.

Выдвиженки с блокнотом. Вы загляните, сколько в этой книжечке занесено цеховых недочетов, и промахов, и нужд!..

Андронова-модельщица, волнуясь, рассказывает, что она тоже работает на старом верстаке. Семь раз меняла фуганок.

Главная беда выдвиженок — малограмотность. Но где же учиться, когда, например, та же Андронова имеет семь общественных и партийных нагрузок? Смотрите: женорг цеха, член культкома, уполномоченный по выписке газет, уполномоченный ЦРК, член лавочной комиссии, председатель женской секци, член экономкомиссии. Можно ли с усталой головой твердо и уверенно держать фуганок в руке?

— И все-таки... — заканчивает Андронова, сильно волнуясь,—я своего добьюсь, добьюсь!

— Но меньше слез! — коротко и ясно подвела итоги собранию Саблина — женорг из райкома. — Нельзя нам, выдвиженкам, отыгрываться только на слезах. Не плакать, а добиваться всеми способами через завком, ячейку, стенгазету необходимой квалификации.

Расходились поздно вечером...

В старом, полуразвалившемся доме — музей с богатейшими экспонатами. Материалы пока изучаются и подбираются. Особенно интересен так называемый «штрафной журнал», относящийся к 1797 г., недавно найденный в Тагильском округе. Вот некоторые выдержки:

— Молотовой мастер Епифан Олховиков и плотник Егор Фокинцов за шумство на помочи пьяные штрафованы цепми.

— Ивана Масленникова жена Татьяна Игнатьева с протчими при ней женщинами и девками всего восемнадцать человек за самовольную отлучку в слободы возвращены с краснова поля за что вштраф вожены на лычагах по улицам.

— Молотовой подмастерье Павел Орлов сыном Сидором зарванье у соседа вогороде воровски овощу наказан вицами.

— Нижнотагильского завода плотники Прокофей Рычков заобиду девки Варвары Ципушкиной наказан вицами.

— Молотовой мастер Кондратий Булыгин и солдатка Ефимья Скуднова за блудное дело наказаны вицами и т. д.

Как известно, Демидовы славились своей необузданностью и жестокостью, несмотря на то, что они иногда были покровителями искусств, тратившими огромные деньги; во Флоренции (Италия) Николаю Никитичу Демидову на городской площади даже поставлен мраморный памятник. Его сын Анатолий Николаевич много тратил на научные предприятия и разные учреждения, издал описания своих путешествий, а Матильда — жена Анатолия, рожденная Бонапарт, принцесса Монфортская, племянница Наполеона 1, — разошлась с ним вследствие его живодерского обращения.

Внизу, в подвале музея — остатки знаменитой демидовской библиотеки. Есть слухи, что чехи при отступлении увезли самые ценные книги, имеющие мировое значение. Дети, солдаты, красноармейцы самым безжалостным образом вырывали из журналов и книг роскошные старинные гравюры, сафьяновые переплеты. И вот только сейчас, под руководством т. Чудовского, начали собирать библиотеку, разыскивают книги по складам и подвалам. Уже собрано до 50 тысяч томов на 22 языках.

— Услышал, — рассказывает т. Чудовский, — что один обыватель купил воз книг. Бегу к нему. «Верно, — говорит тот, — купил, но сложил их в сарай, они сгнили, вот двенадцать книг только осталось...» Многие еще старообрядцы хранят ценнейшие книги, а вот дети-комсомольцы стараются передать их в библиотеку...

Возвращаясь в Дом крестьянина, проходил мимо кино. Толпятся около витрины. Новая, только что прибывшая американская картина: «Любовь в 16 лет». И тут же другая афиша-реклама:

> Популярнейший артист Ленинграда и Москвы, автор нашумевших песенок «Луна-пьяна», «Последнее танго», автор-юморист Михаил Николаевич Савояров — в эксцентричном жанре, новый индивидуальный подход к сатире и юмору.
>
> Собственный, всегда прогрессивный репертуар.

Главполитпросвет, ведаешь ли ты, чем здесь кормят тагильцев? Где же картины Совкино? Я узнал, что приезд Савоярова, имеющего «собственный, всегда прогрессивный репертуар», для Тагила — целое событие. Кинотеатр был полон все три сеанса.

Видели ли вы в кино картину «Гостеприимный гость» с участием знаменитого Бестера Кейтона на его самодельном паровозе?

Так вот и мы на таком паровозе тронулись на платиновые прииски. Паровозик свистит, пыжится, испуская изо всех дыр пар, а сзади—вагончики, раскачиваясь, того и гляди свалятся под откос в болото.

И, однако, имеются первый, второй и третий классы. Третий класс — это, где негде сидеть, полезай хоть на крышу; второй имеет хоть какие-то скамейки, только нужно успеть захватить. Ну, а первый класс имеет два дырявых дивана с оттопыренными пружинами, стол и зеркало с жирными расплывшимися пятнами. Первый класс имеет всего два места, но это не мешает в нем ехать и проводникам, и кондуктору, и прочей публике...

Дорога однообразна. Болота, ручейки, мокрый лес и характерная серая, раскопанная местами земля, которая таит в себе крупинки платины.

Мелькают наскоро сколоченные избушки, низко прижатые к земле; вьется сизоватый дымок то там, то здесь, — это жилища «старателей»-кустарей-платиноискателей.

На приисковую работу идут люди, знающие хорошо землю, любящие ее, но разработка подобна игре, в которой все зависит от того, на какую жилу попадешь. Можно за лето заработать тысячи, а можно и последнее спустить. Взяли старатели участок. Хозяин, глава артели, ходит — руки в карманы, ждет удачи. А какой-нибудь работник, напавший на жилу, начнет осторожно отводить разработку в сторону. За лето хозяин прогорает. А на другой сезон работник, собрав кое-какие средства, делает заявку на старое место—и через месяц богатеет, а прежний хозяин идет к нему в работники.

До сердца приисков — «Красного Урала» — надо ехать еще на лошадях километров двенадцать.

Проезжая по поселку, мы заметили, что главная улица как-то вся странно перерыта и землю отвозят на тележках куда-то вниз.

— Что тут роют? — спросили мы возчика.

— Напали на хорошую жилу. Видите, всю дорогу изрыли, и, смотрите, она, стерва, под дом пошла... Как бы дом-то не рухнул...

Здесь залежи платины, — куда ни повернись. Перепахивают раз по десять.

Мы осмотрели рудообогатительную фабрику, единственную и недавно выстроенную в Союзе.

— Про нас говорят, что мы на Урале ходим по золоту, — смеется молодой инженер, показывающий нам фабрику. — Конечно, и вы и мы все ходим, но вы сами видите, как это золото трудно достать. Породу достаем из шахт, ее дробим, промываем, процеживаем. Приходится из-за каких-нибудь десятков граммов драгоценного металла промывать сотни тонн земли.

— И все-таки оказывается выгодно?

— И очень даже...

На дворе управления приисков, в канавке копается старатель Крючков. Это ему с улицы подвозят породу.

— Ну-ка, Крючков, покажи-ка гостям московским, из-за чего ты здесь копаешься под дождем...

Как назло, весь день моросит дождь, с синеющих гор срывается ветер и пронизывает нас до костей. Крючков вылез из ямы, взял большой жестяной ковш, зачерпнул землицы и, присев на-корточки у ручья,

начал полоскать в студеной воде. Мы тоже присели, с любопытством разглядывая. Скоро Крючков и инженер опытными глазами определили:

— Есть!

Однако я ничего не различал, — в ковше, по-моему, ничего нет, кроме воды и промытой горсти земли... Но вот Крючков вынул из ковша толстым пальцем крупинку сероватого цвета, без блеска, как свинец.

— Попробуй, раскуси...

Так это и есть платина?.. Если в каждом ковше найдется по одной крупинке, а в день он промоет несколько десятков ковшей, — в день, следовательно, он добудет 2—3 грамма... Заработок его от 3 до 20 рублей в день.

На протяжении километров шестидесяти вся эта местность — бывшие Авроринские прииски — изрыта и перерыта по нескольку раз. Но кругом стоят нетронутые горы, в которых неисчислимые, неисследованные залежи. На приисках работают драги (землечерпалки). Мы были на старой паровой драге, которая прогрызла и вычерпала более десяти километров, образуя после себя целую реку. Сейчас на приисках установлены электрические драги американского типа. Это целые дредноуты, с полным экипажем, работающие по последнему слову техники. Драги эти — наша советская гордость; их сооружают молодые русские инженеры и рабочие-путиловцы... Такая махина в день добывает платины не крупинку, не грамм, а... виноват, не скажу: добыча платины — секрет республики. Нужно сказать лишь одно, что Тагильские прииски имеют мировое значение.

Богомолстрой. Мировые, нетронутые залежи колчедана. Завод-гигант, поставляющий 90% меди для всего СССР. Но это еще только в плане пятилетнего строительства нового Урала, а сейчас на месте будущего медеплавильного города-завода — вышки разведочных и пробных шахт, мастерские, рабочие казармы, тес, материал, склады с импортными машинами, строящиеся дома, а вокруг всего этого строительства — болота и непроходимая тайга.

Мы переодеваемся в шахтерский костюм, привешиваем бленду (лампочку) и спускаемся в Компанейскую шахту. С нами спускаются председатель рудничного комитета и секретарь ячейки. Цепко хватаясь за ключья и ступеньки лестниц, опускаемся точно в колодец: чем ниже, тем сырее. На глубине 96 метров я почувствовал, как вода стала проедать брюки и холодить колени, и за шею полил дождь. Полезли на карачках через груды породы и валяющиеся бревна. Добрались до забоя. Забойщик Новоселов, поблескивая зубами, весело встречает нас:

— Сейчас покажу свою работу, вот только дай галстук одену.

Платком обматывает себе горло, застегивается на все пуговицы. Потом берет заправленный буравом перфоратор, наставляет в глыбу. Раздается ужасный треск, искры осыпают забойщика. И человек с аппаратом дрожит, упираясь в глыбу, будто борется с каким-то чудовищем, а каменное чудовище ревет и ляскает пастью, осыпая искрами упорного горняка. Начинает душить выделяющийся серный газ. Щиплет нос, на языке какой-то противный песок. Забойщик, бросив перфоратор, обернулся к нам — черный, осунувшийся, с горящими глазами.

— Больше восьми забоев не могу сделать, — говорит он, — можно задохнуться.

Беседуем о нуждах. Должны бы быть новые—раскомандировочная, раздевалка, душ — а то вот вылезут из шахты, идут домой грязные, прямо в спецодежде. Неэкономно, и спецодежда изнашивается.

— Что говорить, живем, как дикари. Нет даже поблизости деревни. Еда: хлеб и вода. Жиров никаких. Что привезут в кооператив, тухлятину какую — то и едим.

Когда мы вылезли из шахты, ветер ласково обвеял нас, а в бане, отмываясь, мы испытывали величайшее наслаждение.

На другой день я ходил по казармам. В сорок девятой — одни татары-холостяки. На нарах — пусто, лапти под голову, шляпой укрываются. Выслушиваем жалобы: в последнее время нехватает хлеба. Молодой, рослый парень колет орехи.

— С утра ем орехи и никак не наемся, — говорит он, улыбаясь.

В день нашего приезда сезонники уже тронулись бежать со строительства, но... к вечеру из Кушвы пришло распоряжение: «немедленно выдать из запасов. Богомолстрой не может быть оставлен без хлеба. На строительство отправляются вагоны с продуктами».

Уезжали на рассвете, и кругом — на станции, на заборах — были расклеены свежие объявления: хлеб пришел, предлагается получать...

Мы любим беспощадно ругать в печати, любим разносить на конференциях за головотяпское строительство, за ошибки, но ведь строят молодые советские инженеры, без опыта, без иностранцев, создают новое дело. Живут в тайге, оторванные от культурной жизни, где нехватает даже хлеба.

Верхотурье. От самой станции до города, — а город где-то в лесу, — тянутся стопки сложенных дров. И вот в широкой просеке сверкнули золотые маковки, — да это целый губернский город, если судить по церквам! Верхотурье — самый древний город на Северном Урале. Монастырь Симеона — первый монастырь в Сибири и на Урале.

Бывало, верхотуринцы, ожидая архиерея, по всей этой дороге, где мы едем, выставят часовых — поповские пикеты. И когда передовой у станции вскрикнет: «Приехал!» — тогда ударят по лошадям, и главный звонарь на колокольне собора, заметя несущуюся лошадь, а на ней нелепо взмахивающего руками всадника, бьет в тысячепудовый колокол, и заливаются все пятнадцать церквей в колокола и колокольчики. И даже мирные галки и вороны, привыкшие к звону, сейчас оглушенные, взлетают и долго черной стаей с карканьем вьются над городом, встречая несущуюся тройку архиерея. А вслед за тройкой архиерея по этой большой дороге идут под конвоем ссыльные... Много может рассказать Верхотурье.

Еще на станции я сразу же познакомился с «бытом» сегодняшних верхотуринцев. Из буфета выскочили какие-то подвыпившие граждане; один из них кричал на какого-то агента лесничества из райлеса:

— Ты сын вятского попа! Знаю я тебя. А я на фронте был, инвалид — посмотри на голову, полголовы нет... А ты хочешь, чтоб я тебе бутылку поставил, и тогда ты дашь мне работу?

Агент, поправляя поясок и желая показать себя перед собравшимся народом, отвечал:

— Дурак, что орешь. Завтра придешь, я тебе покажу. Две поставишь, да не возьму.

— Поставлю я тебе, когда мой дедушка умрет, а прежде сопли утри! — еще сильнее расходился инвалид, и когда народ, услышав крики, окружил их, он обратился ко всем: — Я извиняюсь перед всеми гражданами, что без «матери» не могу говорить, но ведь они республику пропивают, полгосударства уже пропили! Не выносит мое рабочее сердце, дорогие товарищи!

На Урале много высланных, главным образом растратчиков, хулиганов, меньшевиков, эсеров. Высланные инженеры, врачи работают на предприятиях, в учреждениях, заводах, рудниках, а «московская шпана» орудует и здесь. На мой запрос, почему этого типа, который на глазах у всех требует взятки, не арестуют, — отмахиваются:

— Арестовывали несколько раз, да что толку! Таких здесь много.

Базар ли был или праздник, только весь город почему-то был пьян. И что поразительно, женщины были пьяны. На базарной площади, около палаток, какой-то расходившийся герой, в шерстяных чулках и без пояса, смахнул наземь боченок мороженого, и белоснежная масса украсила навоз. Баба-торговка голосила, а мальчишки горстями подбирали лакомство...

Музей, конечно, оказался закрытым, хотя по объявлению он должен был быть открыт именно в эти часы. Я пошел в знаменитый монастырь Симеона.

Как раз из церкви вышли богомольцы с хоругвями и «чудотворной иконой», пенье попов и богомольцев слилось с криками и руганью на площади. Вот где настоящая Расея!

«Ночлежный дом для богомольцев и странников» поражает своей чистотой. Полы и нары блестят. Горят лампадки, и пахнет ладаном. Монашки, эти «черные санитарки», шопотком ухаживают за странниками. Тут же на столе мурлыкает чистенький самовар. Я беседую на нарах с богомольцами. Вот худой, с пучком волос вместо бороды, зырянин Микулин; он пришел на богомолье из деревни Меркушино Комиобласти; дорогой его арестовали, так как удостоверение было просрочено, и теперь он не знает, как обратно итти, сидит месяц в монастыре. Другой мой сосед, высокий сгорбленный старик из Усть-Сысольска, очень сильно хворал и дал обет притти сюда пешком, если встанет...

Вдруг тишину прорезал дикий, странный крик птицы. Мне объяснили, что это старуха-кликуша. Она, оказывается, обиделась, что про нее позабыли и не посадили чай пить...

За высокими стенами монастыря, по ту сторону, слышны крикв и ребячьи голоса. Это реформаторий для малолетних преступников. Чем отличается реформаторий от тюрьмы? Во-первых, здесь ребят не называют арестантами и даже самого слова «тюрьма» не произносят. Ребята выпускаются не по окончании срока, как в тюрьме, а по исправлении.

Мы с заведующим реформаторием т. Якобсоном обходили общежития ребят. Если бы не часовые-милиционеры, то можно подумать, что мы находимся в обычном детском городке: тот же порядок и та же обстановка. Мастерские, школа, игры. Мы узнаем, что здесь находятся не только воришки, ширманщики и злостные беспризорники, но самые настоящие убийцы, которых не могли приговорить к расстрелу из-за несовершеннолетия. Реформаторий обслуживают взрослые, присланные из тюрем, но неопасные, тихие, легкоисправимые.

— Вот, — указывает нам т. Якобсон на одного красивого здорового парня, который на кухне растапливал печь, — попал, например за изнасилование... Деревенский, смирный парень, вышло по пьянке.

Самое сильное наказание — это изоляция. Проходя по двору, мы заметили, что за решеткой сидели двое голых ребят и отчаянно кричали:

— Гражданин Якобсон! Гражданин Якобсон!

Якобсон дымил трубкой и остановился перед ними:

— Ну, чего кричите? Не я вас посадил, сами себя посадили...

Ребята знают, что они, конечно, сами виноваты, но хочется поговорить, благо за это не наказывают.

— А почему они голые? — спросил я.

— Вот поэтому и сидят, что голые. В карты продули все с себя. А кому проиграли — не говорят.

За год реформаторий выпустил сто вполне исправившихся ребят. Не было ни одного возврата.

Около ворот я встретил знакомого парнишку. Он был в большом картузе и подмигивал мне. Но где я его видел?

— Это же всем известный ширманщик Иван Иваныч... — пояснил мне т. Якобсон, — он сразу вас узнал, москвича... Трудно исправимый...

Около реформатория между аллей стоит чрезвычайно красивый домик древнего стиля. Оказывается, дворец Распутина. Выстроен он из одного кедра. Выстроили, ждали, но Распутин так и не приехал... Красивый и чудно пахнущий кедром особняк почему-то стоит пустым.

Говорят, что Чусовая — «русская Швейцария». Но это неверно, Чусовая — город дыма и копоти. Если говорить о «русской Швейцарии», то нужно говорить вообще обо всем Урале. Многие справедливо утверждают, что Урал лучше экзотического Кавказа и жалкого перед этими дикими массивами Крыма. А разве крепких, здоровых уральцев можно сравнить с хилыми, маленькими кавказцами и крымчаками? Урал со своими дикими горами, студеными озерами, бурными речушками, курчавыми соснами — сплошной курорт.

А Чусовая—это старый огромный чугуннолитейный завод с домнами, мартэнами и листопрокатками и большая узловая станция. Завод еще ничего, но углежжение душит все кругом. Представьте себе в середине города несколько сотен труб, вечно днем и ночью испускающих едкий смоляный дым. У свежего человека через час начинает болеть голова и тянет на рвоту. Прокопченный у мартэна рабочий идет домой, сядет за стол, а ему в окно, в тарелку тянется копоть. От дыма все черно: стены домов, заборы, деревья, дороги и даже пыль. Я видел, как на спортплощадке в клубе футболисты бегали в дыму за мячом, точно в тумане.

На заводе поговаривают, что необходимо убрать эти печи и очистить город. Тут нельзя поговаривать, а нужно немедленно поставить вопрос перед горсоветом об уборке за несколько километров углежжения.

На станции Бисер Пермской железной дороги прочел такое объявление:

1. Доклад о культурной революции и о половой распущенности.
2. Содоклад об отношении юноши к девочке и наоборот.

Тут же рядом объявление сельсовета:

— Граждане, желающие застраховать своего скота, то должны... и т. д.

Очевидно, речь идет о коровах и лошадях, но не о пьяницах... М. Горький, любитель подмечать неправильности русской речи, много интересного услышал бы здесь. В Свердловске я прочел такие объявленьица:

— Употребление семечек и орехов воспрещается.

— С газетами и литературой обращаться внимательно.

— Охрана сада вменяется присутствующим членам профсоюзов.

— Кто будет создавать давку у дверей, тот будет привлекаться как пособник карманников.

— Обеды и ужины в нетрезвом виде не подаются.

Объездив тысячи две километров, можно из одних объявлений сделать отличный очерк.

На рассвете товарный «Максим» оставил нас на мало известной кому станции Губахе. Ночь провели скверно. На Чусовой мы не достали плацкарт и поэтому ворвались в вагон как сумасшедшие, чтобы занять верхнюю полку и около окна. Вслед за нами с мешками и узлами лезли, сшибая в дверях друг друга, сезонники. Спать было невозможно. Крики, ругань, толкание в бока, стаскивание друг друга с мест. Рядом с нами, тоже на верхней полке, ехали две женщины. Вдруг они подняли неистовый крик: оказывается, в середку лез какой-то хлопчик, говоря, что раз это не плацкартный вагон, то он ляжет там, где захочет. Женщины с ним ничего не могли сделать, и нам пришлось чуть ли не кулаками и ногами сбивать хулигана. Так мы всю ночь не сомкнули глаз, а выбравшись на рассвете из вагона, были поражены величественной картиной.

Слева и справа вздымались горы, кутаясь в туман. Станция и наш состав казались какой-то маленькой игрушкой среди этих гор, а мы, люди, — букашками, не знающими, куда итти.

Справа возвышалось огромное каменное здание, на нем буквы «ГРЭС», то есть Государственная районная электрическая станция Кизеловского района. Слева, выше к горам — чистенькие желтоватые домики: новый поселок.

— Когда я жила в провинции... — рассказывает мне одна служащая с ГРЭСа.

— Виноват, в какой провинции? — удивился я.

— На Половинке, здесь километров семь, недалеко...

— Ну да, Губаха — столица среди этих диких гор, ведь Губаха — политический и культурный центр на много десятков километров вокруг.

Бешеная речушка Рытва несется внизу — так же, как неслась веками, — но и ее человек теперь использует: на ней, как спички, бегут бревна плотов. У самой станции Рытву перегородили, и у берегов скопилась груда плотов.

На ГРЭС не так легко пройти. Везде часовые охраняют красавицу-станцию. Управляющий т. Шемутин, партиец-инженер, не доверял никому свое детище:

— Я вас сам проведу...

Электрическая станция всегда поражает своей абсолютной чистотой и какой-то внутренней силой, которая таится в жужжащих турбинах.

— Пойдемте в наше «святое-святых», то есть в камеру высокого напряжения...

Дежурная взяла книгу и, передавая ключи, попросила расписаться: «взяты ключи в 1 ч. 32 м.».

— Как, неужели сам управляющий берет — и вы не доверяете даже ему? — удивились мы.

— Я никому не могу дать ключи без расписки,— ответила дежурная.

— Да, так нужно, — ответил и т. Шемутин.

В дверях надпись: «Одному входить воспрещается». В пустых камерах жутко, ходишь в полметре от смерти. Я знаю, какая таится огромная сила в этих полосах вдоль стен, окрашенных в синий и красный цвета. Несколько лет тому назад в Каширке одна уборщица, когда мыла полы,

была схвачена током за юбку и в несколько секунд превратилась в кусок обгорелого мяса...

— Осторожно! — то и дело предупреждает нас т. Шемутин, и мы, проходя гуськом, боимся в эти минуты даже дышать.

Кизел — город угля. Донбасс Северного Урала. Те же здания и дома из серого камня, угольная пыль даже на деревьях... В городе негде остановиться. Когда мы заехали в Дом приезжих, нам предложили расположиться в коридоре около входных дверей. Напрасно мы умоляли устроить нас или в столовой или в канцелярии на одну ночь, — заведующий оказался неумолим. Очевидно, ему приезжие «центровики» очертели до тошноты.

Был дождь, и мы по колена в грязи со своими чемоданами ночью искали приюта. Пришли в школу фабзавуча. Кровати есть, но холодно, укрыться нечем, окна разбиты. И вдруг вспомнили про райком партии, — ведь в 1918 и 1919 годах мы только и жили и спали в губкомах и укомах на столах и под столами. Напуганная сторожиха, впустив нас с чемоданами — мокрых, истерзанных, — звонила, кажется, управделу. Напрасно милая старушка звонила, нас могла бы забрать теперь только милиция. Постлав газеты вместо простынь и подложив папки «дел», мы уже спали как убитые.

Приезжающих в Кизел рудоуправление обычно направляет осматривать Ленинскую шахту, которая электрифицирована и прекрасно оборудована. Мы попросили показать нам такую, где никто из приезжающих не бывает. Нас повели на шахту Троцкого. Переодевшись, мы стали спускаться в какой-то погреб. Михаил Матвеевич Ладанов — старый штейгер — рассказывает:

— Двадцать лет хожу вниз и вверх по этим ступенькам. Наизусть знаю все эти восемьсот пятьдесят ступенек.

Чем ниже, тем холоднее, —но вот мы на такой глубине, где температура одинакова что зимой, что летом. Работа здесь чрезвычайно тяжелая, пласты угля лежат почти над головой, на 60—50 градусов, в то время как в Донбассе пласт идет горизонтально. Шахтеры работают здесь не менее 9—10 часов, — вместо 6 часов чистой работы. Поэтому, чтоб учесть рабочее время, шахтком добился в проходах поставить контрольные будки. Контрольная будка отмечает спуск рабочего в шахту и время ухода. Дело в том, что у шахтера часов нет, — как залезет в забой, так и сидит, пока по его подсчетам и куче набитого угля не определится время. Предварительные цифры контрольной будки говорят, что здесь нужно или понизить нормы выработки или увеличить заработок. Жаловались нам на беспорядок в расчете. Председатель шахткома Беляев Галлей Улла всегда перед выдачей зарплаты сидит на подсчетах 2—3 дня. Был случай, когда обсчитали рабочих на 51 вагон угля. Когда начнут проверять, дежурный штейгер только и ответит:

— Ошибся! На глаз мерил.

Уехала раз одна группа сезонников, шахтком стал подсчитывать, — обсчитали-таки их на 70 целковых. Шахтком добился этих денег и послал в деревню. Хорошо сделал шахтком. Пусть в деревне узнают, что есть у них защита — профсоюз.

Ночью мы приехали в Усолье. Разлившаяся Кама расстилала тишину. Заводы вдалеке казались дредноутами, и их тени играли в волнах реки. Но где-то чувствовался трепет электрики. Доносились порывами звуки

оркестра. Это, наверное, в саду еще не окончилось гулянье... Город на том берегу был весь виден очень четко, — северная ночь светла.

— Ты, писатель, что же не восторгаешься? — толкает меня мой товарищ. — Ну смотри же, какая красота!..

Но я думаю, что отошло время восторгаться красотами. Есть ли время у читателя читать, если бы я даже и описал эту ночь на Каме? Да, очень красиво, но сейчас — время стройки, нужны в очерке не пейзажи, а факты.

На лодке переехали Каму. Дом крестьянина полон ночлежниками. Люди спят на берегу, на пляже, на плотах, — благо такая теплая ночь. В частной «гостинице» нас выругали и выгнали:

— Что стучите? Сказали, местов нету.

Куда итти ночевать? В окружком партии не пустили, в исполком — тоже. Мы стояли посреди улицы и раздумывали, вдруг навстречу милиционер.

— Мы приезжие, где бы нам переночевать?

— Да идите к нам в управление. Скажите дежурному, что помощник начальника Давыдов приказал.

Мы обрадовались. Идем. Докладываем дежурному.

— А я вас не знаю и не могу пустить, — заявил дежурный.

— Возьмите наши документы.. Ну арестуйте нас, наконец, до утра... Ведь товарищ Давыдов...

— Нечего мне с вами связываться! Уходите отсюда...

Было часа четыре, а мы все еще плутали по городу Усолью, и вдруг мой товарищ, измучившись со своим большим чемоданом, треснул себя по лбу:

— Дураки! Ведь в окружном городе должна быть газета. Типография, наверное, работает.

Типография работала, — о счастье! — даже в редакции был огонек. Радистка, низко склонившись над столом, принимала из Москвы Росту. Ночлег был найден.

То, что ночью мне казалось дредноутами, оказалось наутро солеварнями. Старые огромные амбары-склады, трубы и вышки-колодцы кругом. Добыча соли — самое простое производство. Насос пьет соленую воду из жилы, которая довольно глубока в земле. Соленая вода поступает в чрены (котлы), где вызаривается, образуя пышную белоснежную массу. Заголив крутые ноги, работницы босиком утаптывают ее. Это самая лучшая столовая сольтреста «Пермсоль». На Ленвенских солеварнях работает 600 человек, из них только 19 квалифицированных производственников: поваров и кочегаров, остальные — неквалифицированная рабочая масса.

Рядом с солеварнями стоит Березниковский содовый завод имени Ленина. Осматривать мне его целиком не пришлось, — в первом же кальсинированном цехе я чуть было не задохнулся. Щекотало в глотке, ело глаза аммиаком, — сквозь слезы видел высокого старика, был он весь белый, как мельник, — еле-еле различал вертевшиеся колеса, покрытые белой пылью.

— Как вы работаете? — проговорил я, задыхаясь.

— Так и работаем. Человек ко всему привыкает.

Оказывается, средства на вентиляцию давно отпущены, но проекты и постановления лежат в кабинетах более двух лет. Почему лежат проекты в кабинетах? Почему не сделать хотя бы простой вытяжки?

Я не знаю, где труднее работать, — у раскаленной домны Тагильского завода, когда брызги огненной лавы осыпают людей, забойщику

ли под землей, где в духоте даже тухнет его лампочка, или этому чахоточному старику, которого аммиак проедает всего насквозь...

Наш конечный пункт — Соликамск, выше Усолья километров на 80 по реке Каме, где открыты мировые залежи калия и фосфора. Раньше одна Германия была мировым поставщиком калия, а теперь на сцену выходит малюсенький Соликамск, старинный богомольный городишко — будущий окружной центр.

Председатель калийного треста т. Баварский в Соликамске, где 13 церквей, произвел целую революцию. Он привез духовой оркестр и автомобиль. За оркестром стали ходить в клуб, на собрания, на лекции. Автомобиль навел страх и ужас. Весь будущий окружной город сбежался к зданию треста, когда в первый раз услышалли странный шум и хлопки мотора. И сейчас местные жители, как заслышат шум автомобиля, выводят лошадей на улицу, чтоб приучить их к машине.

Соликамск таит в себе неисчислимые запасы фосфоритов на много сотен лет.

В газетах промелькнули заметки об аварии на главной шахте. От слабого крепления вода затопила новую шахту, поглотив труд в несколько сот тысяч рублей. Вот в эту-то затопленную шахту мы решили спуститься. Пока мы переодевались (нужно одеться во все резиновое: штаны, рубаху, шляпу), дежурный — молодой инженер т. Пучков — рассказывает:

— Первые строители считали эту шахту только разведочной. Но ВСНХ, да и мы все понимаем, приказывает: «Наша республика не может разбрасывать деньги. Шахта должна быть не только разведочной, но и эксплоатационной».

Мы смотрим сверху вниз. Шахта — гигантский колодец, а внизу, метров на 10, где бурчит и бушует вода, в серых резиновых костюмах копошатся люди. Несутся грохот и лязг железа.

— Вы не знаете, как нам было больно засыпать эту шахту, а надо, иначе воду не остановить, — говорит т. Пучков, повиснув, как гибкая обезьяна, на лестнице. — Надо сказать, что молодые специалисты побеждают, по нашему требованию завалили шахту, иначе бы ее разнесло...

Мы на глубине 10 метров попали в какой-то ливень. Вода била снизу, сверху, с боков. Вода — смертельный враг. День и ночь работают насосы. Три метра откачают, два прибавится. Каждый отбитый сантиметр у воды — большая победа рабочих. Рабочие здесь зарабатывают за 6 часов 14 рублей, но не всякий остается работать. Все время в студеной воде, — разве может согреть резина?

Когда мы вылезли «на свет божий», т. Пучков — этот молодой, самоотверженный специалист — сказал:

— Величайшее желание во что бы то ни стало победить стихию заставляет нас здесь работать. И мы победим.

Они, я верю, победят. Наших молодых специалистов я видел на платиновых приисках, на Губахе, в шахтах. Это они раскапывают уральские миллионы, это они совместно с рабочим классом строят Советскую республику.

Неизданные литературные работы В. В. Воровского.

При разборе бумаг покойного В. В. Воровского т. Ганецким было найдено несколько тетрадок, писанных рукой Воровского. Тетрадки эти т. Ганецкий передал мне как материал для подготовляемого собрания сочинений Воровского. Более подробное изучение тетрадок показало, что они заключают ряд нигде пока еще неопубликованных критических статей Воровского. По плану издания литературно-критические статьи должны войти только во второй том собрания сочинений Воровского, а между тем найденные статьи представляются мне настолько интересными, что жалко оставлять их в портфеле неопубликованными в течение нескольких месяцев. Редакция «Красной нови», которой я показал рукописи, пришла к тому же выводу и просила меня передать ей эти статьи.

Найденные рукописи Воровского представляют интерес в двух отношениях. Во-первых как образчики прекрасной строго марксистской критики. Хотя большинство литературных произведений, о которых говорят эти статьи, уже вышло в настоящее быстро бегущее время из круга книг, читаемых современными читателями, тем не менее умные, тонкие, написанные прекрасным литературным языком, статьи Воровского, посвященные этим полузабытым книгам, читаются с большим интересом и должны бесспорно войти в списки лучших наших образцов марксистской критики и в историю литературы.

С другой стороны, найденные рукописи показывают манеру письма покойного Воровского и с этой стороны представляют также большой интерес.

По времени написания найденные статьи можно разделить на два периода. Три из них относятся к 1902—1903 гг. и представляют одни из первых статей Воровского, во всяком случае первые из известных нам его критических статей. Написаны они были, вероятно, за границей в то время, когда Вацлав Вацлавович жил или в Италии или в Мюнхене. Одна статья явно относится к 1912 г.

Изучение биографии Воровского показывает, что уже во время его ссылки в Вятскую губернию, он очень остро чувствовал тягу к лите-

ратурной работе. В опубликованных недавно его письмах к А. Н. Потресову [1]) ярко сквозит эта тяга, — его восторг после появления в печати первой его статьи («Письмо в редакцию» журнал «Жизнь»), его надежды, что ответ П. Струве, против которого было направлено «Письмо», даст ему возможность выступить со второй статьей в том же журнале. «Должен признаться — пишет он — что прочел себя с удовольствием и испытал ту же степень удовлетворенности, что и при первом прочитывании рукописи. Быть может действительно первый блин вышел не «комом», а может быть — просто «прелесть новизны». «Вы предполагаете, — пишет он, — что уязвленный лев (т. е. Струве) будет защищаться. Только этого и жду. Задору теперь у меня пропасть».

В тех же письмах Воровский описывает свою манеру работать. Пишет он, по его выражению, «под наитием» «с ускоренным пульсом».

Но «Жизнь» по своему невыдержанному направлению, по своей склонности к реформизму, не подходила к ортодоксальным революционным взглядам Воровского, который строго, целомудренно смотрел на литературную работу и не хотел сотрудничать в изданиях, направление которых не вполне согласовывалось с его взглядами. В том же только что цитированном письме Воровский пишет: «Только при вызове со стороны обиженного моим неприличием (т. е. Струве), я могу позволить себе удовольствие «писнуть». Писать вообще в «Жизнь» я не хочу, а писать без вызова на какую-нибудь хотя бы и ругательную тему будет уже писать вообще».

И Воровский, скрепя сердце, отказывается от литературной работы. Но он серьезно и усердно готовится к будущей литературной работе. Он пишет статью о Горьком, придавая ей литературную форму, и посылает ее Потресову. «Форма изложения, — пишет он, — имеет вид статьи, чтобы вы могли убедиться, в состоянии ли я изложить свои мысли в удовлетворительном виде». Он начинает работу о Чехове («О вымирании хороших людей в драмах Чехова») и пишет о ней Потресову. «Вторая глава вчерне набросана; теперь уже не ради гордых мечтаний, а ради изложения возникших мыслей, с целью проверки их в более благоприятных условиях». Другими словами, не имея надежды видеть свои статьи в печати, Воровский пишет их, чтобы научиться владеть пером. И он действительно мастерски оттачивает свое перо.

Три из переданных мною в редакцию «Красной нови» статей были написаны Воровским в 1902—1903 гг., т. е. в то время, когда он не начинал еще работать в области литературной критики, когда не было еще журнала, в котором он мог бы надеяться помещать свои статьи, когда он, кажется, не выступал еще (или только еще начинал выступать) с политическими статьями в заграничной «Искре». Это заставляет предполагать, что найденные статьи 1902—1903 гг. относятся к той же категории работ, как и написанные в ссылке (и повидимому потерянные) статьи о Горьком

[1]) См. сборник «Социал-демократическое движение в России». В этом сборнике переписки А. Н. Потресова опубликовано 6 интересных писем Воровского, относящихся к периоду его жизни в Орлове.

и Чехове. Публикуемые нами статьи представляют таким образом начало литературной деятельности Воровского как критика. Внимательное чтение этих статей покажет современным молодым литераторам, часто чересчур поспешно бросающим в печать свои первые работы, как серьезно готовились к литературной деятельности старые марксистские литераторы старой большевистской гвардии.

Статья «В кругу и вне круга» написана по поводу повести С. Юшкевича «Вышла из круга», напечатанной в № 10 «Сборника знания» в 1912 г. Это заставляет предполагать, что статья Воровского была написана в том же 1912 г., т. е. относится ко времени жизни его в Одессе.

Вообще одесский период жизни Воровского характеризуется необыкновенно энергичной его работой в области литературы. К этому времени относится поистине громадное количество его статей в различных одесских газетах и ряд блестящих литературно-критических статей в различных сборниках и журналах. К числу их надо прибавить теперь публикуемую нами статью «В кругу и вне круга». Какие-то обстоятельства помешали, повидимому, этой статье своевременно появиться в печати.

В заключение — несколько слов о внешности найденных рукописей Воровского.

Статья «Раскол в темном царстве» посвящена пьесе Найденова «Дети Ванюшина», появившейся в 1902 г. Написана она чернилами, от руки, в синей ученической тетрадке. На обертке тетрадки — белая наклейка: «Книжный склад Вятского губернского земства». Формат — четверть листа. Рукопись написана с обеих сторон бумаги, что заставляет думать, что она не предназначалась для печати. Страницы перегнуты пополам и рукопись заполняет только один левый столбец: второй — «поля» — служил для поправок и дополнений, которых оказалось очень много: рукопись тщательно исправлялась. Под статьей нет никакой подписи.

Та же рукопись переписана еще раз в другой самодельной тетрадке, составленной из сшитых листов. Формат — поллиста. На этот раз текст написан без всяких «полей» и с очень небольшими и редкими поправками, рукопись написана на одной стороне листа. Под статьей была какая-то подпись, но конец страницы тщательно обрезан так, что от подписи остались только верхушки двух букв. Можно предполагать, что это были буквы «Ю» и «А». Напомним что первым литературным псевдонимом Воровского было имя его первой жены — Ю. Адамович.

Статья без заглавия [1]) по поводу М. Горького (полемика с Ляцким) написана чернилами в такой же самодельной тетради (размер — поллиста). Написана с одной стороны бумаги. Помарок и поправок почти нет. Нет и белых полей. Нижняя часть последней страницы аккуратно отрезана (это заставляет предполагать, что там была какая-то подпись).

---

[1]) Это заглавие, повидимому, существовало, но верхняя часть страницы тщательно и аккуратно обрезана.

Статья Ляцкого, с которой полемизирует Воровский, появилась в № 11 «Вестника Европы» за 1901 г. Это заставляет думать что статья Воровского была написана им или в конце 1901 г. или в начале 1902 г.

Статья «Ева и Джиоконда» написана также чернилами на листах белой бумаги, но несшитых в тетрадку (формат — поллиста) приблизительно такого же хорошего качества, что и две предыдущие статьи. Написана с одной стороны бумаги, без полей. Поправок почти нет. Низ последней страницы тщательно обрезан, так что обрез захватывает последнюю строку, которую поэтому разобрать нельзя.

Статья «В кругу и вне круга» написана чернилами в ученической тетрадке, но лишенной синей обложки. Написана с обеих сторон. Поля — в полстраницы, во многих местах заполненные поправками и вставками. Под статьей нет никакой подписи.

Н. Мещеряков.

I [1]).

Тяжела подчас бывает доля руководителей «солидного» органа, рассчитанного на читателей из «порядочного» общества. Жизнь вращается по своим собственным законам, не всегда согласным с формулой «солидных» органов, и поворачивается к читателям их нередко такой стороной, что «солидные» органы только руками разводят от недоумения. А наивный читатель с навязчивостью enfant terrible'а пристает с вопросами: «папа, а это что?» Волей-неволей приходится допускать на страницах органа обсуждение таких вопросов, о которых и думать бы не хотелось...В такое тяжелое положение был недавно поставлен самый «солидный» из наших журналов — «Вестник Европы».

Вот уже около 10 лет, как в русской художественной литературе появилась новая личность и заняла в ней прочное положение. Сначала в провинциальных изданиях, потом и в столичных, сперва изредка, потом все чаще, начали появляться рассказы, подписанные скромным псевдонимом «М. Горький». Обаяние этих рассказов, дышавших свежестью весны, усиленное еще исключительными обстоятельствами жизни автора, завоевало для него прочные симпатии читающей публики и поставило его наряду с первоклассными литературными силами современности. Постоянное сотрудничество автора в периодической печати, а также четыре издания его рассказов, последовавшие в короткий промежуток последнего трехлетия, — все это давно определило отношение к автору разных групп русского общества и их огранов. Только один орган, пользующийся известным авторитетом, упорно молчал до сих пор о новом явлении: это был «Вестник Европы».

Но где же кроется причина такого пренебрежительного отношения? Читатели, знающие литературную и общественную физиономию «Вестника Европы», легко поймут секрет нерасположения его к г. Горькому, если представят себе, что такое наш автор и его герои, — по крайней мере, что такое они с точки зрения «Вестника Европы». В приличный,

---

[1]) Настоящая статья о М. Горьком, как указано в предисловии т. Н. Мещерякова, найдена без заглавия. После нее помещается статья «Раскол в темном царстве». Статьи: «В кругу и вне круга» и «Ева и Джиоконда» будут помещены в следующем номере «Красной нови».

корректный салон «Вестника Европы» г. Горький впустил «особый мир героев силы и смелости, вернее наглости, натур решительных и цельных, не знающих противоречий теории и практики жизни. И сам по себе М. Горький представляет эффектную фигуру, не стыдясь, а скорее гордясь своим прошлым уличного бродяги, торговца яблоками и квасом баварским. Еще вчера сам отверженный от общества, он ввел с собой целую армию таких же отверженных, но притом отверженных бесповоротно, — воров, убийц, профессиональных разбойников и грабителей, развратников, неисправимых пьяниц, отъявленных наглецов, и не только не выразил при этом чувства брезгливости или отвращения, но с увлекательною художественностью, даже с упоением, начал рассказывать о той грязи, в которой они живут, и о том, что творится у них в уме и сердце от этой преступной и смрадной во всех смыслах жизни» [1]).

Не правда ли, ясно? Нельзя же требовать от охранителей устоев порядка, чтобы они вводили в общество своих подписчиков весь этот сброд, или хотя бы автора его, который представляется корректному журналу лишь primus inter pares среди этого сброда. Действительно, представьте себе нашего автора рассказывающим в избранном обществе читателей «Вестника Европы» «скверные анекдоты» из той эпохи своей жизни, когда он был «уличным бродягой» и торговал «яблоками и квасом баварским»!!

Однако трудно бороться с течением. «Легкомысленность» публики давно отметила автора всех этих «убийц, воров и пр». и «вознесла» его даже на высоту, «еще, быть может, далеко им не заслуженную», по словам г. Ляцкого (стр. 274). Пока он стоит на этой высоте, он слишком заметен, даже для читателей «Вестника Европы», — заметен, несмотря на упорную попытку закрыть его молчанием тридцатишестилетнего «солидного» органа. Волей-неволей приходится faire la bonne mine au mauvais jeu и заговорить о неприятном человеке. И вот неблагодарная и трудная задача, — представить г. Горького и его «сброд» читателям «Вестника Европы» — выпадает на долю г. Ляцкого. Г. Ляцкий, ничтоже сумняшеся, берется за этот искус и выполняет его, надо признаться, блистательно.

Сколько неприятностей пришлось перенести почтенному критику, читатель легко себе представит. «Все эти Челкаши, Объедки, Кувалды, Кубари, Тяпы, Пиляи, — жалуется г. Ляцкий, — пришли с М. Горьким и без всякого смущения расселились в гостиных и кабинетах «мыслящих» и «читающих» интеллигентов (т. е. у г. Ляцкого), нимало не заботясь о принесенном с собой запахе трущоб и винного перегара» (стр. 287). Г. Ляцкий, собственно говоря, ничего не имеет против этих бедных людей. Он даже любит народ. Правда, он любит тот народ, который «создал замечательную народную поэзию, эпос с его идеалами свободной, но гуманной силы, сказки и пословицы, проникнутые идеей торжества правды и добра на земле, и т. д.» (стр. 292); но он гуманен, потому что человеку, «причастному к литературе Пушкина, Тургенева, Льва Толстого», нельзя быть негуманным (стр. 285), он готов снизойти к этим пролетариям, он даже в состоянии «невольно залюбоваться ими, раскинувшись в комфортабельном кресле своего кабинета» (стр. 293), но — увы —«не мольбой об участии и подаянии зазвучали их речи, но гордостью независимости, едкой насмешкой людей, прошедших огонь, воду и медные трубы». После такого афронта оставалось только отбросить всякую сентиментальность и взяться за дело. И. г. Ляцкий взялся очень просто. Он

[1]) «Вестник Европы», ноябрь 1901 г., Евг. Ляцкий, М. Горький, стр. 286.

вырезал своего рода морально-общественный шаблон, руководствуясь формулой, что для «развития нашего самопросветления» «нужным и важным деятелем» является только «писатель-гуманист» (стр. 285); объяснение же слова «гуманист» смотри в моральных прописях. Под эту морально-общественную марку г. Ляцкий подводит по очереди всех своих посетителей из «сброда» г. Горького и тут же сортирует их: подошел — хорошо, становись направо; не подошел — с богом. Благодаря этой сортировке число допущенных в порядочное общество героев г. Горького сошло почти на-нет. По имеющимся у нас двум спискам (стр. 289 и 300) кроме автора допущены: Кирилка, супруги Орловы, Мальва со своими поклонниками, пекаря из «Двадцать шесть и одна» и Наташа из «Однажды осенью». Они составляют, так сказать, издание М. Горького для благородных девиц.

Но и отверженных не оставил г. Ляцкий на произвол судьбы. Он подзывает Коновалова и Тихона (из рассказа «Тоска»). «Инстинктом Коновалов чувствует, — говорит он, — в чем заключается эта «штука», которой у него, бедного, нет, и он тянется к ней, как утопающий к берегу, еле видному за туманом. В знании, в грамоте «штука» эта для всех Коноваловых[1])...» восклицает г. Ляцкий, перефразируя известную пословицу об учении-свете из того же сборника прописей. После этого он отпускает всех забракованных, снабдив их на дорогу изданиями «Посредника». В добрый час, г. Ляцкий, им это хоть на папироски пригодится!

Отпустив неприятных посетителей, г. Ляцкий отворяет дверь в залу, где уже собрались читатели «Вестника Европы», и начинает публичный суд над главным виновником — г. Горьким. У г. Ляцкого сильны прокурорские наклонности, и он прибегает к самым разнообразным средствам, чтобы вызвать раскаяние у подсудимого. В первую минуту он хочет огорошить его и, что называется, сразу берет быка за рога:

— А помните ли, г. Горький, как вы однажды осенью воровали с голодной проституткой хлеб из ларя? — начинает г. Ляцкий «с поразительной откровенностью» (стр. 287—288). Скомпрометировав сразу нашего автора в глазах своей аудитории обвинением в подкапывании главного устоя — собственности, г. Ляцкий переходит к другим пунктам:

— Вы подрывали великий принцип свободы, смешивая его с понятием бродяжеской, беспаспортной жизни. Вы ставили задачей людей жить для свободы вместо свободно жить (стр. 294—295). Да и вообще не понимаю, зачем вы говорили вашим босякам о свободе? «Где свобода есть на самом деле, там о ней не говорят, не замечают ее, как не замечают чистого воздуха люди со здоровыми легкими» (стр. 295). Так о чем же тут толковать?

— Вы подрывали великий принцип труда, заставляя Орлова уйти в конце концов в босяки, вместо того, чтобы честно работать сапоги на порядочных людей. Для нас это и психологически нелепо. «Кто прозрел, тот не пойдет в босяки, да еще с ремеслом в руках и привычкой к труду».

Вы унизили деревню и народ — эти основы всякого благоустроенного общества. Конечно, обстоятельства вашей жизни «не дали вам возможности узнать деревню и, если не полюбить, то хоть понять ее, — оттого вам в деревне «невыносимо тошно и грустно»... Но ваши герои — «это народ особый, отверженный или, точнее, сам себя

[1]) Просто и ясно, и нечего голову ломать!

отвергнувший (sic!) [1]) от своих собратьев, хищный, озлобленный бессмысленной злобой голодного волка, по-волчьи рассуждающий и думающий (?), и потому миросозерцание его стало волчьим по существу и, как таковое, не может быть сравниваемо без ущерба для здравого смысла с истинно-народным, в котором темною мыслью руководит глубоко-человеческое чувство» [2]). Поскольку вы, г. Горький, признаете себя «солидарным с миросозерцанием своих героев, постольку вы, если можно так выразиться, антинароден».

После этого рода тяжких обвинений г. Ляцкий несколько смягчает голос и начинает говорить с укором:

— Вы совершенно непозволительно отнеслись к нам, к интеллигенции... В детстве и юности, «в то время, как ваши товарищи только (!) [3]) воровали, пили, безобразничали» и т. д., вы (между прочим?) «читали разные книжки и т. п.»; а кто писал эти книжки? Мы, интеллигенция! Впоследствии мы с восторгом раскрыли вам свои объятия, а вы отнеслись к нам высокомерно. Мы приняли вас в свой круг, — вы назвали нас, интеллигенцию, дряблой, эгоистичной, фальшивой. Ведь мы же помогли вам «путем бесед с интеллигентными людьми и книжек, созданных ими же, выделиться из среды босяков и сознать своеобразные черты их внешнего и внутреннего быта — черты, которых вы, наверное бы, не заметили, если бы жили одной с ними жизнью (!). Словом, интеллигенции, после вашего таланта, вы обязаны своим образованием —интеллигента-художника» (стр. 297). А вы... нехорошо, нехорошо, г. Горький!

Разжалобив и себя и публику, а, вероятно, и подсудимого этим пунктом обвинительной речи, г. Ляцкий продолжает уже совсем мягко, с оттенком интимной фамильярности:

— Ведь мы знаем, г. Горький, что вы по натуре — не босяк, а художник-гуманист. Ваше босяцкое состояние было временным и наносным. Если собрать те отрывки ваших сочинений, где вы так искренно говорите от своего лица, то не останется никакого сомнения, что вы — натура мягкая и любящая, отзывчивая на людское страдание и горе, но болезненно раздражительная и нервная. Помните отзыв о вас Коновалова: «как все это жалостливо у тебя. Слабый ты, видно, на сердце-то!» Кто же прав: Коновалов, утверждающий, что вы «слабы на сердце» и «жалостливы», или вы сами с вашим якобы преклонением перед силой и дерзостью хищных зверей? И может ли человек жалостливый и любящий, человек книжный и рассудительный (sic!) не фальшиво спеть песню о том, что «безумство храбрых — вот мудрость жизни?» (стр. 300). И что за охота вам «принимать эффектные позы, драпироваться необыкновенными чувствами и громкими фразами»? Кого вы морочите? Ведь знаем мы, что ваша истинная мораль — чисто «народная мораль, христианская по существу, и нужная и важная для жизни». А то вдруг эта гадость, эта так называемая «Песня о соколе» [4]). Что за «галиматья»! «Безумству храбрых поем мы песню»! Стыдитесь таких бездарных вещей, г. Горький! Что вы шепчете? Вы, кажется, сказали: «рожденный ползать — летать не может»? Нет? Я, может, ослышался... Объявляю перерыв.

После перерыва г. Ляцкий, убедившись наконец, что публика восприняла г. Горького в исправленном и единственно «нужном и

---

[1]) Что-то вроде гоголевской унтер-офицерши!

[2]) Как видите, не одного г. Горького, но и весь мир г. Ляцкий оценивает с точки зрения прописной морали.

[3]) Это наивное «только» переходит все границы литературных приличий.

[4]) Рекомендую всем прочесть этот замечательный «разбор» г. Ляцким «Песни о соколе». Здесь он, подобно птице Сирину, «сам себя позабывает».

важном» виде, предлагает подсудимому подписать следующий акт отречения:

«Я, нижеподписавшийся, М. Горький, признаю, что мой жанр — одна, много две человеческие фигуры, мирный пейзаж, море, солнце и воздух. Здесь я у себя дома, здесь я — тонкий эстетик и не менее тонкий психолог, стоящий в раздумьи над вечными сумерками духа, вечными проблемами человеческого бытия, которые становятся тем глубже, чем напряженнее добиваешься их разгадки».

Среди целого ряда конфликтов и противоречий, выдвигаемых процессом развития общественной жизни, есть одно весьма существенное, хотя не бросающееся резко в глаза, — именно противоречие между содержанием жизни и вырабатываемой ею формой. Содержание жизни несравненно богаче и разнообразнее, чем те формы, в которые старается она втиснуть это содержание в ходе исторического развития. С самым жестоким ригоризмом укладывает она бесконечное богатство жизненных явлений на прокрустово ложе сложившихся общественных форм и безжалостно уродует все, что не хочет поместиться в этих тесных рамках. И, все-таки, как ни старается рутина общественной жизни свести всю совокупность общественных явлений к немногим, выработанным ею рубрикам, есть в самом процессе жизни фактор, вечно протестующий против этого ригоризма: фактор этот дифференциация. Она настойчиво стремится разлагать установившиеся отношения, разрушать сложившиеся общественные организмы, выделяя из них элементы, всплывающие наподобие пены или шлаков на поверхность общественной жизни. Представляют ли эти шлаки ненужный отброс в процессе развития или же в них кроются ценные частицы — и в этом и в другом случае свидетельствуют они, что в этом процессе не все обстоит благополучно, что сам этот процесс вмещает не все силы и способности, а, стало быть, удовлетворяет не все потребности и нужды. И чем больше таких шлаков скопляется на поверхности жизни, и чем большую ценность заключают в себе они, — ценность, конечно, «не общественную, не положительную, а отрицательную, указывающую, чем они не были, но могли быть, — тем меньше, значит, существующий строй отношений удовлетворяет запросам всей жизни во всем ее богатстве и разнообразии. Но такова судьба всякого стихийного, бессознательного, в том числе и исторического процесса, что раз начавшееся развитие должно итти до того предела, пока не превратится в нелепость, а следовательно в сознанный факт, или пока постороннее влияние не изменит его хода. Таким образом, и тот общественный процесс, который заставил вдавливать жизнь в тиски определенных общественных форм, идет и развивается, не считаясь с тем, что жизнь движется совсем иным путем, что она все более и более усложняется и разнообразится. Благодаря этому основному противоречию формы и содержания все больше и больше сил выбрасывается за борт, благодаря этому становится «тесно и душно» людям на свете, несмотря на то, что чуть не с каждым днем завоевываются все большие и большие области в физическом и духовном мире.

Я указал на то, что жизнь становится все богаче, все разнообразнее. Но чем более осложняется она, чем более элементов входит в нее в виде слагаемых, тем больше возможности для новых сочетаний, тем больше новых типов создает она. И каждый новый тип — индивидуальный или коллективный — предъявляет свои требования, ищет занять свое место на жиз-

ненном пиру, получить свою долю в общем богатстве. Но жизнь не одинаково относится к своим детям: для одних она — мать, для других — злая мачеха. Современная жизнь — жизнь общественная — не знает человека вообще; чтобы получить в ней права гражданства, нужно предъявить своего рода паспорт, установить свою общественную физиономию.

В вечной борьбе за существование, которую пришлось вести человеку, в борьбе с природой, с одной стороны, в борьбе с человеком же за первенство и господство — с другой, выработались те формы общежития, вызванные потребностью разделения труда и организации производительных сил общества, которые являются столь характерными для цивилизованных народов. Формы эти — классовая группировка общества. Общественное производство, общественная эксплоатация природных богатств и производительных сил, превратила общество в своего рода механизм, где отдельные классы и группы поставлены друг к другу в отношения, наивыгоднейшие при данных исторических условиях для достижения основной цели — общественного производства. Главным же руководителем и регулятором этого механизма является та общественная группа, которую ход исторического развития поставил во главе общества. Имея в своих руках власть организовать и регулировать строй общественных отношений, она организует его применительно к наиполнейшему удовлетворению своих потребностей. В интересах этой группы, конечно, обеспечить, по возможности, санкционированный ею порядок вещей, как наиболее соответствующий ее потребности. Благодаря этому она всеми силами старается сохранить те групповые деления, на которые разбилось общество в процессе общественного производства. Дробясь в интересах этого производства на целый ряд больших или меньших групп, общество представляет очень пеструю картину. Каждая такая группа образуется на почве общности материальных интересов, на тождестве способов добывания средств к жизни. Эти одинаковые экономические условия порождают одинаковую психологию у членов данной группы, одинаковые правовые и нравственные понятия. Экономически необходимое становится психологически необходимым, нравственным, законным. Создается, таким образом, свой мирок понятий и взглядов, мирок, хотя и подчиняющийся некоторым воззрениям доминирующей группы, так называемым понятиям — всего общества, — но в то же время свято охраняющий и свое специфическое миропонимание.

Таким образом современное общество представляет ряд отдельных мирков со своими более или менее мелкими интересами, и нужно непременно принадлежать к одному из этих мирков, чтобы получить права гражданства в обществе. «Жить» при современных условиях — значит поддерживать свое существование определенным родом труда или дохода. Физиологическое понятие замещается экономическим. Но что бы «жить» в этом смысле слова, необходимо приспособиться и по общественному положению, и по своему мировоззрению к определенной общественной форме. Общественно-экономическое положение современного человека и его классовая психология — это две стороны одной и той же медали. Там же, где замечается разлад между этими явлениями, — мы имеем дело с разлагающимся типом. К нему теперь я и постараюсь перейти.

Я уже имел случай указать, что жизнь в ее стихийном проявлении бесконечно богаче, чем историческая, общественная форма организации ее. И как ни стараются люди втиснуть в эти тесные рамки весь комплекс общественных явлений, — это им не удается. Процесс дифференциации постоянно разнообразит сложившиеся типы, и у одной и той же пары родителей появляется ряд потомков, далеко не сходственных между

собой. Одни из них по своему психологическому типу вполне подходят к какой-нибудь существующей общественной группе, другие не вполне, — им приходится принуждать себя, делать уступки, итти на компромиссы. Им случается нередко разыграть роль «титанов», прежде чем превратиться в «простых филистеров» [1]). Но найдутся и такие крайние типы в этом ряду потомков, которые не подходят по своему духовному складу ни к какой общественной группе, или по меньшей мере к своей. Нужна коренная ломка характера, а не простой компромисс, чтобы приспособить их к какой-либо из установленных форм жизни. Среди этих крайних представителей можно отметить два типа, родственные по происхождению, но играющие совершенно различные роли в общественной жизни. Первый тип — тип глубоко общественный — апеллирует от мертвящей обстановки своей родной группы к обществу, но к обществу не существующему, не слепому механизму, не стремящемуся со стихийной силой к неведомой ему цели, а к обществу высшего порядка, опирающемуся на сознательной творческой деятельности. Этот тип воплощает по преимуществу интеллектуальный, идеалистический, альтруистический протест против житейской пошлости. Второй тип — резко индивидуалистический, больно чувствующий свою отверженность от общества и за это презирающий и ненавидящий его, как своего рода тюрьму, ставящий своим идеалом не общее благо, а лишь свободу и простор для личности, — прежде всего, конечно, для своей личности. Этот тип, — антиобщественный, анархический по своему психическому укладу, — вырождается в жизненной практике в еще большую крайность.

В рамки настоящего письма не входит рассмотрение первого из названных типов. Я позволю себе поэтому остановиться только на втором, именно на том, из среды которого появляются герои «босяцких» рассказов г. Горького.

Чтобы понять такие «волчьи» натуры, как Челкаша, Промтова и др., необходимо присмотреться, как дошли они до такого положения; для этого следует изучить ту среду, из которой они вышли, и те промежуточные ступени, по которым им пришлось проходить. Рассказы г. Горького дают целую галлерею типов, рисующих нам самые разнообразные оттенки босяцкой психологии и довольно ясно выраженную эволюцию вида «босяк». От Уповающего в рассказе «Дружки», не отрешившегося еще от крестьянской психологии, до Челкаша, представляющего уже вполне сложившийся тип хищника, — целая лестница промежуточных ступеней. Чтобы разобраться в этой галлерее, необходимо по возможности обобщить личности героев в определенные психологические типы, т. е. отбросить все индивидуальные, случайные черты и выделить все общее, характерное для типа.

Выше я заметил, что основным толчком, который вышибает людей из строя, гонит их в подонки общества, является неприспособленность их психологии к формам общежития, выработанным жизнью. В современной жизни трудно найти место цельному человеку, живущему всеми способностями и чувствами. Жизнь не дает поля приложения для этих способностей, — и они чахнут. Общественные потребности, постоянная борьба за жизнь развивают в человеке и выдвигают на первый план только известные черты психики, придавая им житейский, будничный характер; остальные черты играют для него роль как бы роскоши, праздничного наряда. У натур же неприспособленных сильнее выражены черты не необ-

---

[1]) Выражение тоже одного из сотрудников «Вестника Европы» — г. Спасовича в речи в защиту Кузнецова. Не правда ли, характерное выражение?

ходимые, «праздничные», — к «будничным» же чувствуют они полное презрение. Эта неприспособленность их психики к условиям жизни вытесняет их мало-по-малу из общества, деклассирует, развивая этим еще более характерные «антиобщественные» черты.

«Я человек, которому в жизни тесно, — говорит Промтов («Проходимец»). — Жизнь узка, а я — широк... Может, это неверно. Но на свете есть особый сорт людей, родившихся, должно быть, от Вечного жида. Особенность их в том, что они никак не могут найти себе на земле места и прикрепиться к нему. Внутри них живет тревожный зуд желания чего-то нового... Таких людей в жизни не любят — они дерзновенны и неуживчивы. Ведь большинство людей — пятачки, ходовая монета... и вся разница между ними — в годах чеканки. Этот — стерт, этот — поновее, но цена им одна, материал их одинаков, и во всем они тошнотворно схожи друг с другом. А я вот не пятачок... хотя, может быть, я семишник»... [1]). Слова эти преисполнены гордого самомнения и даже культа этой исключительности, этого «не как все». Но такова основная черта вполне сформировавшегося босяка, а Промтов как раз является одним из резких представителей цельного, завершившегося типа. Как и всякий завершенный тип, он приобрел некоторую твердость, окостенелость, попал тоже в своего рода общественную форму [2]). Гораздо интереснее и поучительнее те из героев рассказов г. Горького, которые не дошли еще до этой крайней ступени развития. Таким, например, представляется Коновалов. Его роли переходного типа [3]) соответствует и неясная, колеблющаяся психология. Коновалов еще тесно связан с обществом; он живет, поскольку может, ремеслом, он не оторвался еще от среды, породившей его, и потому исходная точка его мышления лежит в психологии этой среды. Он уже чувствует подобно Орлову («Супруги Орловы»), что «жизнь — яма», но решая посвоему общественный вопрос, он исходит не из отрицания общества, а, напротив, из чисто социальной точки зрения. «Нужно такую жизнь, чтобы в ней всем было просторно и никто никому не мешал», заявляет он. Или: «кто должен строить жизнь?» — спрашивает он и, не запинаясь, решает: «мы! сами мы!» [4]). Подойдя к этому решению, он начинает философствовать на тему: «что такое мы?» И оказывается, что он — лишний человек. «Живу и тоскую, — бичует он себя. — Вроде того со мной, как бы меня мать на свет родила без чего-то такого, что у всех других людей есть и что человеку прежде всего нужно» (стр. 20), т. е. именно без «будничных», «практичных» черт. «И не один я, — продолжает он, — много нас этаких. Особливые мы будем люди... и ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы, — чтобы нас искоренять из жизни» (стр. 22). Это странное заключение относится всецело к личной психологии Коновалова. Коновалов — большой субъективист; мы видели, что к общественному вопросу он подходит со стороны своего «я», и в оценке своей личности руководится он тем же началом. Он находит, что у него внутри нет такой «точки», на которую он мог бы опереться; отсюда он заключает о своей непригодности. В этом его коренная ошибка. Отсутствие «точки» — это только субъектив-

---

[1]) М. Горький, Рассказы, СПБ, 1901, т. III, «Проходимец», стр. 200.

[2]) Хотя она может быть названа общественной лишь как выросший на обществе паразит.

[3]) Это не значит, что Коновалов как личность может со временем превратиться в Челкаша или ему подобных. Переходным он является при рассмотрении вида «босяк», принимая Челкаша, Промтова и им подобных за готовый, конечный тип.

[4]) М. Горький, Рассказы, т. II, стр. 32.

ное отражение неприспособленности его к установившейся форме общежития. Им, Коноваловым, действительно нужны «особые законы», чтобы они могли быть полезными членами общества. Нужна такая общественная организация, при которой их потребности, их психические черты были бы не придатком к другой психологии, а господствующим, «будничным» настроением. При таких благоприятных условиях приспособленности эти люди с их неясной жаждой чего-то, с их упорством и силой характера могли бы сыграть крупную роль, могли бы подняться до героизма. Мы знаем, что в критические моменты в жизни европейских обществ так называемые подонки общества выставляли нередко кадры самоотверженных деятелей, что давало повод противникам смешивать само движение с шайкой воров и бродяг. Психологическая возможность для Коноваловых подняться до подвига прекрасно представлена г. Горьким на личности Орлова («Супруги Орловы»). На этом рассказе, как самом замечательном с публицистической точки зрения, я позволю себе остановиться дольше, чтобы иллюстрировать развиваемую мысль.

Григорий Орлов по профессии сапожник; человек он сметливый, знает мастерство; он женат и любит свою жену, — казалось бы, имеются все элементы, чтобы создать скромное мещанское счастье. «Другие живут — не жалуются, а копят денежки, да свои мастерские на них заводят и живут потом уже сами-то, как господа» [1]). А Орлов не может примириться со своей жизнью. «Научился я мастерства... — рассуждает он, — это вот зачем? Али, кроме меня, мало сапожников? Ну, ладно, сапожник, а дальше что? Какое в этом для меня удовольствие?.. Сижу в яме и шью... потом помру... И зачем это нужно, чтобы я жил, шил и помер?» (стр. 90). И вот с горя и тоски от такой жизни Орлов стал запивать; периодически, от времени до времени, на него нападали приступы беспричинной злобы, во время которых он безжалостно избивал жену и напивался в кабаке в веселой компании. Приступы эти начали повторяться все чаще, и Орлов бесповоротно шел по наклонной плоскости, внизу которой ожидала его печальная участь босяка. Но пока он еще держался в положении ремесленника и, подобно Коновалову, старался объяснить свое несчастье с точки зрения личной неприспособленности. Впоследствии, дойдя-таки до положения босяка, он иначе посмотрит на вещи, и, как подобает истинному босяку, будет винить общество в своих неудачах. Пока же, не порвав еще связи с этим обществом, он считает его нормальным, правильным, себя же — непригодной единицей. «Я родился, видно, с беспокойством в сердце, — рассуждает он. — Характер у меня такой. У хохла [2]) он — как палка, а у меня, а у меня — как пружина; нажмешь на него — дрожит... Выйду я, к примеру, на улицу, вижу то, другое, третье, а у меня ничего нет. Это мне обидно. Хохлу — тому ничего не надо, а мне и то обидно, что он, усатый чорт, ничего не хочет, а я... и не знаю даже, чего хочу... всего. Н-да... Я сижу вот в яме и все работаю, и ничего нет у меня» (стр. 92). Сознавая свою неприспособленность к установившимся формам жизни, Орлов нисколько не сомневается в том, что его место в среде «босой команды». «В босяки бы лучше уйти,— говорит он. — Там хоть голодно, да свободно» (стр. 93). И эта участь постигла бы его гораздо раньше, если бы не вмешательство совсем постороннего случая.

В городе появляется холера, и начинается самоотверженная борьба с ней. Среди опасностей заразы, среди недоверия, почти враждебного

---

[1]) Рассказы, т. II, «Супруги Орловы», стр. 90 — слова жены Орлова.
[2]) Жилец на одном дворе с Орловыми.

отношения со стороны темной массы населения, борьба с эпидемией возвышается до подвига, до самопожертвования. Я упомянул выше, что неприспособленные к данной среде личности могут, при более благоприятных условиях, подняться до героизма. Таким условием является для Орлова холерная кампания с ее лихорадочной деятельностью, ежеминутной опасностью и ореолом подвижничества. Он поступает санитаром. Самоотверженность медицинского персонала, сознание, что «из-за денег так работать нельзя», увлекают Орлова, и он идеализирует свою роль, перенося героические элементы с личности на самое дело. Такое чуждое всякой поэзии явление, как зараза, принимает в его воображении художественный облик былинного характера. «Горит у меня душа, — признается с восторгом Орлов жене.— Хочется ей простора, чтоб мог я развернуться во всю мою силу... Эхма! силу я в себе чувствую — необоримую! То есть, если б эта, например, холера да преобразилась в человека... в богатыря... хоть в самого Илью Муромца,— сцепился бы с ней. Иди на смертный бой! Ты сила — и я, Гришка Орлов, сила, — ну, кто кого? И придушил бы я ее и сам бы лег... Крест надо мной в поле, и надпись: «Григорий Андреев Орлов... Освободил Россию от холеры». Больше ничего не надо» (стр. 127). Эта фантазия Орлова очень характерна для психологии неприспособленного типа. Он может подняться до героизма, но не может устоять на уровне планомерной, постоянной работы, как бы высоко он ее ни ставил. Отрицатель одной общественной формы, он, как крайний индивидуалист, не может примириться с другой формой, а всякая планомерная работа предполагает определенную общественную форму, определенный порядок. Если бы по щучьему велению изменились в одну ночь существующие общественные формы, и изменились в пользу неприспособленных, — они устранили бы возможность появления в будущем Орловых, Коноваловых и пр., но живых, сложившихся Орловых они не исправили б, самое большее — они увлекли бы их в первую минуту.

И действительно, после некоторого времени Орлов начинает задумываться. «Петр Иванович говорит: все люди равны друг другу, а я разве не человек, как все? Но, однако, доктор Ващенко получше меня, и Петр Иванович получше, и многие другие... Значит, они мне не равны... и я им неровня, я это чувствую» (стр. 131)... Освоившись со своим новым кругом и новой работой, Орлов замечает, что это тоже своего рода «будни», среди которых стынет его «праздничный» энтузиазм. Он столько времени, с такой жаждой карабкался по крутой скале на это плоскогорие — и вот теперь видит, что здесь так же живут, так же пасутся стада, так же светит солнце и дует ветер, как и на равнине. Здесь, в среде санитаров и врачей, он нашел тоже вполне определенные общественные формы и скоро почувствовал, что к этим формам, к психологии их представителей он так же не приспособлен, как и к оставленной внизу форме. Он оказался им неровня — и задумался... А тут случилось маленькое обстоятельство. В барак принесли Сеньку Чижика — мальчика с одного двора с Орловым. К вечеру Сенька умер. Смерть эта сильно повлияла на подготовленную уже к сомнению мысль Орлова. Умолкнувшие на время в его душе «проклятые вопросы» подняли голову, с деятельности его начала спадать завеса героизма, обнажая ее «будничную» сторону. «Его охватило расслабляющее сознание своего бессилия перед смертью и непонимание ее. Сколько он ни хлопотал около Чижика, как ревностно ни трудились над ним доктора... умер мальчик. Это обидно... Вот и его, Орлова, схватит однажды и скрючит... И кончено» (стр. 135)... Семя сомнения запало. Напрасно Орлов думает, что его мысль может облегчить разговор

с умным человеком —такими же мечтами утешает себя и Коновалов, — это одна иллюзия, желание хоть несколько заглушить внутреннюю неудовлетворенность и тоску. Интересную противоположность Орлову представляет его жена, Матрена. Вместе, в одинаковых условиях застаем мы ее с ним в подвале, где она помогает мужу шить сапоги, вместе поступают они в барак. Но везде Матрена является спокойной, уравновешенной, любящей женщиной, резко отличаясь от своего неугомонного мужа. В бараке, попав впервые в условия приличной мещанской обстановки, она сознает, как плохо жила прежде, и у ней является желание обеспечить за собой это тихое, чистое существование на будущее время. И когда муж ее начинает опять прежние пороки, она решительно отказывается от него и устраивается мастерицей при школе. Натура, вполне приспособленная к своей среде, она находит, наконец, удовлетворение и счастье в тихой, серенькой деятельности в этой среде. Не то ее муж. Уже скоро после смерти Чижика в нем пробуждается прежняя тоска. «Так мне тошно! — жалуется он. — Так мне тесно на земле! Ведь разве это жизнь? Ну, скажем, холерные — что они? Разве они мне поддержка? Одни помрут, другие выздоровеют... а я опять должен буду жить. Как жить? Не жизнь — одни судороги... Разве не обидно это? Ведь я все понимаю, только мне трудно сказать, что я не могу так жить... а как мне надо — не знаю.Их, вон, лечат, и всякое им внимание... а я здоровый, но ежели у меня душа болит, разве я их дешевле? Ты подумай — ведь я хуже холерного... у меня в сердце судороги — вот в чем гвоздь» (стр. 144).

Итак Орлов опять возвращается к своему прежнему душевному настроению; но все, что в нем притихло и укрылось в глубине души за время его увлечения санитарной деятельностью, разражается теперь с большей силою: он делает решительный шаг — идет в босяки. В конце рассказа мы встречаем его уже в подозрительном кабачке, развивающим чисто босяцкую философию. «И по сю пору, — признается он, — хочется мне отличиться на чем-нибудь... Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей и жидов перебить...[1]) всех до одного. Или вообще что-нибудь этакое, чтоб стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... И сказать им: ах, вы, гады! Зачем живете? Как живете? Жулье вы лицемерное, больше ничего! И потом — вниз тормашками с высоты... и вдребезги» (стр. 151).

В рассказах г. Горького можно найти еще очень много более или менее выпуклых характеристик, над которыми стоило бы остановиться. Но я ограничусь рассмотренными типами, не имея в виду вдаваться в подробную критику произведений нашего автора. Цель настоящего письма — выяснить определенную точку зрения, установить критерий для публицистической [2]) оценки произведений г. Горького в противоположность той прописной морали, из которой рекомендует исходить критик «Вестника Европы».

Теперь я позволю себе несколькими штрихами отметить отношение автора к его героям, ввиду всего, что свалил на его голову г. Ляцкий.

Изучив своих героев в жизни, по непосредственному личному знакомству, г. Горький подметил печальный для нашего общества факт, что за грубой оболочкой «волчьей» морали, или, вернее, практики жизни, в них кроются нередко такие жемчужины нравственных качеств, к кото-

[1]) Сравните с холерой — Ильей Муромцем.

[2]) Что касается художественной оценки творчества г. Горького, я могу только подписаться обеими руками под благосклонным приговором г. Ляцкого.

рым тщетно апеллируют современные писатели и мыслители. Та сила личности, хотя бы на практике и дурно направленная, та вечная неудовлетворенность серой посредственностью, ненасытная жажда чего-то лучшего, сосущая тоска по необыденном, по «безумстве храбрых», — все эти симптомы протеста против установившегося склада общественных отношений — разве это не есть живое воплощение тех идеальных порывов, к которым тянутся лучшие силы современного общества, которых они не находят в своей среде? Разве не эта потребность создала славу и популярность Ибсена, Ницше, да и самого г. Горького? А между тем не поразительный ли это признак, что те самые качества, по которым тоскуют лучшие силы общества, систематически вытесняются из него самым строем жизни, неутомимо выбрасываются за борт, как ненужные, чтобы не сказать — вредные. Видно, что-то неладное творится в самом обществе, если жемчужину его нравственного уклада надо искать на задворках, в навозных кучах. И наш автор выкопал такую жемчужину и показал ее обществу. С этих пор он стал певцом этой жемчужины, певцом тех нравственных качеств, которых нет в нашем обществе, но которые неизбежны, чтобы подняться до высшего уровня. Для автора герои его представляют не реальную, общественную ценность, а так сказать, абстрактную ценность, как носители известных нравственных качеств. Отношение автора к босякам, как живым личностям, не оставляет ни малейшего сомнения, и нужно удивляться только беззастенчивости некоторых господ, приписывающих ему не только взгляды и мораль, но и поступки бродяг и воров [1]).

С нравственными качествами, которые г. Горький встретил в среде отверженных, он, как с мерилом, подходит к разным слоям общества. Но в одних — например, в торгово-промышленном классе, — если и проявляются некоторые из этих качеств, то лишь как выгодное орудие в борьбе за барыш и власть («Фома Гордеев»), в других — низшем городском или сельском — он увидел лишь мелочную борьбу за неприглядную действительность; и если там и встречались личности, одаренные этими качествами, то и те бежали «на волю», т. е. в босяки. Наконец, с большими надеждами подошел автор к более всего обещавшему слою — интеллигенции. Что он нашел в ней, — неоднократно и вполне определенно выражено во многих рассказах. Отношение г. Горького к интеллигенции — это тема для целой статьи. Я не могу на ней останавливаться, — и без того это письмо разрослось до размеров целого очерка. Позволю себе только, чтобы обратить внимание на отрицательное отношение г. Горького к интеллигенции, указать на такие рассказы, как «Озорник», «Варенька Олесова», «Мужик», «Фома Гордеев».

Итак г. Горький не нашел, или, по крайней мере, не изобразил в своих рассказах такой общественной силы, которая могла бы воплотить излюбленные им нравственные качества. Причина этого на мой взгляд та, что сила эта только нарождается. Из пор общества медленно, но неуклонно выделяются элементы со своеобразной психологией, с недовольством сущим, с тоской по будущему и с культом силы, необходимой для этого будущего. Такие безымянные личности проскальзывают иногда в рассказах г. Горького, но в неопределенных контурах. Самый факт популярности идей г. Горького наряду с распространенностью аналогичных учений, хотя бы и исходящих из другого мировоззрения, напри-

[1]) Против этого протестует и сам автор в письме в редакцию «СПБ ведомостей» от 22 ноября. Говоря по поводу вышедшей недавно книги «М. Горький, Афоризмы и парадоксы», он указывает на нелепость того, что «составитель книги приписал ему взгляды и мнения его героев».

мер, Ницше, подтверждает высказанную мысль: очевидно в недрах общества нарождаются элементы будущего, на долю которых выпадает реорганизовать жизнь так, чтобы она больше не была «ямой».

Раскол в «темном царстве».

Когда вы читаете произведения Островского, когда вы всматриваетесь в изображаемое им «темное царство», вы невольно подмечаете одну характерную черту: есть нечто объединяющее всю эту массу типов, нечто общее и добрым и злым среди них, и бедным и богатым, и глупым и умным. Как бы они ни разнились по индивидуальным вкусам, положениям, способностям и наклонностям, как бы ни смотрели в частном случае на тот или иной вопрос. всех их объединяет одна общая, психологическая печать. Богатый Кит Китыч и бедный сирота племянник, конечно, очень различно оценивают одни и те же общественные явления, но все их разногласия во взглядах и вкусах покоятся на общей психологической подпочве, на «типичной психологии» [1]) данного сословия. Различия отдельных групп этого сословия еще не настолько обострились и индивидуализировались, чтобы выработать самостоятельную, характерную психологию, — одним словом, они не приобрели еще резко выраженных классовых черт, а остаются отдельными группами того же замкнутого круга, того же «темного царства». Бедный племянник, случайно разбогатев, очень скоро утратит взгляды времен бедности, ассимилируется с своими богатыми собратьями, станет тем же Кит Китычем и по отношению к ним, и по отношению к своим же бедным племянникам. Точно так же и Кит Китыч, разорившись и обеднев, не утратит своей типичной групповой психологии. Одним словом, среди различных представителей этого «темного царства», как бы ни разнились они по внешним условиям, нет принципиальных противоречий в их миропонимании, они говорят еще понятным им всем языком, хотя, конечно, одни громче, другие тише.

Эта характерная черта героев произведений Островского, или, вернее, того общественного слоя, к которому они принадлежат, еще ярче выступает, если мы сопоставим их с характеристикой другого общественного слоя в ту же эпоху и в той же стране — именно с характеристикой дворянства в повестях Тургенева. В то время как герои Островского живут, радуются и горюют, борются, страдают и гибнут в замкнутом кругу, как бы за какой-то китайской стеной сословной огражденности, у Тургенева мы попадаем в самую середину пресловутого спора «отцов» и «детей», — спора, вынесенного на широко открытую арену общественной жизни, хватившего далеко за тесные пределы дворянской среды, ставшего крупным общественным явлением. Дворянские отцы и дети той эпохи расходились не только во взглядах на тот или иной частный вопрос, их разделяло не преходящее различие возраста, способностей, взаимной зависимости, а коренное противоречие «типичной психологии». От основного ядра дореформенного, крепостнического дворянства еще за много десятилетий до эпохи освобождения начали отделяться, частью направо, частью налево, протестующие элементы, сначала поодиночно, потом все большими и большими группами;. процесс этот, сдерживаемый в значительной мере неблагоприятными внешними условиями, не дававшими исхода вновь нарождавшимся силам, продолжался и рос в скрытом виде и к концу 50-х гг.

---

[1]) Выражение проф. Овсянико-Куликовского.

достиг такого напряжения, что первый внешний толчок превратил всю накопившуюся энергию в широкое общественное движение, направив правую часть на общественное преобразование, известное под названием «великих реформ», левую же — кающееся дворянство — толкнув в ряды «безымянной Руси».

Если вы проследите жизнь и борьбу этих двух направлений между собой, а равно и с породившей их главной массой старого дворянства, и проследите от первых зачатков раскола до наших дней, когда эта борьба все еще не улеглась, — вы увидите, что в процессе этого распадения однородного прежде первого сословия в государстве, в процессе этой борьбы отцов и детей, а точнее, может быть, отцов, детей и пасынков, в каждом из вновь образовавшихся слоев развивалась и складывалась особая, характерная психология, отличная по существу от психологии отцов, а во многом прямо противоположная и враждебная ей.

Если мы теперь сопоставим сказанное о героях произведений Островского и Тургенева, то невольно возникает вопрос: чем же объясняется столь различное положение обоих сословий — отпорность и замкнутость одного, внутренняя неустойчивость и слабость другого? Лежит ли причина этого во внутреннем строе, в каких-либо особых качествах, присущих каждому из них, или же ее следует искать в более или менее благоприятных внешних условиях? Относительно последнего мы знаем, что внешние условия вообще более благоприятствовали дворянству, предоставляли ему больше возможности и власти обеспечить прочность своего существования, и тем не менее это же дворянство, — представлявшее прежде такое же замкнутое солидарное целое, — не могло уберечься от раскола. Но мы также знаем, что внутренний строй какого-нибудь общественного слоя только до тех пор представляется крепкой стеной, пока удовлетворяет самосознанию этого слоя, т. е. «типичной психологии» его членов. Но лишь только в его кругу возникают потребности и запросы, противоречащие этой «типичной психологии», замкнутый круг лопнет, солидарность исчезает. Таким образом мы должны исследовать, какие силы сдерживают цельность «типичной психологии» данного общественного слоя и какие влияния в силах нарушить эту цельность, вызывать распадение этой психологии. Из такой постановки вопроса следует наше основное положение: существуют известные общественные процессы и явления, обусловливающие ту или другую «типичную психологию», существуют условия, при которых психология эта глубоко проникает данные общественные круги, царя в них безраздельно и безапелляционно; существуют, наконец, условия, которые подкапывают устои этой психологии, выдвигая противоположное ей миропонимание, разрушая существующий общественный слой и создавая новые. Если это положение верно, то и для «темного царства» может притти момент, когда отцы и дети перестанут понимать друг друга, когда между ними непроницаемой стеной станет различие их «типичных психологий». И этот момент, повидимому, подошел. Литература, изучающая и характеризующая быт и нравы «темного царства», развившаяся с легкой руки Островского и составляющая теперь уже целую библиотеку, — обогатилась в последнее время двумя произведениями, разбирающими в той же форме — драматической — наболевший, повидимому, вопрос: столкновение отцов и детей в среде «темного царства». Одно «Дети Ванюшина» г. Найденова, другое — «Мещане» г. М. Горького. Постараемся же присмотреться к тем условиям, которые могли вызвать это столкновение, и проверим наши выводы по наблюдениям гг. Найденова и Горького.

Положим, что мы имеем перед собой какую-нибудь общественную группу: например, купеческое сословие времен Островского. Группа эта возникла и сложилась в историческом ходе по основному закону — закону приспособляемости психологии к общественно-экономическим условиям и потребностям. Люди, живущие в тех же общественно-экономических формах, снискивающие себе существование тем же родом занятия, приобретают по необходимости те же характерные психологические черты, выражающиеся в тождественных моральных и правовых понятиях, в аналогичных взглядах, вкусах, потребностях, в сходственном мировоззрении. Эта «типичная психология» данной группы находится, таким образом, в полном соответствии с ее общественно-экономическим бытом, является его производной, и, со своей стороны, обусловливает все активные проявления группы: ее стремления, идеалы, ее роль в обществе и отношения к другим группам. Конечно, эта приспособленность психологии к хозяйственным потребностям группы возникает не сразу, не с первого дня зарождения самой группы, а слагается путем медленного, тяжелого, подчас очень мучительного, полного борьбы, процесса. Более или менее полная приспособленность наблюдается лишь на ступени полного развития, когда первоначальный процесс образования можно считать законченным. Это, если можно так выразиться, момент внутренней гармонии данного общественного аггрегата, момент группового самосознания, насколько [1]) такое самосознание может развиться на почве взаимоотношений разных групп в данном обществе в данный исторический момент. Таким образом, мы видим, что это групповое самосознание, эта «типичная психология» является сложной функцией общественно-экономических потребностей данной группы и внегрупповых влияний на нее остального общества. Это значит, что при изменении какой-либо из этих переменных должна меняться и их функция, т. е. сама психология группы; а мы знаем, что с течением времени меняется весь ход эволюции, весь общественный строй, меняются, стало быть, и те элементы его, которые составляют общественно-экономический фундамент нашей группы, меняются и те, которые через посредство других групп так или иначе воздействовали на психологический уклад ее. Но наряду с этим активным фактором истории действует и пассивный фактор — общественная инерция. Эта инерция выражается в том, что как отдельная личность, так в еще большей степени общественные группы неспособны воспринимать и привносить в свою психологию все мелкие, постепенные изменения в жизни общества. Объективный ход развития в его бесконечно малых приращениях, бесчисленный ряд мелких изменений, входящих в жизнь, как частью сознательный, частью неосознанный результат индивидуальной борьбы и работы, недоступны во всех своих подробностях коллективному сознанию. Только когда целый ряд их суммируется в более крупную величину, становятся они фактором, способным влиять на психологию групп. Наряду с этим фактом общественной инерции не менее важную роль играет способность всякой общественной группы видеть и познавать общественные явления лишь сквозь призму своей «типичной психологии»; как цветное стекло пропускает лишь лучи определенного цвета, поглощая все прочие, так и эта психология пропускает в сознание людей лишь те элементы внешней жизни, которые так или иначе укладыва-

[1]) Нередко исторические условия не позволяют данной группе развиться и индивидуализироваться до выработки своего группового самосознания и активной борьбы за свое миросозерцание: так было со «средним сословием» в шляхетской Польше, так же было и с «мелкой буржуазией» на Руси.

ются в рамки этой психологии. Ясно, что в обоих случаях более чуткой к общественным изменениям, более объективной в их оценке, более прогрессивной является личность, так или иначе стоящая вне группы, вне влияния ее «типичной психологии», т. е. личность, ушедшая из данной общественной группы или же еще не совсем вошедшая в нее. В первом случае мы имеем дело с так называемыми продуктами разложения, о чем ниже будет еще речь, во втором — с молодым поколением, еще не усвоившим вполне психологию отцов и не обретшим прочной опоры в участии в хозяйственной жизни своей группы. В силу этого накопившиеся изменения легче оказывают действие на молодые, несложившиеся умы, чем на завершившие свое развитие, остановившиеся на определенном образе мышления; другими словами, молодые поколения легче усваивают новые потребности и новые веяния, и внутренний перелом в жизни общественных групп по преимуществу выражается в форме столкновения отцов и детей.

Присмотримся ближе к этому процессу. Под влиянием окружающих ребенка явлений, понятий, взглядов, вкусов, симпатий и антипатий рано начинает слагаться в его душе фундамент того, что со временем становится его душевным строем, его «психологической формой» (тоже выражение проф. Овсянико-Куликовского), в которой он будет воспринимать все явления внешнего и своего внутреннего мира, тем психологическим априори, от которого он уже не отделается во всю жизнь, без которого немыслим ни один реальный человек. Среда, окружающая ребенка, может быть, конечно, очень разнообразна: семья, школа, внешкольное общество, улица, соприкосновения с чужими ему группами, чтение и т. п. Под перекрестным влиянием этих факторов и плюс еще природных качеств индивида слагается психологический облик будущего гражданина, слагается и его обособленная, индивидуальная физиономия, и ее видовой, общественный оттенок. Влияния эти, вообще говоря, бывают очень сложны и очень различной силы и нередко кажутся случайными. Вопрос о закономерности их и об исторической и психологической необходимости преобладания тех или других — очень сложный вопрос, и здесь, конечно, не место браться за решение его, но мы попробуем наметить некоторые существенные пункты, которые укажут нам на существование известной закономерности в группировке факторов и в их влиянии на душевный уклад человека.

Всю совокупность указанных выше влияний мы можем разделить на две большие группы: в первую зачислим сумму всех тех явлений и влияний, какого бы характера они ни были, которые способствуют сохранению в ребенке черт, присущих душевному укладу его родителей и той общественной группы, к которой они принадлежат. Эти влияния назовем охранительными факторами. Ко второй группе отнесем все те влияния, которые стремятся ослабить или уничтожить действие факторов охранительных и внести в психологию подрастающего человека новые черты, чуждые, нередко даже враждебные миросозерцанию породившей его группы. Это — факторы разрушительные. Столкновение и борьба этих двух групп факторов определяют направление, в котором сложится психология данной личности. Здесь перед нами целая гамма оттенков в зависимости от величины того или другого слагаемого. Личность может получиться точным портретом своих отцов, но может в другом крайнем положении почти ничего не иметь с ними общего. И подобные примеры отщепенцев от своей общественной группы мы можем найти всегда и всюду. Но чтобы это явление утратило свой индивидуальный, случайный характер и стало общественным фактом, необходимо,

чтобы причины, вызывающие его, носили широкий общественный характер, — другими словами, чтобы преобладающие факторы, преобладающие влияния обсуловливались историческими, общественными причинами и воздействовали на широкие общественные круги и, таким образом, были не индивидуального, а общественного свойства. Для этого нам придется вышеизложенное взаимодействие двух групп факторов, так сказать, поставить на общественную почву; тогда мы увидим, что соотношение их определяется сочетанием двух исторических моментов: ролью данной общественной группы в жизни всего общества и ступенью исторического развития этой группы. Между этими двумя явлениями существует известная внутренняя зависимость, но мы не будем входить в ее рассмотрение, так как это только усложнит дело, нисколько не способствуя его ясности.

Всякая группа, — т. е. общественный аггрегат, связанный единством материальных и общественных интересов, — самым фактом своего существования поставлен в необходимость борьбы. В борьбе этой и состоит ее развитие, а в развитии этом можно отметить три крупных этапа: борьба за самосознание, борьба за правовое обеспечение, борьба за власть. Как иллюстрацию, можем привести историю рабочего класса в Германии за последние полвека. Деятельность Лассаля, утверждавшего, что немецкий рабочий так жалок, что он даже сам этого не замечает, была первой стадией этой борьбы. Нужно было людям разъяснять их же положение, их же классовые интересы. Вторая стадия — борьба за право — вылилась в современном парламентаризме. Третья стадия составляет пока, главным образом, предмет теоретических споров. Но такое плавное развитие указанного класса возможно было только благодаря громадному значению самого класса и благоприятным общественно-правовым условиям. Обыкновенно же ход развития осложняется столкновениями и борьбой с другими общественными классами, стремящимися тем же путем к той же конечной цели. Так, например, мы знаем уже, что старое русское купечество, достигнув только правового обеспечения своих материальных интересов, замерло на этой ступени, и для дальнейшего развития пришлось ему путем тяжелого процесса разложения преобразоваться и приспособиться к изменившимся требованиям жизни. Поэтому для уяснения себе общественных условий, влияющих на уклад «типичной психологии» групп и личностей, необходимо принять во внимание взаимоотношение обоих указанных исторических моментов: общественной роли данной группы и ступени ее развития. Относительно этих двух моментов можно установить следующие общие положения: во-первых, чем более крупную роль играет известный общественный слой в жизни страны, т. е. чем сильнее и могущественнее он, — тем сильнее сказывается группа охранительных факторов, тем отпорнее данный общественный аггрегат на чужие влияния, тем прочнее сохраняется и передается в нем традиция, тем полнее, стало быть, перенимают и усваивают молодые поколения миросозерцание отцов. И наоборот, чем слабее данная общественная группа, чем ничтожнее ее роль в жизни общества, тем более поддается она внешним, чуждым влияниям, тем сильнее оказывают свое действие на молодое поколение разрушительные факторы, тем легче отпадают от этой группы более даровитые и активные члены, тем больше она подвержена процессу диффузии — взаимного обмена с другими группами.

То же самое можно сказать и о втором историческом моменте. Зарождающиеся общественные группы страдают обыкновенно всеми недостатками слабых общественных групп. Но по мере того как группа

растет, усиливается, она начинает приобретать известные специфические черты, а вместе с тем в ней развивается и крепнет групповое самосознание. С этого момента она начинает заявлять о своем мировоззрении, ставить свои требования, одним словом — играть определенную, общественную роль. С этого же момента начинает расти ее внутренняя солидарность и сила, развивается ее ценность и отпорность в сохранении своих видовых черт и устранении чужих влияний, — иначе говоря, охранительные факторы берут безусловный верх над разрушительными. И это продолжается до тех пор, пока она не достигнет кульминационной точки в своем развитии. Но общественная группа не может вечно покоиться на лаврах, направляя свою боевую энергию на заботу о сохранении приобретенных благ; как бы ни старалась она «психологически» изолировать себя от всего общества, она не может так же изолировать область своей экономической деятельности, составляющей только часть хозяйственной жизни общества. И эта хозяйственная жизнь в постоянном развитии вовлекает в это развитие и хозяйственные интересы нашей группы, внося этим разлад между ее психологией и изменяющимися потребностями. А лишь только наступил этот момент, тотчас же проявляется в данной группе внутреннее разложение, равновесие сил нарушено — и разрушительные факторы начинают все более и более преобладать над охранительными. Возникает разлад между отцами и детьми, дети бегут, и всю общественную группу охватывает указанный выше процесс диффузии. Но в дифференцированном обществе, где существование личности, вообще говоря, невозможно вне групповых делений, разложение общественной группы должно сопровождаться или образованием новых групп, или проникновением отложившихся элементов в существующие уже группы. И действительно в истории наблюдаются оба эти явления. С одной стороны, возникновение общественных новообразований, с другой — поглощение продуктов разложения данной группы другими существующими группами или вновь возникающими. Но, разумеется, этот факт перераспределения элементов распадающихся групп, свидетельствующий о несомненной закономерности и о единстве этого процесса, проявляется только тогда, когда самый этот процесс принимает широкий общественный характер. Общественные законы считаются только с крупными массами, безжалостно давя личности. Группы разлагаются не сразу: десятки, сотни одиночек, «лишних людей», гибнут, прежде чем подготовится почва для работы таких же, как они, прежде чем найдутся для них место и работа в общественной машине.

Итак сочетание двух исторических моментов — роли данной группы в обществе и ступени ее развития — создает общественную почву, на которой то или другое сочетание указанных выше факторов, та или другая равнодействующая их, приобретает широкое общественное значение, обусловливая собою целые направления или течения в общественной жизни. Пойдет эта равнодействующая ближе к направлению охранительных факторов, — и человек выйдет верным сыном своих отцов, в противном случае он может совсем выродиться и отречься от родной группы. Между этими крайними типами очевидно существует целый ряд переходных типов, тяготеющих к тому или другому полюсу. Для последующего изложения нам интересно будет остановиться на среднем типе, т. е. на таком, в котором и охранительные и разрушительные факторы вошли очень крупными слагаемыми. Очевидно, что таким образом не может выработаться цельный общественный тип, и мы имеем здесь перед собой очень интересный образчик раздвоенной психологии.

Принимая в себя элементы двух чуждых и непримиримых мировоззрений, этот тип не может найти в своем уме единой исходной точки, с которой весь мир представлялся бы в правильной перспективе. У него таких точек две. И он бессознательно прилагает к одному ряду явлений одну точку зрения, к другому — другую, в зависимости от того, какие явления в процессе его развития обыкновенно сочетались с влияниями охранительных и какие с влияниями разрушительных факторов. Особенно резко сказывается эта психологическая двойственность при сопоставлении общественной и личной жизни людей.

От этого среднего типа переход к крайним определяется перевесом того или другого слагаемого. Если мы еще немного остановимся на изображенной нами механической схеме, то можем заметить, что почти немыслимо, чтобы охранительные факторы превратились в нуль, а следовательно невозможно и равнодействующей превратиться в другое слагаемое: это значит, что личности почти невозможно всецело отрешиться от влияний той общественной группы, из которой она вышла. Иначе говоря: как бы цельно и полно ни усвоила себе данная личность психологию и миросозерцание новой группы, в ней сплошь да рядом сохранятся, хотя бы в зачаточном состоянии, элементы «типичной психологии» породившей ее группы.

Та мещанско-купеческая среда, которую приходилось наблюдать и изучать Островскому, представляла законченный и вполне сложившийся общественный организм, приспособленный к определенным условиям жизни. Условиями этими были, с одной стороны, хозяйственный строй дореформенной Руси и роль торгового класса в этих хозяйственных отношениях, с другой — социальная роль этого класса и то место в обществе, которое было отведено ему другими классами. Политическая энергия класса, не найдя себе применения извне, обратилась внутрь, уйдя вся на создание той замкнутости, цельности и внутренней дисциплины, — сплошь да рядом нечеловечно-жестокой, — которую мы встречаем в картинах, рисуемых Островским. В этих картинах перед нами встает крупная общественная группа, вполне сложившаяся и достигнувшая высокой степени развития, с сильно развитым самосознанием, резко выраженной «психологической формой», очень цепкая и отпорная. Самым важным явлением быта дореформенной Руси было взаимоотношение двух главных общественных классов — поместного дворянства и крестьянства, — взаимоотношение, выразившееся в крепостном праве. Оно определяло весь хозяйственный строй страны, а следовательно — и тот уклад торговых отношений, какой мог сложиться при отсутствии свободного труда, а следовательно — и широко развитой промышленности, при полунатуральном хозяйстве, отсутствии транспортных средств и т. п. Психология «темного царства» должна была приспособиться к этим условиям хозяйственного быта, а фиксация сложившихся общественных классов в формы сословий придала особую силу внутренней дисциплине группы, обеспечив надолго преобладание охранительных факторов. Быт «темного царства» пришлось изучать Островскому накануне эпохи реформы, т. е. накануне крупного переворота во всей русской жизни. Каковы бы ни были реальные условия, вызвавшие акт 19 февраля, несомненно, что в производственных отношениях и во всем хозяйственном укладе страны многое уже переменилось, назрели элементы новой жизни и так или иначе отзывались на психологии отдельных групп общества. Эти изменяющиеся условия необходимо должны были влиять и на хозяйственный быт «темного царства», порождая там новые потребности, интересы и в связи с этим новые понятия, взгляды, вкусы. Эти новые черточки в психологии неко-

торых элементов не могли проявляться наружу в силу того гнета сословной атмосферы, который насильственно сдавливал все до уровня общепринятых сословных понятий. Но они существовали, существовали в скрытом, потенциальном состоянии. Они ждали только того толчка, который освободит их от пут, двинув все «темное царство» на путь развития или разложения. И действительно, как ни стеснительны были для развития всего общества, в том числе и мещанско-купеческого класса, внешние условия жизни дореформенной Руси,—класс этот настолько приспособился к этим условиям, что довольно было устранения их, довольно было предоставить возможность свободного развития, — и внутреннее разложение началось. Такую решающую роль по отношению к «темному царству» сыграли известные реформы 60-х гг. Они открыли широко двери новому хозяйственному порядку, пахнув и свежим воздухом в затхлую атмосферу царства Кит Китычей, а вместе с тем выволокли самих Кит Китычей из их темных углов на свет, выволокли и вовлекли в сутолоку широкой общественной жизни. Новая жизнь быстро начала проникать в замкнутую среду, вызывая новые мысли, создавая новых людей. Но, конечно, легче всего поддались новым веяниям те более живые и восприимчивые элементы, о которых мы только что упоминали, психология которых созрела уже на почве изменившихся условий: доминирующее течение в «темном царстве» налагало свой отпечаток на всю группу, подавляя до поры до времени все несоответствия и противоречия. Но как только внешние и внутренние условия подорвали авторитет доминирующего течения,— все эти скрытые несоответствия и противоречия прорвались и резко выступили наружу. Но чтобы разъедающее начало, которое вносит развитие во всякий разлагающийся организм, проникло в самое сердце «темного царства», нужно было время. Время это шло, и в настоящий момент мы имеем возможность присутствовать при самом процессе разложения — том историческом процессе, который в лабораторных условиях показывают нам гг. Найденов и Горький в своих драмах.

Процессы разложения показывают они нам на общественной ячейке— семье, относя его к тому критическому моменту раскола — столкновению отцов и детей, — который, как мы указывали, является самым характерным в этом процессе. Старое поколение представлено двумя родительскими парами — супругами Ванюшиными и Бессеменовыми. В обоих произведениях старики так схожи по типу, что нам нет надобности разбираться в тонкостях различий их характеров. Надо заметить, что фигуры стариков несравненно рельефнее и полнее обрисованы обоими авторами, чем молодежь. И это вполне понятно. «Дети» находятся еще im Werden, — трудно с точностью указать, к чему они придут, да и было бы большим прегрешением против художественной правды, если бы авторы вздумали рельефнее подчеркнуть те характерные черты их, которые еще только складываются и формируются. Не то «отцы». Там жизнь выработала вполне законченные типы, все черты их характера отчетливы и резки, как морщины на их лицах, и какими бы грубыми мазками вы ни вздумали писать их, они невольно будут выделяться как рельефы. Перед нами высятся две мощные фигуры отживающего мира — со всеми их пороками и добродетелями, с их силой и ничтожеством, с их преступлениями. Авторы сумели ярко оттенить и выдвинуть на первый план известные положительные стороны их характеров, так что все отрицательное, дурное, пошлое в них представляется нам в известном отдалении, смягчающем контуры и тени. Не в атмосфере любви и добродетели, конечно, делали свое состояние эти отцы, когда они, по выражению одного из них, «жили.. работали... грешили... может быть, много грешили...» Но именно в том,

что при данном конфликте отцов и детей авторы подчеркнули положительные стороны отцов, много художественной правды; ибо в этом конфликте важно отметить бессознательную, стихийную необходимость раскола, его историческое значение, отметить, что новое побеждает старое помимо его положительных стороны, мало того, что дурное новое неизбежно побеждает хорошее старое, ибо Vernünft становится Unsinn, ибо «две правды», как говорит Татьяна. А что побеждающее начало далеко от идеала добра, это мы сейчас увидим. Несколько выше, говоря об условиях разложения общественных групп, мы указали на то, что процесс разложения идет в разных направлениях, создает целый ряд новообразований. Под влиянием различных сочетаний охранительных и разрушительных факторов могут получаться самые разнородные продукты того же процесса разложения. Представители «детей» в рассматриваемых нами драмах дают довольно богатый материал для анализа указанного процесса с этой точки зрения. Чтобы разобраться в этом разнообразии, мы сперва выделим и рассмотрим два типа этих продуктов разложения: один тип, который, являясь отрицанием породившей его группы, в то же время удерживает основные элементы ее «типичной психологии». Он утрачивает многие черты психологии отцов, отбрасывает весь внешний уклад их жизни, их вкусы, привычки, понятия, но сохраняет их основную, классовую идею. Отбрасывает, если можно так выразиться, всю преходящую форму этой идеи, сохраняя ее содержание, для которого он создает новую форму, лучше отвечающую новым условиям жизни. Этот тип только наружно отрицает ту группу, из которой вышел, — в сущности он является ее продолжателем и преемником.

Другой тип, о котором мы будем говорить, — это тот, который дальше всего ушел от отцов. Его психологию характеризует минимум охранительных элементов и максимум разрушительных.

Итак мы имеем два типа: с одной стороны, непонятный отцам новатор, но кость от кости и плоть от плоти отцов, с другой — отщепенец, порывающий все связи с родной группой. Представителем первого типа является Константин («Дети Ванюшина»), представителем второго — Нил («Мещане»). Прежде чем говорить о типах, выведенных г. Найденовым, нам необходимо оговориться. Основной недостаток всей драмы г. Найденова, особенно сильно сказавшийся на обрисовке молодого поколения, — это слабая типизация. Герои «Детей Ванюшина» являются по большой части недостаточно типичными, слишком индивидуальными, точно так же, как недостаточно типичны и все обстоятельства драмы и сама ее развязка. В основе художественно-драматического творчества лежит воплощение в индивидуальных характерах общественно-психологических типов, — именно то, что можно назвать типизацией действительности. Этого-то в произведении Найденова слишком мало, благодаря чему вся драма производит скорее впечатление артистической фотографии, чем художественного произведения. Поэтому при разборе созданных г. Найденовым типов нам придется самим несколько расширять и обобщать их [1]).

Константин Ванюшин представляет интересный тип уже тем, что в нем, так сказать, бессознательно отражаются и сказываются новые потребности. Он вовсе не «идеолог» своего класса, он вообще неумен и малосодержателен, притом порядочный байбак. Но в то же время вы видите,

[1]) В задачу настоящей статьи не входит художественный разбор обеих драм, ни психологический разбор созданных автором типов. Поэтому мы остановимся над этими последними, лишь поскольку это необходимо для иллюстрации высказанного раньше.

что он, хотя и без общего плана, без ясно сознанной цели, идет по тому направлению, по которому — может быть, несколько скорее и разумнее — пошел бы самый умный и сознательный представитель его направления. С самого детства обстоятельства складывались для него благоприятно. Несмотря на все домостройские замашки стариков, в дом проникли коекакие новшества — проникли через прислугу, приживалов и т. п. Так мы узнаем, что такой сильный охранительный фактор, как воспитание, совершенно отошел от родителей и преобразился во враждебный ему разрушительный фактор. «Вы рождали нас и отправляли наверх, — упрекает другой сын Ванюшина старика-отца. — Редко мы спускались к вам вниз, если не хотелось пить и есть, а вы поднимались к нам только тогда, когда находили необходимым ругать нас и бить». При этом мы узнаем, что с этого «верху» дети нередко по крышам убегали из дому. Конечно, и в былое время случалось то же, но теперь многое изменилось вне дома. Убегать из дома значило подпадать под чуждые влияния, значило уходить из-под охранительных влияний под разрушительные. Но дальше — еще хуже. Наступает школа. «За людьми лез, дураков слушал, — учил...— жалуется старик, — научил на свою голову». Школа, конечно, еще сильнее повлияла если не на мысли и убеждения, то на вкусы, привычки, взгляды молодого Ванюшина. По окончании гимназии он собирается даже в университет, но, повидимому, без особого труда отказывается от него, чтобы принять участие в делах отца. Отец его всю жизнь, подобно своим отцам, следовал старому купеческому принципу, что хозяйский глаз и хозяйская рука должны входить во всякую мелочь. Молодой Ванюшин едва ли уяснил себе новые принципы, — но его уже нисколько не занимают торчанье в лавке и личный надзор за каждой копейкой: он чувствует, что новое время тянет его на более широкое поприще, что близка новая постановка дела, — с разделением труда, с вовлечением хозяйственной деятельности в круговорот широкой общественной, точнее — политической — жизни. Отец, конечно, далек от понимания этих новых требований и новой психологии: для него сын кажется просто лентяем. «Не выйдет из него проку,— жалуется он, — ничего не знает, ничем не интересуется». Но не думайте, что Константину чужды интересы наживы: когда отец в пылу ссоры произносит слово «разорение», в молодом Ванюшине сразу пробуждается будущий делец. «Разорения во всяком случае не допущу, — авторитетно заявляет он. — Вам все равно, а у меня еще целая жизнь впереди». И вы можете быть уверены, что легкомысленно он не разорится, и если случится такой грех, то скорей вследствие рискованной операции, сулившей хороший барыш. Не думайте также, что высшие мотивы благородства побуждают его с гордостью отвергнуть брак на купчихе Распоповой. Он, конечно, смотрит иначе на семью, чем его родители, и в конце концов сватается за особу, к которой чувствует несомненное влечение. Но помимо этого не простая случайность, что его невеста генеральская дочь. Неуверенно, полусознательно, но он идет по верному пути. Для его новых понятий и вкусов нужно и новое поле деятельности. Ему недостаточно переменить обстановку квартиры, — ему нужно известное общество, нужны связи, а этого он может достигнуть только женясь на особе со связями и с положением в обществе. Что он в этой среде нашел девушку, которая возбудила в нем искреннее чувство, — это явление случайное, это, так сказать, индивидуальная черточка в общественном факте. Если бы он не нашел невесты по сердцу, он, быть может, дважды подумал бы, прежде чем жениться, но в конце концов, вероятно, таки женился бы на «связях». Те же черты реорганизованного мещанства руководят им и в повсе-

дневной мелочной жизни. Его претит от мещанского крохоборства родителей, от экономии на масле и сыре и т. п., но в то же время его возмущают те черты старого купечества, которые до известной степени являлись положительными сторонами его: благотворительность по отношению к бедным родственникам-приживалам и известные отношения равенства между хозяевами и заслуженной прислугой. Его претит от всей этой патриархальности. В его современно-мещанской голове рисуется другой тип домостроя: отделение работника от нанимателя, освобождение бюджета от «лишних ртов», улучшение культурных условий своей личной жизни.

Нужно заметить, что Константин Ванюшин — тип переходный и поэтому страдает неопределенностью и противоречивостью переходных типов, но уже по отмеченным чертам можно судить, как и куда пойдет вполне завершившийся, аналогичный ему тип. Такой завершившийся тип — не новость в русской литературе, как не новость и в русской жизни. Его неоднократно фотографировал и рекомендовал публике, например, г. Боборыкин.

Второй отмеченный нами тип, представителем которого мы назвали Нила («Мещане»), требует некоторых оговорок. По существу своему он является отколком, «отщепенцем» от той общественной группы, из которой он вышел. В то время как предыдущий тип представляет высшую форму, дальнейшую стадию в развитии известной общественной группы, этот тип является лишь отбросом в процессе этого развития. Из этого мы можем делать выводы, что возникновение этого типа представляет количественно менее крупное общественное явление и что легче всего в этот тип должны переходить те элементы данной группы, которые слабее всего проникнуты ее «типичной психологией». Так, мы знаем, что в 50—60-х гг., в момент внутреннего перелома в дворянстве, от него отделилось немало элементов этого второго типа, известных в литературе под названием «кающихся», и это течение безусловно количественно было значительно меньше, например, того, которое создало первый тип. Мы могли бы здесь показать, что при теперешнем разложении мещанско-купеческой среды этот процесс должен быть слабее, чем он был в аналогичных условиях в дворянстве. К сожалению, это слишком отклонило бы нас от темы, — поэтому укажем только на два фактора, лежащие в основе этого различия. Во-первых, историческая обстановка разложения купечества совсем другая. При разложении дворянства был громадный спрос на интеллигенцию во всех сферах жизни. Существовали почти исключительно интеллигентские течения, вроде «безымянной Руси», которые поглощали массу этих общественных отбросов. В настоящее время условия другие: та же «безымянная Русь» комбинируется из других элементов; спрос на интеллигенцию хотя и не уменьшился, а даже сильно возрос, зато иначе распределяется, причем главная масса ее идет в промышленные, административные и тому подобные сферы. Во-вторых, раскол в «темном царстве» происходит иначе и по характеру своему, так сказать, по темпу. Он развивается медленно, постепенно, нормально. В дворянстве же в свое время проявление происшедшего уже разлада тормозилось внешними условиями. Благодаря этому он принял после Крымской войны очень резкий характер настоящего переворота. Этот болезненный темп сказался и на количестве «отбросов» и на их распределении в обществе.

Итак мы не должны ожидать, что в рассматриваемом нами процессе разложения «темного царства» сильно проявится (выразится) возникновение второго типа — отщепенца. Количественно этот процесс

окажется слабее. Зато тем резче должен выступить второй признак этого процесса, указанный нами выше, — именно сильное влияние разложения на элементы, менее всего проникнутые «типичной психологией» группы. Этим, на наш взгляд, объясняется то, что представителем указанного второго типа в драме г. Горького является Нил, — не сын, а приемыш Бессеменова. Попал он в дом своего приемного отца уже десяти лет от роду, — быть может, уже с известным запасом впечатлений, мало располагающих к мещанскому складу мысли. Хотя в доме он принят как родной, но все-таки ему приходится чувствовать, что он не сын. В то время как родные дети Бессеменова получают образование, ему рано приходится тянуть трудовую лямку, зарабатывать и нести заработок в дом. Этот личный тяжелый труд со всеми его отрицательными сторонами, общество таких же тружеников, ежедневные столкновения с капиталом на службе, с семейным авторитетом дома — все это обладает такой чудовищной воспитательной силой, перед которой пасуют все охранительные влияния домашней обстановки. Не думайте, однако, что Бессеменов смотрит на Нила как на чужого и эксплоатирует его только как рабочую силу. Нет, он готов для него создать такое же мещанское счастье, как и для своих детей, — быть может, несколько меньше, но качественно такое же. Так, он хочет женить его на богатой невесте, вероятно, готов был бы пристроить его к делу; кто знает, может быть, он согласился бы и на его брак с Татьяной, если бы он сам захотел. Нил для него далеко не чужой, к тому же старик умеет ценить цельность и силу характера приемыша. Но таковы уж условия переходного времени, что домашние, воспитательные влияния бессильны против разрушительной мощи внешних факторов. И вот в этом юноше, воспитанном в затхлой мещанской среде, складывается жизнерадостная, боевая психология. «Интересная штука — жизнь», «Большое удовольствие жить на земле». Его цельная натура доступна всему богатству внешних впечатлений, он жадно хватает их и наслаждается ими. Но он знает, что в жизни много темного, дурного, несправедливого. Он слишком близко стоит к жизни, чтобы проглядеть это. И вот наряду с его жизнерадостностью развивается в нем другая черта — потребность борьбы. Пусть жизнь старается, сколько хочет, сковать и обуздать человека, стремящегося к счастью, — напрасно! «Я заставлю ее ответить так, как захочу!» «Наша возьмет. И на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так, и этак, тому — помешать, этому — помочь... вот в чем радость жизни». В личности Нила для нас особенно ценно то, что это не книжный человек, что его взгляды и суждения вынесены не из учебников политической экономии и других руководств, а возникли в нем под давлением окружающей жизни. Да и вряд ли можно говорить об его взглядах и суждениях: если таковые у него имеются, так и то лишь в самом отрывочном, необобщенном виде. Гораздо ценнее и интереснее то настроение, которое не позволяет ему примириться с жизнью и толкает его вперед. Как бы ни было ничтожно содержание мыслей Нила, одно уж это настроение ручается, что он сумеет его обогатить, сумеет осмыслить свою неудовлетворенность, сумеет найти цель в жизни, ибо, как говорит Лука («На дне»), «кто ищет — найдет... Кто крепко хочет — найдет». Но для нас интересно еще одно совпадение, — совпадение, имеющее широкий общественный смысл: в речах Нила, — речах, повторяем, не вычитанных из книжек, а органически вытекающих из груди верно подмеченного художником типа, — в этих речах мы слышим знакомые нотки того гимна жизни, который лет десять тому запели по Руси люди, «чего-то

смеявшиеся, чему-то радовавшиеся», по выражению их «отцов». Отголоски этого жизнерадостного гимна далеко пронеслись, захватывая неслыхавших его с колыбели людей, заражая своим бодрым настроением совсем чуждые ему элементы, вдохновляя поэтов, художников и много-много самых простых незаметных людей на творчество, на борьбу, на жизнь. Как призыв обновления, звучит этот гимн в устах Нила, неся всем благовест возрождения из душных, пропитанных плесенью и деревянным маслом домов Бессеменовых и Ванюшиных, призывая всех на свет, на воздух, на простор. И Нил, обращаясь к другим Нилам, вправе будет сказать, как он говорит Елене: «Вы меня поймете. Я пел сейчас славу жизни. Ну, говорите: жизнь — удовольствие», ибо

Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben,
Der täglich sie erobern muss!

Мы остановились прежде всего на этих двух крайних типах, во-первых — потому, что они являются самыми выдающимися, самыми характерными представителями нового поколения, вырастающего из разлагающейся массы «темного царства», а во-вторых — потому, что они, эти крайние типы, выходят на жизненную арену более всего приспособленными, у них больше всего шансов выжить в общественной борьбе, им принадлежит будущее. Остальные, промежуточные типы или погибают, или влачат бесцветное существование, или же идут в конце концов на поводу у одного из этих двух крайних типов.

Для иллюстрации остановимся на некоторых из этих промежуточных типов. Вот, например, дети Бессеменова: Петр и Татьяна. Они представляют характерные образчики той раздвоенной психологии, на которую мы указывали выше. Элементы мещанства перемешались в них с теми специфическими чертами отживающего старого интеллигентского типа, который мы встречаем в драмах г. Чехова. В выработке душевного уклада детей Бессеменова одинаково сильно сказывались и охранительные и разрушительные факторы. Но характерно то, что в то время как первые производили известную положительную работу, создавая в них несколько смягченную мещанскую психологию, — вторые действовали исключительно отрицательно, развивая в них критическое отношение к окружающей действительности, ненависть к мещанскому укладу жизни. Ни учительство Татьяны, ни студенческая жизнь Петра не могут увлечь их надолго: это было лишь похмелье в чужом пиру. Но едва хмель прошел, их охватила безотрадная тоска. Широкая, немещанская общественная деятельность чужда их мещанской психологии, жизнь для наживы и накопления — противна их интеллигентскому чутью. Остается жить лишь для личного счастья, — но и здесь тихое мещанское счастье претит своим мещанством, а для полной, разносторонней, богатой впечатлениями жизни у них нет ни широты полета, ни силы воли, ни даже силы желания. В этом — проклятие половинчатых, раздвоенных психологий.

Весьма возможно, что Петр сумеет отделаться от навеянных ему мнений и вкусов интеллигентской среды и вернется к своему естественному облику, т. е. станет опять «мещанином, бывшим гражданином полчаса», — но он уже никогда не отделается от своей психологической раздвоенности и, какой бы деятельностью ни занялся, неминуемо будет итти на поводу хотя бы того же Константина Ванюшина. Ну, а Татьяна и этого удовольствия лишена; она уже теперь — человек погибший, — и, хотя бы прожила еще 40 лет, жизнь ее — пустой призрак. Несколько иной тип представляет младший Ванюшин — Алексей. Все его воспи-

тание характеризуется, между прочим, тем, что, разрушая все традиционное, унаследованное, мещанское, что могло запасть в его душу, оно не внесло в нее ничего положительного. Вся нравственная сила, которая удерживает его от окончательной гибели и толкает к лучшей жизни, покоится на тех немногих понятиях общеморального свойства, которые запали ему в душу помимо усилий его воспитателей и нашли благоприятную почву в положительных чертах его характера. Впрочем, и испорченность Алексея представляет больше внешнюю распущенность, чем нравственную развращенность. Первые положительные влияния он встречает уже в Петербурге. Автор ничего не говорит нам о дальнейшей судьбе Алексея. Нам даже недостаточно ясен характер этих влияний. Направление их, оставаясь все время антимещанским, может быть очень различно. Ограничиваясь только двумя струями, наблюдаемыми в современной жизни, мы можем указать на течение, близко подходящее к настроению Нила, и другое, отрицающее мещанство с точки зрения эстетического и этического индивидуализма. Какое из этих течений влияет в Петербурге на Алексея, мы не знаем. При известной интенсивности и направлении этих новых влияний могут в значительной мере затеряться вынесенные из дому черты, и Алексей может подойти близко к типу Нила или другому, только что указанному, но весьма возможно, что отцовские черты сильно скажутся на складе его «типичной психологии» — и он останется неопределенным типом с неясно выраженной общественной физиономией. В этом случае он, конечно, не сыграет общественной роли и осужден в лучшем случае прозябать безвестно.

Все эти типы, равно как и два вышерассмотренные, интересны не только как герои данной драмы, судьбой которых сумел заинтересовать нас автор, но именно как общественные типы, как продукты общественного процесса. По всей России происходит тот же исторический процесс разложения старосветской мещанско-купеческой среды, и всюду приводит он к более или менее сходным результатам, ибо тождественна разлагающаяся среда, тождественны и внешние условия и внутренние факторы разложения. Благодаря этому тождеству процесса появляющиеся в результате его типы представляют общественные типы, которые тотчас же в силу общественного тяготения стремятся к группировке, к уяснению общих им потребностей, понятий, вкусов, одним словом — к формулировке своего мировоззрения, своего группового самосознания на почве общей им психологии, их «типичной психологии». Процесс разрушения неизбежно вызывает процесс созидания. Неутомимо снует челнок на станке истории и ткет «бессмертное платье» божества.

Стефан Цвейг.

Ив. Анисимов.

1.

Конец XIX века. Начало XX. Вена была тогда настоящим Вавилоном европейской цивилизации. Буржуазия строит роскошные дворцы. Город обновляет свою внешность, которая стремится теперь к изысканности и великолепию. Помпезная архитектура служит выражением буржуазного самодовольства. Плеяда талантливых архитекторов закрепляет в архитектурных композициях уверенность и спокойствие класса. Ферстель, Ганзен, Сикардсбург, Газенауер, Фридрих Шмидт — все эти мастера работают над осуществлением великолепных построек. Фернборн, Цумбуш, Кундман украшают улицы и площади богатых кварталов Вены своими бронзами и мраморами, создавая пышное дополнение к новой архитектуре города. Тильгнер работает своим резцом. Анжели пишет свои портреты представителей буржуазной аристократии. Макарт — прославленный декоратор буржуазных салонов — достигает поразительных успехов в искусстве эстетизировать обстановку сытого буржуазного уюта. Искусство усиленно потребляется в эту эпоху. Переживает пору своего расцвета театр. Особенно оперетта, знаменитая венская оперетта (выступает ее подлинный классик — Рихард Штраус) развертывается с особой пышностью.

Это была эпоха буржуазного равновесия, но уже в ней намечались достаточно очевидные признаки кризиса. Капиталистический мир вступал в новую монополистскую фазу. Открывалась пора грандиозных концентрированных предприятий и господства крупных банков. Старая буржуазия до монополистской формации переживала в этой обстановке очень болезненное расслоение. Происходил процесс распада менее устойчивых элементов. Старые буржуазные династии гибли и вырождались. Уже в предвоенные годы этот кризис наметился с достаточной резкостью. Война, вконец расшатавшая систему капиталистического хозяйства, и последовавший за нею продолжительный период инфляции обострили и ускорили распад экономического базиса консервативной буржуазии. Уже в эпоху инфляции складывались новые концентрированные капиталистические предприятия. Тем с большей определенностью наметилось монополистское строение капитализма в годы стабилизации. Консервативная буржуазия оказалась вытесненной.

Таким образом мы имеем в современной Австрии группу дезактивизированной буржуазии, утратившей свое устойчивое хозяйственное положение. Здесь происходит характерное размежевание. Часть, наиболее остро захваченная кризисом, опускается к мелкой буржуазии; часть,

сохранившая некоторую материальную обеспеченность, превращается в рантье, проедающих остатки прошлых состояний.

Эта социальная группа находит свое выражение и в искусстве. В романах «Привидения в болоте» Карла Ганса Штробля, «Привидение в городе» Тадеуса Ритнера, изображающих угасание блестящей некогда Вены (город берется как образ буржуазного равновесия), дана очень интересная и глубокая интерпретация эпохи кризиса. В произведениях Стефана Цвейга мировосприятие деградирующего буржуа раскрывается с большой яркостью. Но эта направленность дана как завуалированная. Основным признаком образов Цвейга является их вневременность, отвлеченность. Художник дает их в расконкретизированном виде.

Обратимся прежде всего к новеллам Цвейга, в которых наиболее полно и глубоко раскрывается художник.

Из всех новелл, собранных в один большой цикл «Цепь», выделяются две: «Закат одного сердца» и «Незримая коллекция». Как нигде у Цвейга, здесь дана очень конкретная социальная установка. В отличие от обычной абстрактности произведений Цвейга в этих двух новеллах мы встречаемся с обнаженной социальной характеристикой. Вместе с этим две новеллы отличаются своей сосредоточенностью, углубленностью, какой-то подчеркнутой серьезностью. Очень легко заметить их теснейшее единство. Они имеют своим организующим центром один и тот же образ.

В «Незримой коллекции» мы встречаем слепого рантье, все богатство которого распылилось в эпоху инфляции; в «Закате одного сердца» — другого рантье, старика Соломонсона, который переживает катастрофу — все благополучие, с таким трудом им поддерживаемое, внезапно рушится. Люди эти совершенно одинаковы, они сделаны из одного теста. Необычность изображений заключается в том, что типичная для новелл Цвейга катастрофа мотивируется как катастрофа не только психологическая, но и хозяйственная. Обнажается почва. Становится явной та будничная правда, от которой художник имеет обыкновение сторониться.

Как раскрывается образ буржуа, переживающего свое падение? Дано противопоставление патриархального «светлого» облика побежденного буржуа и «неприятной породы людей», которые сделались хозяевами жизни. «Новым богачам понадобились готические мадонны» — вот горькое признание, направляющее новеллу. Здесь — узел драмы деградирующего буржуа, чья «незримая коллекция разметена по всем направлениям».

В новелле о старом Соломонсоне художник обнажает «роковой надлом»: герой — «затравленный зверь», «охваченный бессильной злобой»; основное ощущение, им владеющее, — это глубочайший пессимизм, безволие, покорность. В прошлом остались годы делячества. Теперь Соломонсон видит: «что-то кончается».

Вот характерная ситуация двух новелл Цвейга. С большой полнотой раскрыты здесь настроения кризиса. С большой откровенностью показаны здесь корни этого кризиса. В этом смысле «Незримая коллекция» и «Закат одного сердца» являются произведениями, исключительно важными для оценки творчества Цвейга. Как мы увидим позже, положение, здесь данное, будет многократно повторено, но далеко не в такой открытой форме.

Буржуа эпохи кризиса, сметаемый новой фазой развития, — таков образ двух новелл Цвейга. Очень характерна здесь интерпретация. Художник хочет дать образ трагедийный. Он мыслит его в больших, далеко превосходящих бытовую правду, масштабах. Образ гибнущего буржуа

предъявлен как образ великого страдальца. Здесь прорывается очень характерное стремление к патетике. Не замечая того, что нарушается естественная пропорция, художник хочет показывать малые в сущности и очень серые явления как что-то героическое. Это приводит к разорванности повествования: оно не кажется цельным, ему свойственна искусственная вздыбленность.

Но самая тенденция чрезвычайно характерна. Строгий, серьезный и торжественный патетизм в изображении падающих буржуа показывает, куда устремлено творчество художника.

Цвейг хочет возвеличить падающих буржуа, превращая их в героических страдальцев, но он не может скрыть безвыходного пессимизма обстоятельств. Вот почему рядом с искусственной героикой изображения стоит естественная и глубокая драма одиночества, беспочвенности, обреченности. Эти настроения раскрыты очень живо в двух новеллах Цвейга.

2.

Образ буржуа, переживающего свой закат, столь откровенно данный в новеллах о бедном Соломонсоне и слепом собирателе коллекции, является очень характерным для Цвейга. Можно сказать, что он определяет все его творчество. В новеллах цикла «Цепь» мы встречаемся, в сущности, с развертыванием этого образа постоянно. Но художник предпочитает давать абстрактное раскрытие, освобождать своих героев от всякого реально-бытового признака, перенося конфликт в область чисто психологическую. Он углублен в человеческое переживание и стремится ограничить себя демонстрацией различных оттенков этого переживания. Изощреннейший психологизм Цвейга отнюдь не случаен. Художник класса, теснимого, дезактивизированного, вынужденного признать свое поражение и с этим примириться, естественно тяготеет к замкнутости, самоуглублению. Все это является признаками социальной инертности и связано с пассивным, чисто созерцательным отношением к действительности. Это приводит к большой ограниченности. Страшно узок этот мир психики, и неизбежно приходит художник к извращению его реальных пропорций, к своеобразному психологическому гиперболизму. Малый, замкнутый мир психологии рантье кажется ему всем.

Итак, всестороннее рассматривание конфликтов в психике является единственной материей, с которой Цвейг имеет дело. Но такова лишь поверхность его творчества. Если снять эту отвлеченную общечеловеческую оболочку, становится ясным, что оно движется совершенно определенными классовыми стимулами. Две новеллы Цвейга, о которых мы уже говорили, лишь в более четкой и простой форме дают тот социальный конфликт, которым определяется все творчество художника, имеющее столь отвлеченную, чисто психологическую видимость. Трагедия падающего буржуа является здесь основным, определяющим все линии творчества выражением.

Из новеллы в новеллу переходит достаточно однородный, почти в устойчивых выражениях формулируемый образ беззаботного, самоуверенного и самодовольного буржуа. Не в деловой обстановке показывает его художник, а в обстановке «наслаждения жизнью». Делячество осталось в прошлом. Теперь буржуа на покое. Не черты активности выделяются на первый план, а пассивность, созерцательность, легкомыслие. Образ этот лучше всего охватывается формулой: ж у и р. Целую галлерею друг друга сменяющих, дополняющих представителей этой породы показывает в новеллах «Цепь» художник.

«Я низко склонился и почтительно поцеловал поблекшую, слегка дрожащую, как осенняя листва, руку». Вот — «победитель женщин» из «Смятения чувств».

«Молодой человек, приятно выделяющийся изяществом одежды и природною гибкостью походки». Вот — «охотник за женщинами» из «Жгучей тайны».

«Он решил сделать опыт. Он встал первым и, глядя мимо нее на ландшафт, медленно направился к дверям. Тут он быстро повернул голову, как будто что-то забыл, — и поймал ее живой взгляд, провожавший его». Вот еще одно из животных этой же породы, демонстрирующее, как видим, целую сложную техническую систему ухаживания за женщинами.

Вот Фридрих Микаэль фон Р. из «Фантастической ночи» — «собиратель фарфора и редких гравюр», а также «охотник за женщинами» — «хорошо выбранный галстук мог привести его в хорошее настроение».

Как видим, все эти люди достаточно однотипны. Безразличие ко всему, что выходит за пределы пустого развлечения, абсолютная пассивность во всем, кроме любовных дел, характеризуют жуира. За каждым из них стоит определенная хозяйственная опора, все это — люди, проживающие капиталы, сложившиеся ранее. Ни один из них не связан с активной ролью в общественной жизни. Все это — люди, вышвырнутые из колеи, все это — обломки прошлого, когда-то пышного. Художник распространяет на этот образ открытое сочувствие. Уже в наших цитатах можно заметить приторную сладкость характеристики, откровенную идеализацию. Жуир дан как положительный образ.

Соответственно разрешается и проблема среды. Бытовое окружение представляется в новеллах Цвейга глубоко созвучным основному образу. Нет ничего, что напоминало бы обстановку капиталистического делячества. Здесь ничего не приобретают, не обдумывают никаких спекуляций, не охвачены страстями стяжательства. Буржуа Цвейга очень далеки от активной функции своего класса. Это люди, глубоко ушедшие внутрь себя, рефлектирующие, совершенно неспособные на какое-либо создание. Это мир дезактивизированных, совершенно инертных, сгнивающих буржуа.

Новеллу Цвейга можно назвать курортной, если иметь в виду бытовую обстановку, в которой развертывается действие.

«Маленький пансион на Ривьере».

«Наш маленький кружок».

«Наше вполне буржуазное застольное общество, которое обыкновенно мирно болтало, обменивалось невинными шутками».

«Сейчас вечер, и стол опустел. Мужчины сидят в салоне, курят и играют. До полуночи через раскрытые окна льются в парк дрожащие полосы света, потом веселый громкий смех. Дамы почти уже все разошлись по своим комнатам, кое-кто из них еще болтает, задержавшись в вестибюле».

Окружение характеризуется не менее устойчиво, чем самый образ жуира. Обстановка загородного отеля или курорта, с назойливым постоянством дана в каждом произведении. Это становится типичным, создается впечатление, что самый выбор бытового материала, столь однообразный, подсказывается художнику какими-то серьезнейшими стимулами. Курортная среда новелл Цвейга, раскрытая в очень сочувственных очертаниях, является выражением оторванности от живой действительности. Это — новый остров Цитеры.

Как внутренний мир жуира являлся чрезвычайно ограниченной и лишенной живого содержания системой, так и эта характерная курортная декорация, на фоне которой разыгрываются гиперболизированные конфликты из области жуир-психологии, оказывается чрезвычайно замкнутым, опустошенным миром, ужасающая узость которого очевидна. Но этот убогий мир представляется художнику явлением огромного смысла, для него это — полнокровная, ценнейшая жизненная форма. Такова классовая замкнутость восприятия, — художник настолько органичен в этом отношении, что даже в изображениях природы мы находим явное воздействие курортно-жуирской стихии. Про облака Цвейг может сказать, что «как легкомысленные гуляки, мчатся они по синей дороге». Или про лунный ландшафт: «Таинственна была игра света и тени и пленительна, как игра женщины с наготой и покровами». Как видим, мироощущение жуира определяет здесь все компоненты изображения. Психология «охотника за женщинами» окрашивает и восприятие пейзажа.

Новелла Цвейга является не случайно новеллой сказовой. Почти всегда она мотивируется как сообщение одного из членов курортного общества. Жуир рассказывает о пережитом, о своих похождениях любовного свойства — вот наиболее типичное положение. Выдвигается чрезвычайно существенная для новеллы Цвейга проблема causerie — легкой, поверхностной, внешне-изящной, внутренне-бессодержательной светской болтовни.

Так углубляется специфический характер повестей Цвейга. Не только образ жуира, как основной, здесь характерен, не только специфическая курортная декорация, но и манера causerie. Все это складывается в тесное единство.

Легко перескакивая с вопроса на вопрос, в манере до того вылощенной, что она становится плоской, забавно, с дешевым блеском рассказывают герои новелл Цвейга. Нередко художник начинает игру в смещение сказовых линий — новелла становится переплетением двух и даже трех «исповедей». Слой ложится на слой. Художник охвачен жаждой рассказывать. Все хотят «быть до конца откровенными».

Образ жуира при этом получает ряд характерных дополняющих черт. Пустота, ограниченность, пошлость типа здесь выявляются особенно подчеркнуто.

Любопытную черту вносит проблема causerie в характер повествовательной манеры Цвейга. Выявляется, что causerie — его настоящая стихия. Перед нами рассказчик, забавный и увлекательный, с большим своеобразием строящий повествование, первосортный светский развлекатель. Большая узость свойственна этим блестящим повествованиям. Это — искусство, уходящее своими корнями в буржуазный салон. Здесь мы находим органическую связь между основным образом произведения и повествовательной манерой, глубочайшее единство, пронизывающее сверху донизу все творчество художника.

Новелла Цвейга обращена к эротике. Именно здесь возникает большинство психологических конфликтов, раскрываемых художником. Мы уже видели, сколь важной областью являлась для жуира «охота за женщинами». Естественно, что основная атмосфера новелл Цвейга оказывается атмосферой эротической. Это имеет свое значение. Здесь происходит любопытное перенесение смыслового центра. Эротика стано гся целью

существования. Только здесь ищут интересного, свежего, захватывающего. Мир, вся действительность сведены, таким образом, к страшно узкой цели. Ограниченность, свойственная образам Цвейга, находит здесь свое новое раскрытие. Жуир Цвейга является человеком, отрешенным от конкретной социальной действительности. Перед ним не стоит никакой активной задачи. Его психология есть психология деградации и вырождения. Эротизм возникает здесь как некая иллюзия жизненной системы.

Когда утрачено абсолютно жизненное содержание, только в совершенно опустошенном сознании может возникнуть такая иллюзия. Это приводит к чудовищной гиперболизации эротического. Эротическое становится смыслом жизни. Неудивительно, что художник дает необычайно расширенное, уродливо разросшееся представление об эротическом. Оно заслоняет собою все. Оно превращается в роковую силу, в некую новую религию, к которой приходят люди, все утратившие в реальной действительности, существующие только по инерции. Так эротика новелл Цвейга получает свое социальное оправдание. Во всей ее чрезмерной преувеличенности она живет в творчестве Цвейга в силу социальной обреченности класса, который выражает художник.

3.

Теперь мы подходим к основному конфликту, которым определяется творчество Цвейга. До сих пор мы намеренно характеризовали новеллу Цвейга лишь на начальном этапе ее развития. Брали лишь ее «розовый период». В дальнейшем она получает очень характерное направление.

Творчество Цвейга является очень пессимистической системой. Безоблачная атмосфера, в которой возникли образ жуира, курортная декорация и манера causerie, является для Цвейга обстоятельством, очень розовым и привлекающим, но каждый раз оно связывается с неизбежным констатированием мрачных, раздирающих это спокойствие, неумолимых вторжений жизненной правды. Это приводит художника к характерной двупланности.

С одной стороны, он дает положительное, сочувственное изображение гибнущего мира, с которым он связан теснейшим образом, — с другой стороны, он обращается к признанию того, что мир этот — гнилой, глубоко растленный, мир гибнущий. Постоянной встречей этих двух планов и определяется творчество Цвейга.

Происходит постоянная, чрезвычайно характерная деформация. Один и тот же конфликт, превратившийся в трагическую неизбежность, возникает каждый раз с новой силой в любом рассказе Цвейга. Основные линии конфликта восходят к двойственности классового сознания: прошлое было достаточно ярким и еще очень свежо, а настоящее полно разочарований и не открывает никаких перспектив.

Каждый раз Цвейг показывает нам типичную фауну деградирующей буржуазии в состоянии покоя и благополучия. Каждый раз он начинает с того, что дает некую иллюзию спокойствия. Жуир наслаждается жизнью, курортное общество оживлено, плавно льется речь остроумца-рассказчика. На небе нет ни одного облачка. Все дышит благополучием. Любая новелла Цвейга так начинается. Но за этим следует неизбежный конфликт. Что-то случается. Какая-то роковая беда обрушивается. Люди и обстоятельства мгновенно меняются. Все передергивается трагической больной гримасой. Из области розовых иллюзий мы попадаем сразу в очень мрачную обстановку.

Очень характерна неизбежность этого конфликта. Ни одна вещь Цвейга от него не свободна. Все это совершенно не случайно. В роковой обязательности, неотвратимости этого столкновения находят свой выход обстоятельства классовой ситуации.

Все меняется. Жуир вдруг становится одержимым. Обстановка курортного благополучия превращается в декорацию очень жуткой драмы. Спокойная, прилизанная causerie получает обличье исступленной, взлохмаченной, нервной речи.

Цвейг любит подчеркивать роковой характер этого конфликта. Барон Микаэль фон Р., чья жизнь сломалась в «Фантастической ночи», говорит: «В этот миг началось то единственное, то неслыханное событие, которым теперь определяется моя жизнь».

Или «известный романист Р.» в «Письме незнакомки»: «Он вздрогнул, ему показалось, что невидимая распахнулась дверь и холодный ветер повеял из другого мира в его спокойную комнату. Он почувствовал дыхание смерти...»

Так мотивируется обычно неизбежная деформация, переход от спокойствия к болезненному кризису, от иллюзии к реальной правде. Люди сразу оказываются выключенными из нормального круга, мгновенно падают они в черную пропасть. Становится очевидным, что только здесь начинается настоящее, что все остальное было лишь искусственным сооружением, спадает ложная дешевая мишура, обнажается подлинная и жуткая правда.

Все, что было раньше, кажется притворством. Вся эта курортно-жуирская галиматья выглядит лишь розовым сочинением с тех пор, как она сопоставлена с этой жуткой и по-настоящему глубокой драмой. Здесь надо вспомнить о бедном Соломонсоне и слепом коллекционере. Любой жуир, после того как имело место неизбежное роковое разоблачение, похож на этих буржуа, теряющих свое место в хозяйственной системе, похож как две капли воды. Трагическим становится теперь образ жуира. Обреченность, разчарование, слепая покорность — вот качества его новой психологии.

Художник лишь изредка обнажает существо драмы, ее социальный характер. Так, например, было в случае с Микаэлем фон Р., блестящим жуиром, который скатился вниз к бродягам, ворам и проституткам венского дна, — здесь процесс социальной деградации, как видим, показан. Но Цвейг предпочитает сторониться от этих намеков на прозаическое содержание конфликта, который он хочет показывать как общечеловеческую и чисто психологическую драму. Он обращается к отвлечениям. И роковой этот конфликт, заставляющий веселого жуира стать одержимым, превращается у Цвейга в некую патологию, в чисто личное событие в жизни героя.

Но это вуалирование, являющееся типичным для Цвейга, не скрывает социального смысла этого конфликта. Буржуа консервативного склада, еще недавно являвшийся активной общественной силой и теперь в монополистскую эпоху вышвырнутый из колеи, болезненно переживающий драму своей дезактивизации, — вот кто такой жуир Цвейга, на которого обрушивается роковая катастрофа.

Наличие конфликта представляется художнику абсолютно неизбежным. Здесь основной нерв его творчества. Не будет преувеличением сказать, что художник существует только ради этого конфликта. Зачеркнуть его — значит зачеркнуть Цвейга. Сюда стягиваются все нити, все характерные черты произведений Цвейга. Этим кризисом определяется все.

Мы уже говорили, что эротика, чрезвычайно гиперболизированная, с большой пышностью развертывается в новеллах Цвейга. Как и все в этих произведениях, эротика оказывается двупланной. И если сначала она обращена к нам своей забавной, пикантной стороной, если сначала она является средством увлекательной, изощренной игры, то вместе с переломом, который приносит с собой неизбежная катастрофа, происходит характерная деформация и эротического мотива.

Эротика становится трагедийной. Именно в этот план перебрасывается роковой конфликт. Каждый из повторяющих друг друга героев Цвейга сламывается именно на эротической почве. Таким образом гиперболизация эротического становится оправданной. Социальную катастрофу падающий класс всегда представляет себе слепо, как непреодолимый рок. До трезвой, здоровой оценки он не может подняться. Трагедийная эротика Цвейга относится к этому ряду представлений.

Самая трансформация эротического мотива из пикантного в трагедийный совершается с подчеркнутой резкостью. Кризис наступает мгновенно. Действие сразу соскальзывает с оптимистических рельс. Тайна. Ужас. Роковая неизбежность. Вот новые мотивы, которые начинают развертываться после кризиса углубленно, с больною яркостью.

«И вот настал страшный миг».

«Я словно окаменел».

«Вдруг произошло нечто невероятное».

«Сверкающая тайна манящими глазами глядит на нее из темноты».

Таковы формулы перехода, в которых намечается неизбежный кризис в новеллах Цвейга. Их двупланность, этой формулой подчеркиваемая, становится сугубо выпуклой, ощутимой. Кричащее противоречие между розовым «до» и мрачнейшим «после» становится основным выражением прозы Цвейга. Как везде, он мотивирует этот конфликт не только как случайный, но и как ограниченно-индивидуальный. Он стремится представить этот конфликт как очень замкнутый, но уже самая назойливость, устойчивость конфликта говорит за то, что мы имеем здесь дело с чем-то таким, что гораздо глубже и значительнее, чем простая случайность.

Иной раз и сам Цвейг приходит к довольно ясному представлению о существе этого неизбежного конфликта.

«Я больше так жить не могу... Я схожу с ума... Случится нечто страшное...» — кричит герой «Mondscheingasse» в судорожном исступлении. Этот примерный стяжатель, вдруг ощутивший, как почва ускользает у него из-под ног, стяжатель, охваченный смертельным ужасом перед будущим, является типичной фигурой Amokläufer'а (одержимого). Его выделяет только то обстоятельство, что социальная подоплека конфликта здесь намечена, хотя и не так открыто, как в «Незримой коллекции», — а это совершенно противоположно обыкновению автора: он всегда склонен вуалировать будничные основания драмы.

Трансформируется не только основной образ. Самая манера повествования — лощеная, занимательная causerie — теряет вдруг непринужденность, спокойствие и блеск. Речь становится судорожной и нервной, смятенной. Раньше она была плавной, от одного затейливого периода лениво протекавшей к другому (во всем этом было много самодовольства),— теперь она сразу превращается в дробную, разорванную, выходящую толчками.

Появляется что-то лихорадочное в повествовательной манере после того, как наступил неизбежный кризис. Не только новый, какой-то истерический синтаксис находит писатель, — уже в чисто типографском смысле происходит любопытнейшая деформация. Мы вступаем в область непрекращающихся многоточий. Это соответствует новой — нервной, клочковатой и убыстрившейся манере рассказа.

«Это было... вы понимаете... самое бессмысленное, самое глупое, что я мог сделать... Но гонимый Амоком бежит с незрячими глазами... Он не видит, куда бежит...» — речь совершенно хаотична и далека от правильной смысловой концентрации.

Неизбежный надлом основного образа Цвейга, неизбежное крушение получает, как видим, очень целостную, проникающую во все части произведения интерпретацию.

Можно было бы отметить ряд любопытных опосредствований между основным конфликтом и периферией повествования. Например в новелле «Женщина и ландшафт» дана своеобразная интерпретац. пейзажа, как трагедийного. Кризис основного образа новеллы переносится на природу, и пейзаж предстает в очертаниях болезненной, истерической драмы, которая является узлом повествования. Возникает цельная система, в которой ничто не случайно.

4.

Мы все время имели дело с новеллой Цвейга. И не случайно,— здесь наиболее глубоко и органично дан художник. Но у Цвейга есть еще ряд произведений. Он писал стихи. Он дал несколько драм и довольно много исторических биографий. Минуя стихи и драмы (в них мы могли бы показать немало подтверждений тому, что раскрывается в новеллах Цвейга), мы обратимся к очень характерным для нашего автора историческим биографиям. Все они собраны, как и новеллы, в один цикл, называющийся «Строители мира». Сюда входят очерки о Толстом, Казанове, Стендале, Диккенсе, Бальзаке, Достоевском, Ницще, Клейсте, Гельдерлине.

Художник, отворачивающийся от действительности, создает, как видим, не только абстракции, как то было в новеллах «Цепи», но и некую историческую романтику. А что именно романтикой являются все эти биографии красочных людей прошлого, нетрудно заметить. Обращаясь к Клейсту или Стендалю, Толстому или Казанове, как бы противоречивы ни были эти люди прошлого (цельность не является добродетелью Цвейга и никогда не была ему свойственна), художник имеет в виду отнюдь не историческую объективацию.

Не для того, чтобы внимательно, с возможным беспристрастием знакомиться с событиями и людьми прошлого, Цвейг превращается в историка. Нет, ему совершенно безразлична эта история как таковая, и неинтересны ему факты как объективные данные. Он стремится к другому.

Цвейг откровенно вульгаризирует историю. Весь исторический цикл его произведений является проекцией той характерной системы, которую мы видели в новеллах Цвейга, — на историческое прошлое. Происходит постоянное приспособление фактов истории к представлениям мятущегося буржуа. Таким образом историю Цвейг пользует как некую иллюзию, позволяющую развертывать основной, как мы показывали, классово-детерминированный конфликт в обстановке, свободной от воздействия реальной действительности, к которой художник относится со столь явным пренебрежением. Вот — единственная почва исторических обращений Цвейга.

Подведем некоторые итоги. Творчество Цвейга связывается, таким образом, с устремлениями консервативной буржуазии в той ее группе, которая оттеснена монополистской эпохой, но еще сохраняет некоторую материальную обеспеченность, группы паразитарной, рантьерской. Поскольку самое оттеснение произошло сравнительно недавно и не имело катастрофического характера, в творчестве Цвейга находят свое выражение элементы буржуазного самодовольства (образ жуира, курортная декорация, causerie, эротика). Так формируется первый план, превращающийся в розовую иллюзию, в сентиментальное воспоминание об утраченном благополучии, как только возникает неизбежный трагический конфликт, являющийся основным узлом изображений Цвейга. Резкий перелом переживают основной образ и вся система произведения в связи с этим конфликтом. Вступает в силу настоящее, иллюзии развенчиваются, открывается горькая, безнадежная трагическая правда. Обнажается глубокая раздвоенность художника.

Надо отметить здесь полную отрешенность художника от социальной действительности. Годы войны и революционных потрясений были периодом, когда создавались основные вещи Цвейга, но мы напрасно искали бы отражения этих животрепещущих событий у Цвейга. Нет этого отражения. Художник упорно замыкается в свою абстрактную скорлупу. Единственную драму, им рассматриваемую, он предпочитает давать в отвлечении. Здесь сказываются абсолютная замкнутость социальной группы, ее полная прострация и то обстоятельство, что абсолютно никаких связей с действительностью, никаких надежд на активное вмешательство и никакого желания существовать активно — не намечается. Это настоящее болото паразитической психологии, тупая ограниченность рантье, пустое высокомерие опрокинутой буржуазной аристократии. Ничто не движется, все мертво в этом косном существовании.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ТВОРЧЕСТВО НАРОДОВ СССР.

Д. А. Лебедев, Домик на Сакмаре, роман из жизни Башкирии, Гиз, М. — Л. 1929, стр. 246, ц. 1 р. 75 к., тир. 3000 экз.; **В. А. Лебедев,** Мамбет и Кыдырбай, повесть, Гиз, М. — Л. 1929, стр. 178, ц. 1 р. 25 к., тир. 3000 экз.; **Б. Глазман,** На волоске, новеллы, перевод с еврейского М. Кисина, Гиз, М.— Л. 1929, стр. 154, ц. 1 р. 10 к. тир. 3600 экз.; **Тарас Гуща** (Якуб Колас), В глуши Полесья, перевод с белорусского К. Яковчика, Гиз, М. — Л., стр. 211, ц. 1 р. 50 к., тир. 3000 экз.; **Цишка Гартный,** Повести и рассказы, перевод с белорусского В. Д. Раковской со вступительной статьей С. Городецкого, Гиз, М. — Л. 1929, стр. 213, ц. 1 р. 50 к., тир. 3000 экз.; **А. М. Ширванзаде,** Злой дух, повесть, перевод с армянского В. Терьян, Гиз, М.— Л. 1929, стр. 95, ц. 60 к., тир. 3000 экз.; **А. М. Амур-Санан,** Мудрешкин сын, с предисловием Ф. Ф. Раскольникова и И. С. Архинчеева, Гиз, М. — Л. 1929, стр. 240, ц. 1 р. 20 к., тир. 4000 экз.

Желтые пески Башкирии, унылые калмыцкие степи, аулы горного Киргизстана, Полесская глушь, жалкие еврейские местечки, украинские деревни, армянский городок, затерянный в горах, — на этом многообразном фоне развертывается действие романов, повестей и рассказов, включенных в гизовскую серию «Творчество народов СССР».

В наши дни, в дни роста и развития национальных культур, налаживания культурной связи между народами СССР, систематическое издание образцов художественного творчества национальных писателей нужно всемерно приветствовать. Опыт издания этой серии, дающий возможность широким слоям нашего читателя ознакомиться с художественной литературой (произведениями дореволюционными и современными) соседних республик и этим самым помочь культурному сближению разнообразных народностей нашего Союза, нужно признать удачным и очень своевременным.

До настоящего времени напечатано около 20 книг этой серии. В нашем обзоре мы остановимся только на 7 книгах серии; на основании их анализа сделаем некоторые более широкие выводы, относящиеся ко всей серии в целом.

Уже при первом знакомстве поражает невыдержанность серии в отношении принципа выбора произведений национального творчества. Так, наряду с книгами (например Тарас Гуща, В глуши Полесья, Ширванзаде, Злой дух и т. д.), представляющими собой перевод с белорусского, армянского и др., мы имеем книгу Д. А. Лебедева, Домик на Сакмаре, где в подзаголовке указано: «Роман из жизни Башкирии». Вполне очевидно, что книга написана на русском языке, возможно, русским автором — и, таким образом, не является образцом башкирской литературы. Что касается книги В. А. Лебедева, Мамбет и Кыдырбай, то и из предисловия и из дальнейшего контекста (стр. 114 и 176) мы узнаем, что автор — русский, только написавший повесть из жизни киргизов. Перед нами, в данных случаях, не творчество народов СССР, а литература об этих народах. Само собой разумеется, что в этом есть глубокая принципиальная разница (не причислим же мы, например, «трубку коммунара» Эренбурга,

посвященную Парижской коммуне, к образцам французской литературы), которая нигде редакцией не оговаривается. Приходится недоумевать, что заставило редакцию серии остановиться именно на этих двух художественно слабых произведениях, к тому же не являющихся образцами башкирской и киргизской литератур.

Роман из жизни Башкирии (Д. А. Лебедев, Домик на Сакмаре) представляет собой смесь элементов детективного романа (здесь и злодейские заговоры английских шпионов-наймитов, и фальшивые документы, и кровавые рукавицы, разгадка таинственного преступления, отрезанные уши женщины, бешеная погоня) с примитивной символикой народного сказа. Главы «Сказка про Асылыкуль», «Почему плакал Курай» и т. д. перемежаются с главами «Алло! Алло! Говорит Лондон» и «Барклай и К-о больше не будет платить». Здесь нет двухпланости в построении романа, — перед нами безвкусная стилизация и мешанина. Не всякая тема поддается тому или иному жанру, не всякий жанр принимает любую тему. И если в сказочно-песенном стиле можно говорить о «глубоких долинах Сакмары», которые «гудят от свирепого воя джинов» (злых духов), о «неисчислимых, как звезды, богатствах хана Нуретдина», то полным диссонансом звучит описание в этом же стиле Красной Байкары (золотых приисков) или выездной сессии советского суда.

На русском языке русским автором написана повесть: В. А. Лебедев, Мамбет и Кыдырбай — «про двух киргиз, из которых один принял правду, волю истории, а другой — нет», о славном Мамбете — большевике, который собственной жизнью отомстил Кыдырбаю — врагу советской власти. Книга, интересная с тематической стороны, проигрывает благодаря примитивности сюжета, благодаря опять-таки неудачной стилизации творчества чужого народа. Обильно рассыпанные в повести киргизские слова и выражения (данные, кстати, без объяснений), киргизские имена и названия недостаточны для создания местного бытового колорита. Тяжеловесность и неправильность многих синтактических оборотов речи можно было бы объяснить погрешностями перевода, но увы... повесть написана на русском языке русским автором! Отдельные авторские высказывания, вроде того, что у «Питерского царя», «все законы царевы за мужиков»... «все мужику. Все от киргиза» (стр. 49), хотя и даны, повидимому, как взгляды темных киргизских масс, могут, без соответствующих оговорок, привести широкие слои нашего читателя к нежелательным выводам.

Еще большим недоразумением является включение в эту серию книги «На волоске» Б. Глазмана — американско-еврейского писателя. Книга эта хотя и написана на еврейском языке, но по своей тематике не имеет ни малейшего отношения к Советской России (действие происходит в Америке) и ни в какой мере не характерна для творчества еврейского народа СССР. Чем руководствовалась редакция при выборе этой книги, к тому же очень плохо переведенной, — остается загадкой.

Переходим к произведениям, являющимся действительно образцами национального творчества. Две книги: Тарас Гуща (Якуб Колас), В глуши Полесья» и Цишка Гартный, Повести и рассказы, которыми пока представлена белорусская литература, позволяют говорить о не всегда удачном выборе произведений национальных писателей. Из этих двух книг выбор первой следует признать относительно более удачным. Повесть Якуба Коласа представляет собой в некотором смысле автобиографический документ: автор, учительствовавший в течение 4 лет (с 1902 по 1906 гг.) в глуши Полесья, описал жизнь белорусского сельского учительства этих лет. Описание быта Полесья, отдельные наблюдения, не лишенные зоркости, над сельской интеллигенцией, представляют безусловный интерес. Наибольшие сомнения вызывают народнические и националистические тенденции главного героя — учителя Лобановича, которым, очевидно, не чужд был и сам автор, один из представителей так называемого нашенивского (эпоха белорусского журнала «Наша ніва», издаваемого с 1906 по 1915 гг.) периода в белорусской литературе. Со

стороны художественной повесть мало ценна: в большом по объему произведении почти не развертывается действие, ряд эпизодов остается неиспользованным, чувствуется какая-то общая незаконченность.

Думается, что целесообразнее было бы в первую очередь из произведений Коласа издать сборник «На просторах жыцьця», в котором автор уже нащупал крепкие основы нового быта.

Рассказы и повести Ц. Гартного, белорусского писателя-коммуниста, бывшего рабочего кожевника, затрагивают случайные и довольно незначительные события и эпизоды нашей современности. Наряду с более удачными, например «Кожевник Шлема Брыкер», в сборник включены очень слабые рассказы, не отображающие специфические особенности быта и строительства Советской Белоруссии, лишенные сюжетной остроты.

В дальнейшем желательно было бы включить в серию произведений пролетарского «маладняка» Белоруссии и одного из основателей этого литературного объединения молодых белорусских писателей — Михася Чарота. Поэма последнего была уже переведена (довольно неудачно) на русский язык и напечатана в журнале «Октябрь».

Образец армянской литературы — несколько наивная, но художественно хорошо слаженная повесть старого армянского романиста и драматурга — Ширванзаде, Злой дух, раскрывающая гнетущую власть предрассудка, власть суеверий и знахарства в старом армянском быту. Впрочем, когда происходит действие повести, предоставляется догадываться читателю самому.

В ближайшем будущем было бы желательно осветить творчество ряда крупных старых армянских писателей и современных пролетарских писателей Армении (Алазан, Абов, Овик Меликян и др.), с которыми небезынтересно было бы познакомиться нашему читателю.

Это же пожелание относится целиком и к произведениям украинской литературы, которая пока представлена в серии творчеством дореволюционных писателей (Ив. Франко, Коцюбинский и Винниченко).

Подлинным документом целой эпохи жизни и социальной психологии калмыцкого народа, начиная с конца XIX века до послеоктябрьских лет, является книга сына бедняка, бывшего пастуха-калмыка Амур-Санана, Мудрешкин сын. Бесхитростное, правдивое, местами наивно-трогательное повествование автора о своем мрачном детстве, о росте классового и политического самосознания дано на фоне дореволюционного быта косных калмыцких масс, еще не вышедших из патриархально-родового строя, на фоне процесса постепенного разложения родового быта и внедрения новой жизни после Октября. Эту книгу можно причислить к жанру так называемой «документальной беллетристики», в котором недостатки художественного мастерства искупаются глубокой искренностью повествования и значительностью темы.

Анализ отдельных образцов серии позволяет нам сделать некоторые общие выводы, высказать отдельные пожелания для дальнейшего издания. Чрезвычайно актуальная и интересная по своему замыслу серия «Творчество народов СССР» нуждается в известных коррективах.

Прежде всего необходима бóльшая осторожность в выборе характерных образцов национальной литературы (и уж, конечно, подлинно национальной). Необходимо включить наряду с дореволюционными произведениями более значительное количество послеоктябрьской литературы.

Резко отрицательное впечатление производит редакционная сторона серии. Большинство книг даны без какого бы то ни было предисловия. Между тем хотя бы краткое знакомство с биографией автора, его социальным обликом, основными этапами творчества, главнейшими хронологическими датами (дата написания произведения) необходимо читателю, знакомящемуся большей частью впервые с творчеством национальных писателей. Эта недопустимая небрежность усугубляется тем, что к некоторым книгам, совершенно произвольно, дается предисловие. Так, например, одна из изданных белорусских книг (Ц. Гартный) удостоилась предисловия, между тем как в другой (Як. Колас) предисловие отсутствует. Чем вызвана эта редакторская немилость к Коласу,

остается для нас неразгаданной тайной. В книге Амур-Санана имеется два предисловия, между тем как книги Лебедева, Ширванзаде и многие другие лишены их вовсе. Та же случайность и по отношению к другим книгам серии.

Комментарии, заключающиеся большей частью в объяснениях местных слов и выражений, тоже рассыпаны по какой-то странной прихоти редактора. Они даны в большой мере, например, в книге Ширванзаде, для книги же Лебедева «Мамбет и Кыдырбай», очевидно, предполагается читатель, знакомый с киргизским языком и не нуждающийся в разъяснениях таких слов, как, например, «бешпармак» (стр. 16), «улак» (стр. 43), «узун кулах» (стр. 55), «танапы» (стр. 89) и много других.

Со стороны переводов серия тоже не однородна: наряду с более удачными (перевод с армянского Ширванзаде, перевод с еврейского Персова, «Ржаной хлеб» и др.) есть менее удачные (переводы с белорусского) и, наконец, вовсе безграмотные (перевод севр. книги Глазмана).

Нам представляется, что было бы чрезвычайно ценным в будущем расширить серию, издавая попутно с прозой и поэзию народов СССР (сборники стихов и отдельные поэмы, которыми богаты наши национальные литературы послереволюционных лет). Большой интерес представило бы для довольно широкого круга читателей знакомство с критическими и историко-литературными работами наших соседей, в большинстве случаев непереведенных на русский язык; между тем ценность некоторых из этих работ (мы имеем в виду, главным образом, статьи белорусских, украинских, грузинских и армянских критиков и теоретиков литературы) не подлежит сомнению.

Расширенная и редакционно хорошо оформленная серия «Творчество народов СССР» явится ценным вкладом в нашу литературу. **Л. Поляк.**

Елизавета Полонская. Упрямый календарь. Стихи и поэмы, изд. писателей в Ленинграде, 1929, стр. 100, ц. 1 р. 30 к.

В творчестве Елизаветы Полонской, этой безусловно культурной поэтессы, уживаются две противоречивых тенденции: с одной стороны, стихийное устремление к революции, желание стать ее певцом; с другой — в ряде ее произведений намечается типичный образ деклассированного попутчика, принявшего революцию, но сохранившего в то же время довольно отчетливо проступающие черты богемского анархизма.

Любопытен также самый характер «принятия революции» поэтессой, причины, которые отталкивают ее от старого мира. Это прежде всего — ненависть к сытому самодовлеющему мещанству, к его быту и внешнему облику. Вот стихотворение «Собаки». На «дряхлый манеж» собрались люди. Предстоит «великолепное» зрелище: собаки будут травить человека, укравшего узел. Сочувствие поэтессы на стороне затравленного. Ей ненавистны эти пасти, остервенелым «ату» науськивающие свору на человека. В основе их воодушевления она чувствует страх мещанина за свою собственность. Только словом «сволочь» может определить поэтесса этих озверевших собственников:

И сволочь уходит к семейным основам,
И зрелищем каждый приятно взволнован.
Так собственность мы охраняем незримо,
Так жизнь гражданина законом хранима.

Любопытно контрастное построение разбираемого стихотворения: «людской сволочи», у которой «зады в панталонах и шляпки на рыльцах», — противопоставлены «честные» собаки; люди и звери меняются местами в воображении поэта, воспаленном ненавистью к сытому мещанину.

В приведенном выше отрывке промелькнуло также отрицательное отношение и к «семейным основам» обывательского дома. Это чувство находит свое развитие в стихотворении «Лебедь», где образ женщины дан в виде птицы, порывающей цепочку, приковывающую ее к семье:

Так унизиться! Так забыться!
Сыновей рожать и блюсти твой дом!
Пить из блюдечка, мирной птицей
Прыгать по полу, петь под окном!
С крыши смотрю я в твою одиночку,
Хлопает форточка. Ветер, как май.
Муж мой и дом мой, прощай, цепочка!
Я улетаю, прощай!

В поэме «Кармен» Полонская дает глубоко симпатичный ей образ женщины в более конкретной социальной обстановке. Образу женщины «с клеймом жены» противопоставлена табачная работница Кармен — «дитя любви внебрачной», женщина, которая сама «любила не торгуясь», была на фабрике «всех безудержней, всех горластей» и которой «был сужден удар ножа и злая смерть под воротами». В дни революции Кармен встречается на улице с демонстрацией:

Звенели глухо голоса,
Как будто с жизнью смерть боролась,
И кто-то *толстый с мордой пса*
Вдруг прошипел: «распелась сволочь!»
Тогда, очнувшись ото сна
И медленно сойдя с панели,
Веселой злобою полна,
Кармен примкнула к тем, кто пели;

Опять — образ жирного мещанина, ненависть к которому толкает героиню в ряды революции.

Неслучайно, что родственные поэтессе образы и здесь и в других стихах представлены выходцами из социальных низов большого города, из его деклассированных люмпен-пролетарских слоев. В данном случае «рабочие» черты Кармен можно принять только на веру, — зато облик женщины, выросшей «на краю канавы», с ее, по сути дела, анархическими проявлениями ненависти и симпатии, — в достаточной степени убедителен.

Особенно показателен в смысле определения социального лица Полонской «лирический фильм» «В петле», написанный, правда, по признанию самой поэтессы, тогда, когда «смысл эпохи был еще не ясен для многих», т. е. в период перехода к нэпу. Поэтесса пытается переложить ответственность за эту вещь с себя на героя, — «показана глазами и рассказана интонациями» которого вся действительность, преломленная в поэме. Прописной марксистской истиной является, однако, тот факт, что о б ъ е к т и в н о г о изображения действительности не дано автору, живущему в классовом обществе, и что «интонации героя» и его «взгляды на жизнь» детерминированы теми же социальными условиями, которыми обусловлено сознание самого автора.

В центре поэмы — образ бывшего матроса, а теперь бандита Леньки Пантелеева; портрет Пантелеева нарисован в тонах явно восторженных:

Ленька Пантелеев,
Сыщиков гроза,
На руке браслетка
Синие глаза...
и т. д.

Это — теперь. А раньше? Оказывается, что Пантелеев — матрос с «Авроры». Он даже участвовал во взятии Зимнего дворца. В свете этого прошлого бандитское настоящее Пантелеева воспринимается как политический, а не личный акт:

Трудно стало в городе жить:
Слишком много добра понабрали.
Только
не для бедняков.

Они дрожали, собаки,
При виде наших знамен.
А нынче смеется всякий...
Матросом гнушается он.

Нэповский этап революции воспринимается как ее предательство:

Спи спокойно, ювелир,
Не погибнет старый мир!
Революция тебя охраняет...
Безмятежно спи, делец,
Далеко еще конец!
Революция тебя охраняет.

Следующая строфа, говорящая о том, что это лишь «Миру старому отсрочка Перед смертью дадена», так же, как бодрые пролог и эпилог, — лишь публицистическая отписка, противоречащая духу самой поэмы, построенной на возвеличении Пантелеева как единственного борца революции в эпоху ее разложения (здесь «интонации героя» становятся авторскими). Бандитский акт Пантелеева превращен автором в акт революционного террора:

Революция еще не окончена:
Пускай погоняются с гончими!

В свете предыдущего анализа чрезвычайно характерно тяготение Полонской к блатной лексике: «сволочь», «шпингалет», «дерьмо», «шпана трет яблоки» и т. п.

Елизавета Полонская, безусловно, ненавидит «старый мир», сытое, толстозадое мещанство с его укладом, моралью и обликом. Но противопоставить ему что-нибудь кроме анархического бунтарства

(и здесь дело не в одной «Петле») поэтесса пока что не может. Отсюда социальная галлерея ее героев, их блатной язык, их настроения, символизирующие лишь настроения самого автора.

В художественном отношении Полонская — поэт большой выразительной силы и (кроме некоторых «ахматовских» тенденций) поэт чрезвычайно самобытный.

Сергей Малахов.

АЛЬМАНАХИ «Зиф», книги 3-я и 4-я.

Альманахи «Зиф» продолжают культивировать хорошую традицию: в каждой книге предлагают читателю большой законченный роман пролетарских писателей. С романом обычно соседят повести и рассказы попутчиков и тех молодых авторов, которые отмечены знаком таланта. Отдел стихов, занимающий приблизительно печатный лист, всегда качественно высок, но пока составляется из небольших вещей. В проспекте альманахов значатся обещания: «проводить борьбу с упадочничеством в литературе, дать читателю материал бодрый, здоровый, жизнерадостный».

Книги 3-я и 4-я альманахов знакомят с новыми романами писателей: Петра Ширяева «Гульба» и А. Новикова-Прибоя «Соленая купель». Оба романа заслуживают пристального внимания — и как известные этапы творческого пути авторов и как произведения, стремящиеся по-своему подойти к центральной проблеме литературы: показ нового человека.

* * *

В романе «Гульба» Ширяев оперирует материалом гражданской войны. Вновь и вновь проходят перед читателем отрезанный от тела республики уезд, грозная волна бандитизма и крестьянских восстаний. Так же, как и Сельвинский в «Улялаевщине», Ширяев мотивирует кривую роста бандитизма искривлением советской линии в деревне периода гражданской войны. Из уст чекиста Грабова слышится грозное обвинение агентам упродкома: они готовы «раскрыть избу за невывезенную картошку или корову отобрать». Но автор не решился акцентировать на неверную политику местных властей, — тот же Грабов согласен:« ежели хлеба не дают добром, приходится брать силой». Поэтому недостает роману того обоснования необходимости событий, какого после «Разгрома» мы вправе требовать от батальных произведений: главы «Гульбы» связаны не идеей — внутренне, а внешне — присутствием двух главных героев — эсера Телепнева и Степана Кабарги.

Когда я связывал «Гульбу» с циклом произведений, показывающих нового человека, я имел в виду не главных героев романа. Эсер Телепнев, лишний раз иллюстрирующий разлад мыслей и чувств интеллигенции (не повторяя, однако, — к чести автора — фединского Старцова, фадеевского Мечика и героев вересаевского «В тупике») — убедительный образ выродившихся Савинковых. А Степан Кабарга, отрабатывающий свой грех покушения на продкомовскую мануфактуру, — нераскрытый должным образом персонаж. Новый человек — это Грабов, председатель уездной чека.

В Грабове Ширяев сумел слить в прекрасный целостный образ человека-общественника, большой политический ум, конденсированную волю и теплеющее состраданием сердце. Один председатель Чека видит внутренние причины роста бандитизма в уезде, понимает деревню, разоренную сменами властей и готовую от разора на все тяжкие, и с тактом предусмотрительного бойца готовит себе соратников, заботясь «о фураже, продовольствии и обмундировании красноармейских отрядов». Грабов «двинет тяжелой изуродованной челюстью», подписывая смертный приговор бандитам, но сам лично будет руководить приведением приговора в жизнь. И в то же время к бандитам, ставшим жертвами невежества и обмана, он относится так же мягко, как в своей семье относится к сестре — слепой девушке. Грабов — колоритно выписанная фигура, прекрасный материал для актерской игры. (Роман «Гульба» весь просится в пьесу.)

«Гульба» заставляет вспомнить «Бандита Наля». Многие главы оформлены приемами авантюрного романа (первая глава третьей части), тяжесть психологической нагрузки ослаблена введением персонажей, чья характеристика приближается к гротеску (Чибриков). Крепки картины деревенской жизни и бандитской гульбы, они

принуждают смотреть на историю Телепнева как на побочную сюжетную линию романа, выросшую по недоразумению в центральную.

* * *

«Соленая купель», роман Новикова-Прибоя, продолжает линию ранних, насыщенных психологизмом, рассказов (Лишний, Шалый, Порченый) и повести «Ухабы». Практика пригодилась — по стройности композиции, категорической подчиненности всех фабульных мотивов теме перерождения человека, роман, несомненно, выше «Гульбы» и может с честью выдержать сравнение с лучшими произведениями советской литературы. Особенный интерес возбуждает международный характер постановки проблемы: миссионер Лутатини (из Буэнос-Айреса), попавший по контракту с шанхаером на судно с контрабандным военным грузом и почувствовавший на себе перевоспитывающую руку условий матросской жизни, может быть заменен представителем привилегированных сословий любой страны. И история его отхода от церковного бога и земных властей повторилась бы почти дословно: нельзя человеку, став жертвой издевательств над собой законов, продолжать хранить почтение к этим законам и их предполагаемому небесному автору.

Роман с умной постепенностью раскрывает преображение внутреннего мира миссионера Лутатини: сначала искра сомнений поджигает его целостное идеалистическое мироощущение, затем в отчаянной борьбе за жизнь оно сгорает ослепительным пожарищем, и наконец начинается внутренняя работа над созданием материалистического «видения». Автор тактично кончил роман на зарождении нового восприятия мира — о длительном процессе его роста — надо писать самостоятельное произведение.

Установка «Соленой купели» на кропотливое изображение психологического перерождения человека определила особое внимание автора к главному герою. Матросская команда, пароходное начальство— все персонажи романа связаны с судьбой миссионера Лутатини и выписаны как второстепенные действующие (служебные) лица. Это не мешает отдельным их портретам быть большой живописной силы (помощник капитана Саймеис, матросы Карнер, Домбер и другие).

Многие сцены романа составляют ценнейший вклад в библиотеку маринистской литературы (главы, описывающие захват Ориона немецкой субмариной, взрыв Ориона и гибель китайца Чин-Ха, дни, проведенные на лодке в ожидании смерти). Экспрессивный стиль блестяще сочетается с умело развертываемым сюжетом.

* * *

«Бамбуковая хижина» Всеволода Иванова — повесть о людях, над жизнью которых (подобно жизни Василия Фивейского) тяготел неумолимый рок. «Умножающий познания», как известно было еще автору Екклезиаста, «умножает тем самым печали», и инженер Закревский, главный руководитель работ по проведению Бзуджинского канала, должен застрелиться. Он застрелился бы, если бы не было крушения его проекта, если бы его жена не бросила... Он обязан застрелиться, ибо сеет семена культуры. Бандит Кочерга должен оставаться бандитом — пусть ему опротивел всеобщий страх, пугает жуткое одиночество, но своей судьбы смертный (в последних произведениях Всеволода Иванова) не изменяет. Рок посылает Филиппа Баскевича стать убийцей бандита Кочерги, — и он — послушное орудие в руках неведомой силы. Герои «Бамбуковой хижины» чувствуют за своими плечами дыхание грозной судьбы, они не прочь в мечтах поднять на нее руку. «Уехать бы мне в Батум, там постоянно теплый дождик идет, и возле Махинджури живет мой приятель в бамбуковой хижине... Бамбук— дерево такое, легкое, легкой жизни способствует. Наплевал на все думы и живет». Показательны идеалы мечтаний — «наплевал на все думы», с ними жить невмоготу людям Всеволода Иванова, над которыми издевается жизнь.

* * *

Из рассказов, помещенных в книгах 3-й и 4-й альманахов, выделяется постановкой серьезной общественной проблемы рассказ Г. Никифорова «Ложь». Писатель со смелостью своего человека отыскивает корни бюрократизма в партийной

среде и намечает способы борьбы. Однако значение темы ослаблено дефектами художественного разрешения.

Герой рассказа, предтреста Сурепин, приучившийся свои доклады одевать в мундирные формы «казенного благополучия, ощущает смутное беспокойство за то положение, которое он занимал. Пришло сознание того, что он окружен конкурентами, готовыми в любую минуту выбить его из положения. И всеми доступными ему способами он защищал свое положение, находил оправдание своим действиям — и отсюда родилась его ложь». Никифорова (и читателя) интересует Сурепин как обобщение; автор несколько раз подчеркивает относительную типичность своего персонажа («Таким именно был Сурепин Дмитрий и, окруженный такими же...»). Чтобы лечить болезнь, надо знать историю ее развития. Но прошлое героя нам предстоит из анкетных сведений — сухим и мертвым. Когда-то до революции Сурепин получил «первый гражданский чин коллежского регистратора», носил «новенький учительский мундир, казавшийся очень блестящим, с галунами на воротнике и со звездочкой». Годы подполья, «тюремных отсидок и мытарств по белу свету», гражданской войны также по-анкетному скупо вписаны в соответствующие рубрики curriculum vitaé, и «жаждой хлеба, развлечений и удобств» автор награждает Сурепина без достаточных обоснований. Неужели это все от проклятого «учительского мундира», власть которого оказалась непобежденной подпольем, ссылками, эмиграцией («скитаниями по белу свету») и работой на фронтах? Не отрыгнулись ли в изображении Сурепина остатки тех неприязненных чувств к интеллигенции, которыми болел Никифоров до романа «У фонаря»?

Для того чтобы акцент на власть «учительского мундира» крепче ощущался читателем, Никифоров создал прекрасную (контрастную с Сурепиным) фигуру рабочего-директора Водопьянова. Его ненависть к «ч и н о в н и ч е с к о м у (разрядка автора) показному благополучию» прямо противоположна сурепинской лжи, но она только подчеркивает отрицательное в главном герое. Помочь же объяснить корни его б ю р о к р а т и з м а она не может. Таким образом стрела рассказа не попадает в мишень, история болезни не написана, и факт сурепинского разложения воспринимается как с л у ч а й. Этому восприятию помогает и сам Никифоров, кончая рассказ описанием истерического выступления героя в МК. (Может, в нервной системе — причина причин? Но тогда какое право имел автор говорить о других Сурепиных?)

* * *

Остальные рассказы альманаха не выдвигают проблем и различны по своим художественным достоинствам. Классичны (по языку), но современны в характеристике деревни небольшие рассказы М. Пришвина из книги «Журавлиная родина»: пришвинский мужик не связан с бунинскими традициями, доселе свято хранимыми многими советскими писателями («Выхваль» Сейфуллиной), он не жесток в своем хозяйственном расчете. Выразителен и скуп при огромном драматическом напряжении рассказ Е. Замятина «Наводнение», но идейное содержание его нуждается в особом разборе.

Материалом для «Наводнения», очевидно, послужило какое-нибудь судебное дело: жена рабочего убивает взятую на воспитание девочку (с ней живет ее муж) и больше года скрывает от всех преступление. Признается она в родильном доме после счастливых родов, и, когда ей поверили, она, «как птица, опустилась на кровать. Теперь было все хорошо, блаженно, она была закончена, она вылилась вся». Зависть женщины, инстинкт материнства (если б не родился ребенок, она унесла бы свою тайну в могилу) — на власти биологических начал построен рассказ. Замятину надо было тезис о п р и м а т е подсознательного над ratio втиснуть в соответствующую оправу. Он выбрал рабочую среду — и этим обесценил рассказ, так как обыграть особенности социального положения рабочих оказалось автору не по силам.

О герое рассказа, рабочем Ленинградского завода, мы узнаем странные сообщения: когда «была война, потом революция», д л я Т р о ф и м а И в а н ы ч а «н и ч е г о н е и з м е н и л о с ь». Наступили голодные дни гражданской войны, все оставалось попрежнему, даже «хлеба могло легко

хватить на троих». Таким же изолированным от общественных бурь, Робинзоном Крузо на обитаемом Васильевском острове остается Трофим Иваныч и в годы строительства. Он живет все время одной мыслью, подсказываемой биологическим инстинктом — иметь ребенка. Трогательное совпадение с женой! Но если для нее биология может оправданно подчинять сознание, монолитность Трофима Иваныча — замятинский трюк, явное нарушение исторической перспективы. Трофим Иваныч, конечно, может не оказаться во главе ленинградского пролетариата, он, если хотите, рядовым бойцом на своей фабрике может быть не в состоянии, — но почувствовать, что с революцией что-то изменилось в его судьбе, он обязан. Тем более, если не почувствует сам, голод ленинградский 1918—1921 гг. заставит подумать. Во всем рассказе Трофим Иваныч однажды только покажет рабочее лицо, но как убийственно показательно — для автора — это произойдет. «Ночью по-разному дышали трое: одна — зарывшись в подушку, чтобы ничего не слышать, двое — сквозь стиснутые зубы, жадно-жадно, как котельная форсунка». Дышал ночью, «как котельная форсунка» — не правда ли, какой характерный производственный образ?!

Лживость образа Трофима Иваныча лишает рассказ общественного значения.

* * *

Рассказы писателей, безусловно талантливых авторов — А. Макарова («Смерть Короля») и Д. Крутикова («Белый Каин») — не принадлежат к числу лучших их произведений. «Смерть Короля» А. Макарова нуждается в серьезном исправлении характеристик действующих лиц. Безработные Король и Людмила отрекомендованы автором в качестве представителей пролетариата (Людмила была выдвиженкой), но их речь, реплики Короля в стиле «Песни песней», поведение — все утверждает в них интеллигентов, знакомых с символизмом. «Белый Каин» Крутикова оформлен в жанре, промежуточном от психологического к авантюрному, и не отвечает на главный вопрос — что переродило героиню. «Магнитные бури» — несколько необычный для Лидина рассказ. В нем не получили развития элементы любовной интриги, навязчиво культивируемой автором в каждом произведении, отсутствуют фешенебельные картины ночной жизни города. И это уже хорошо! Писатель удовлетворился изображением в приподнятом тоне истории гибели летчика Шарыгина вместе с бортмехаником во льдах Арктики. Рассказ звучит дифирамбом в честь «неизменной воли человека побеждать и совершенствовать мир». «Пощечина» М. Слонимского больше фотографирует, чем художественно отображает, — рассказ, написанный на острую тему отношений рабочих к спецам, не волнует, а принимается к сведению.

* * *

Отделу стихов альманахов может позавидовать любой из толстых журналов. Стихотворение Н. Тихонова «Шаги агронома» — ярчайшее доказательство того, что для культурного поэта нет трудностей при разработке публицистических тем. О смычке можно (и должно) писать не плакатно, а в ораторски-темпераментном плане и насыщенно идейно:

Пока не жаждет пулемет
Распотрошить людскую гущу —
Живет и здравствует омет
Средь мельниц, урожай жующих;

Пока не страждет командарм
Рассечь врага одним ударом, —
Амбары полнятся недаром,
Полей золотоносным даром;

Пока не скажет вражий гром
Свое вступительное слово —
В полях не может быть иного
Ловца пространств чем агроном...

Выразительно «Можайское шоссе» Э. Багрицкого: сравнение дороги, по которой скакали «дразня коней, Даву, Массена, Бернадот, Ней», с современным шоссе, где ежедневно «на приступ Москвы идет покоритель — автобус», звучит агитационно. «Утро» С. Обрадовича запоминающе рисует картину ранних трудовых часов большого города. Хочется выделить стихи растущих Вис. Саянова («Корчма на литовской границе»), О. Колычева («Сады Тирасполя») и Н. Брауна («Быстрота»).

Виктор Красильников.

М. Сыркин, Искусство и техника. Технический стиль в пластических искусствах, изд. Белорусской секции научных работников. Минск, 1928, стр. 59, ц. 80 к.

А. К. Топорков, Технический быт и современное искусство. Гиз. 1929, стр. 257, ц. 2 р. 25 к.

Проблема искусства в производстве и взаимоотношений искусства и техники является в настоящее время одной из центральных. Над ее разрешением работают наиболее выдающиеся представители западного искусства и искусствознания, она остро стоит и в наших условиях, особенно сейчас, когда мы переживаем реконструктивный период, в процессе которого постепенно вытесняются старые художественные формы и старая эстетика. Рецензируемые работы каждая по-своему ставят проблему искусства и техники.

Работа М. Сыркина «является теоретической частью курса введения в историческое изучение пластических искусств»,— и в этом плане должна быть признана явно несостоятельной. Мало того — она просто неграмотна. То, что обычно мы понимаем под искусством и что Сыркин называет почему-то «художественным искусством», имеет, по его мнению, целью «разнообразное психологически напряженное «высокое» самоудовлетворение духа собственною деятельностью, духовное наслаждение, извлекаемое из своего или чужого «художественного» творчества» (стр. 7). Далее мы читаем такие определения: «Художественные» искусства преследуют художественные же цели; однако по разным весьма веским причинам они порою могут прислоняться и к целям «практическим»... К «прислоняющимся» автор относит, например, архитектуру, «производящую главным образом «красивые» неподвижные сооружения, по своей дороговизне экономически вынуждающие приспособлять их к разным, в сущности посторонним искусству целям, что, однако, не совсем невыгодно и с «эстетической» стороны» (стр. 9). Такой же наивной неграмотностью отличаются и другие определения — живописи, стиля и т. п. Автор утверждает существование «технического» стиля наряду с историческим, ибо «в технике... суть и душа искусства». Но обзор этих «технических стилей» ограничивается поверхностным рассказом о некоторых технических приемах разных видов искусства. Вот как, например, объясняет автор переход от фрески к станковой картине: «Время, между тем, стало тянуться к новым стилистическим образованиям — именно в сторону расширения пространственного захвата, для чего понадобились более деликатные процессы». Деликатность, оказывается, и повлекла за собой станковизм. Цветная гравюра, по мнению М. Сыркина, вызвана «внехудожественным чувством тщеславия и завидующего равенства, наивно ищущего удовлетворения в суррогате».

Если ко всему этому прибавить рассуждения о «лучших наивных временах» ремесленничества, о «едином... человеческом духе» и т. п., — то характер труда Сыркина определится с полной ясностью. Автор не понимает проблемы, им самим поставленной, и его «введение» в историю искусства наполнено анекдотическими рассуждениями по поводу искусства, рассуждениями столь же неверными, сколько наивными.

Стилистическая небрежность автора должна быть особо отмечена: едва ли можно говорить: «интерес упадает», «уразноображение», и едва ли нужны определения вроде «скалодолбильный троглодитный стиль» и т. п.

Совсем иной характер имеет работа Топоркова. Проблема взаимоотношения искусства и техники в условиях индустриальной действительности поставлена достаточно остро.

В основном книга строится на противопоставлении двух мировоззрений и стилей — романтического и индустриально-технического. «Наиболее враждебна техническому искусству эстетика романтизма» — таков главный тезис А. К. Топоркова.

Это противопоставление могло бы иметь некоторую оправданность, если б данные категории брались в их историко-социальной обусловленности и определенных границах. Однако автор толкует их слишком широко и внеконкретно. И если еще квалификация эстетики романтизма, как мелкобуржуазной, по своему классовому

существу, враждебной индустриализму, в ряде моментов приемлема (хотя и не в таком широком толковании, как это допускает автор), то толкование эстетики последнего, как вырастающей из самой техники, из «технического быта», а не из классовой природы крупного капитала — явно недостаточно. Казалось бы, кто сказал **а**, должен сказать и **б**. Но автор избегает этой последовательности. Классовые основы эстетики индустриализма и урбанизма, конструктивистических теорий он не вскрывает. «Новые эстетические требования обусловлены новой волей» (стр. 75); «человек является продуктом природы» (стр. 78), «природа... направляет пути искусства» (стр. 257), «стиль... обусловлен формами быта, одеждой, утварью, даже самой походкой людей, их дыханием и жестами» (стр. 241), — таких определений мы могли бы привести из книги Топоркова величайшее множество. Категории природы, быта, воли — как определяющих факторов нового стиля и искусства, — и особенно фетишизация техники, или, вернее сказать, технической оболочки индустриального капитализма, без осознания классовой ее обусловленности — все это является лишь следствием общей непоследовательности автора. Говоря о романтической эстетике, он упоминает об ее классовом эквиваленте (правда, схематично и спорно в ряде отдельных утверждений) и как бы становится на марксистские позиции (что он и оговаривает неоднократно), но, переходя к стилю крупнокапиталистической действительности (а только о нем, в сущности, и идет речь в книге), автор воспринимает его не как классовое явление, а как нечто объективно присущее самой технике, материалу, машине как организму. Здесь он подходит отнюдь не как материалист и диалектик. Он не может, например, объяснить причины сосуществования в Америке двух архитектурных стилей, которые он неправильно ограничивает границами «технического стиля», и «стиля общественных зданий, особняков, школ и пр.». «Если в Америке уживаются как будто мирно два совершенно различных архитектурных стиля, то это может быть объяснено отсутствием каких бы то ни было художественных вкусов в руководящих кругах американского общества» (стр. 189). Это объяснение, конечно, явно идеалистично, и оно отнюдь не является единичным примером для характеристики методологических позиций автора.

«Великий кризис наших дней обусловлен противоречиями, которые возникают из условий нашего быта и из нашей идеологии, запоздалой и привычной к старине» (стр. 146). Быт изменяется под влиянием техники и вступает в противоречие с косной идеологией — вот что движет, по мнению автора, развитие современной культуры и искусства. Здесь налицо дуалистический разрыв материального и идеологического, причем область материального ограничивается техникой и бытом. На самом деле ведущим является противоречие в самом базисе, отражением которого является противоречие в искусстве и остальных надстройках. Но в классовом обществе это противоречие есть прежде всего противоречие классов, а не противоречие быта, техники и сознания, как «всеобщих» категорий.

Автор подходит к вопросу не по-марксистски. В связи с этим интересно отметить, что при анализе «технического быта» (т. е. по существу крупнокапиталистической технической оболочки) автор находит подтверждение своим выводам не в работах классиков марксизма, давших исчерпывающий анализ классовой структуры крупнокапиталистической эпохи, — а в работах апологетов капитала — Форда, Тейлора и др. Последние он берет некритически. Для автора это вполне естественно, ибо, по его мнению, «новая» техника вырастает из природы. И хотя автор иногда говорит об отрицательных чертах капиталистической действительности, — но эти отдельные замечания общего характера не изменяют основной направленности книги. Говоря о том, что развитию технического стиля в современной Европе «общественными условиями» поставлены определенные границы, автор не вскрывает эти условия. Наиболее ясно чувствуется непоследовательность автора в отсутствии ответа на вопрос о характере нового искусства в наших условиях социалистического строительства. В редакционном предисловии к книге оговорена ограниченность постановки проблемы только пределами «чисто

городских форм технического быта», не учитывающая «нашей ориентации на «слияние города с деревней», которым и определяются желательные формы решения эстетико-бытовых проблем социалистического государства, выходящего за пределы капиталистического урбанизма» (стр. 3). Ограниченность «капиталистического урбанизма» в искусстве была хорошо вскрыта Н. И. Бухариным в статье: «На темы дня» («Правда» от 27 мая 1928 г.). Лишь коммунистическая переделка мира уничтожает противоречия между городом и деревней, и с этой точки зрения «одинаково односторонни и ограниченный урбанизм и «абсолютное» отрицание урбанизма, «принципиальные» противники пейзажа и абсолютные сторонники «урбанизма» повинны в том, что они стремятся застыть на уровне «ограниченного городского животного». Принципиальные противники «урбанизма» обязательно защищают — volens nolens — деревенскую «изолированность и обособление» (Бухарин).

На позиции «ограниченного» урбанизма, фетишизирующего машину, остается и А. К. Топорков, не вскрывший классовой обусловленности и ограниченности «технического быта» в условиях капитализма и не поставивший как следует вопрос о том принципиальном отличии, которое имеет в этом смысле социалистическая эпоха, тем самым он не вышел еще за пределы того «конструктивизма» и «производственничества» западноевропейского типа, которые являются прямым следствием крупнокапиталистического мировоззрения, достигшего больших результатов в критике мелкобуржуазного, «романтического» сознания и эстетика, но не достигшего еще ступени «самокритики», не вышедшего за пределы классово-ограниченного. Апелляция к законам самой техники, материала, «природы» — характерная для представителей этих течений, является основой и в работе Топоркова.

Вместе с тем нельзя не согласиться, что книга имеет значение «ценного дискуссионного материала» (предисловие), — тем более, что дискуссия по этим вопросам совершенно неизбежна. Но принимая книгу в качестве ценного дискуссионного материала, базируемого на достаточно богатом конкретном материале, отмечая заслуженную остроту постановки вопроса и ряд вполне приемлемых частных положений, — мы не можем согласиться с основной направленностью работы и, прежде всего, с ее методологией. Проблема, поставленная Топорковым, разрешена им неправильно с точки зрения марксистского диалектического метода.

А. Михайлов.

Список книг, полученных редакцией на отзыв с 1 по 31 марта 1929 г.

Госиздат.

Глазман Б., На волоске, новеллы, перевод с еврейского Кисина М., стр. 153, ц. 1 р. 10 к.

Персов С., Ржаной хлеб, сборник рассказов, авторизированный перевод с еврейского Ляховицкой-Рипс Л. С., стр. 179, ц. 1 р. 30 к.

Нечуй-Левицкий Н., Бурлачка, перевод с украинского Опанасенко, стр. 191, ц. 1 р. 40 к.

Авербах Л. (редакция), Творческие пути пролетарской литературы, стр. 303, ц. 2 р. 25 к.

Мицкевич Адам, Избранные произведения, переводы русских поэтов, вступительные статьи Луначарского А. и Виноградова А., стр. 313, ц. 2 р.

Конструктивисты, Литературный центр, Бизнес, сборник, стр. 257, ц. 3 р. 25 к.

Госиздат Украины.

Юрезанский, Вл., Костры, повесть, стр. 334, ц. 2 р. 75 к.

Госиздат Белоруссии.

Сборник, Западная Белоруссия на скамье подсудимых, стр. 261, ц. 1 р. 50 к.

« Федерация ».

Смирнова А. О., Записки, дневник, воспоминания, письма. Статьи и примечания Крестовой Л. В., под редакцией Цявловского М. А., стр. 448, ц. 2 р. 50 к., пер. 25 к.

Тальников Д., Гул времени (литература и современность), сборник, стр. 309, цена 2 р. 50 к., пер. 25 к.

Лонар А., Преступное ремесло, перевод с французского Пирятинской А. П., роман, стр. 236, ц. 1 р., пер. 20 к.

Соловьев Борис, Лирический репортаж, стихи 1926—1928 гг., стр. 78, ц. 70 к., пер. 15 к.

Щеголев П. Е., Алексеевский равелин, книга о падении и величии человека, 376 стр., ц. 3 р. 50 к., пер. 25 к.

Волькенштейн В., Драматургия, сборник, стр. 271, ц. 2 р. 40 к., папка 25 к.

Горбов Д., Поиски Галатеи, сборник, стр. 297, ц. 2 р. 40 к.

Замятин Евг., Островитяне, рассказы, стр. 323, ц. 1 р.

Новиков Ив., Последние усадьбы, сборник рассказов, стр. 251, ц. 1 р. 85 к., папка 25 к.

« Земля и фабрика ».

Золя Эмиль, Добыча, Полное собрание сочинений, т. II, роман, перевод с французского Загуляева Ю. М., стр. 414, ц. 2 р. 20 к.

Его же, Нана, Полное собрание сочинений, т. IX, роман, перевод с французского Ириновой Т., стр. 564, ц. 2 р. 75 к.

Кучкин А., Чеверев, повесть, стр. 174, ц. 1 р. 35 к.

Дмитриев Т., Зеленая зыбь, роман, стр. 344, ц. 2 р. 50 к.

Миндлин Эм., На «Красине», повесть о днях красинского похода, стр. 278, ц. 2 р. 50 к.

Стивенсон Р., Остров сокровищ, роман, перевод с английского Зенкевича, стр. 296, ц. 1 р.

Зозуля Ефим, Эпоха, Собрание сочинений, т. III, стр. 278, ц. 2 р. 20 к.

Федорович Вит., Огрехи, сборник рассказов, стр. 198, ц. 1 р. 60 к.

Скворцов М., Закрайщина, роман, стр. 355, ц. 2 р. 40 к.

Демидов Алексей, Жизнь Ивана, повесть, стр. 320, ц. 2 р.

Ширяев Петр, Гульба, роман, стр. 208, ц. 1 р. 50 к.

Касаткин Иван, Мужик, сборник рассказов, стр. 204, ц. 2 р.

Коломейцев Ан., Ущелье дьявола, роман, стр. 268, ц. 1 р. 75 к.

Громов М., За крестами, повесть, стр. 165, ц. 1 р. 35 к.

Алексеев М., Зеленая радуга, роман, стр. 258, ц. 2 р. 65 к.

Березовский Феоктист, Бабьи тропы, роман, стр. 396, ц. 2 р. 80 к.

Борецкая Мария, На переломе, роман, стр. 396, ц. 2 р. 80 к.

Петрова Т., На горячей земле, сборник рассказов, стр. 167, ц. 1 р. 25 к.

Дрейзер Теодор, Двенадцать американцев, перевод с английского Волосова Марка, предисловие Динамова С., стр. 434, ц. 2 р. 50 к.

Верн Жюль, Джаганда, роман, Южная звезда, роман, перевод с французского под редакцией и с примечаниями Полтавского С. П. и с предисловием Фатова Н., стр. 444, ц. 2 р. 60 к.

Купер Фенимор, Шпион, роман, Полное собрание сочинений, т. I, стр. 223, ц. 1 р. 25 к.

Его же, Зверобой, роман, Полное собрание сочинений, стр. 232, ц. 1 р. 35 к.

«Земля и фабрика», альманах № 4, стр. 349, ц. 2 р. 50 к.

Франс Анатоль, Перламутровый ларец, Колодец святой Клары, романы, ц. 1 р. 65 к.

« Прибой ».

Кетлинская Вера, Натка Мичурина, повесть, стр. 215, ц. 1 р. 25 к.

Васильев Иван, Бубны-козыри, повесть, стр. 310, ц. 2 р. 20 к.

Тынянов Юрий, Смерть Вазир-Мухтара, роман, стр. 545, ц. 4 р. 50 к.

Струг Андрей, Миллион кассира Спеванкевича, роман, стр. 355, ц. 1 р. 50 к.

Лайцен Линард, Взывающие корпуса, перевод с латышского Сильмана Э. Я., стр. 231, ц. 1 р. 50 к.

Асеев Н., Работа над стихами, сборник, стр. 165, ц. 1 р. 25 к., пер. 18 к.

Верейский Г., Наши современники, русские писатели, десять автолитографий.

«Academia».

Мериме Проспер, Мозаика, рассказы, Собрание сочинений с предисловием Смирнова А., стр. 188, ц. 75 к.

Шмит Ф. И., Музейное дело, Государственный институт истории искусств, вопросы экспозиции, стр. 246, ц. 2 р. 50 к.

Медведев, П. М., Театральные мемуары, воспоминания, под редакцией и с предисловием Кугеля А. Р., стр. 358, ц. 1 р. 50 к.

« Красная газета ».

Рабочая литгруппа, альманах № 3, стр. 131, ц. 1 р.

Воронова Любовь, На 81° северной широты, стр. 80, ц. 50 к.

Шекспир, Отелло, Собрание сочинений, книга вторая, перевод Вейнберга П., стр. 165, приложение.

« Советская энциклопедия ».

Силищенский М. И., проф., Географический атлас, часть первая, редакция Баранского Б. Н. и Каменского В. А., ц. 4 р. 50 к.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО РСФСР

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

ТВОРЧЕСКИЕ ПУТИ ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Второй сборник статей под ред. Л. Авербаха

М.—Л. 1929. Стр. 304. Ц. 2 р. 25 к.

Содержание. Ю. Либединский. Художественная платформа РАППа. А. Фадеев. Столбовая дорога пролетарской литературы. Л. Авербах. Противники ли мы психологизма. В. Ермилов. О творческом лице пролетарской литературы. А. Фадеев. Против верхоглядства. И. Гроссман-Рощин. Преступление и наказание. Л. Авербах. „Долой Плеханова" (куда растет школа Воронского).

Имеется в продаже первый сборник статей. Стр. 141. Ц. в/п. 1 р. 20 к.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Под ред. А. Луначарского и Вал. Полянского

ТОМ ПЕРВЫЙ

М.—Л. 1929. Стр. 332. Ц. 3 р.

Содержание. Предисловие. А. Луначарский. Русская критика от Ломоносова до предшественников Белинского. Н. Рожков. Тридцатые—сороковые годы. П. Коган. Н. А. Полевой. П. Коган. Н. И. Надеждин. Вал. Полянский. В. Г. Белинский. В. Фриче. Вал. Майков. Н. Рожков. Пятидесятые годы. Н. Бельчиков. П. В. Аненков, А. В. Дружинин и С. С. Дудышкин. В. М. Фриче. Ап. Григорьев. Именной указатель.

СМИРНОВА, А. О.

ЗАПИСКИ, ДНЕВНИК, ВОСПОМИНАНИЯ, ПИСЬМА

Со статьями и примеч. Л. В. Крестовой.

Под ред. М. А. Цявловского

М. „Федерация" 1929. Стр. 448. Ц. 2 р. 50 к., в пер. 2 р. 75 к.

Л. Крестова. Предисловие. А. О. Смирнова. Биографический очерк Л. Крестовой. А. О. Смирнова. Записки.—Дневник.—Воспоминания о Жуковском и Пушкине.— Записки о Гоголе.— Воспоминания о Гоголе. Из переписки А. О. Смирновой с В. А. Жуковским. Приложения.

ТАЛЬНИКОВ, Д.

ГУЛ ВРЕМЕНИ. ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

М. „Федерация" 1929. Стр. 310. Ц. 2 р. 50 к., в пер. 2 р. 75 к.

Содержание. „Гершензоновская Москва". Гул времени. (О „Зависти" Ю. Олеши). Трагедия уединенной личности („Братья" К. Федина и „Записки поэта" И. Сельвинского). Интеллигенция и революция (О „Пушторге"). „Наши за границей". О новейшей поэзии. Поэт несовершенных возможностей.

ГОРБОВ, Д.

ПОИСКИ ГАЛАТЕИ

Статьи о литературе.

М. „Федерация" 1929. Стр. 298. Ц. 2 р. 40 к., в пер. 2 р. 60 к.

Содержание. Поиски Галатеи. Галатея или купчиха. В защиту эстетики. Под резцом „марксистской" метафизики. А. Фадеев. Оправдание зависти (об Олеше). Леонид Леонов. Человек на ловитве (о Вл. Лидине). А. Куприн. Леонид Андреев. М. Горький. О злободневном. Записки благонамеренного. О Лефе. Человек и его нутро. От героики к повседневности. Пролетарская новь.

ВОЛЬКЕНШТЕЙН, В.

ДРАМАТУРГИЯ

Метод исследования драматических произведений

Издание 2-е, дополн. М. „Федерация" 1929.

Стр. 272. Ц. 2 р. 40 к., в пер. 2 р. 65 к.

Содержание. Драматический процесс. Общая конструкция драмы. Конструкция драматической сцены. Конструкция драматической реплики. Ритм. Характеристика. Драма и трагедия. Комедия и фарс. Смысл драматического произведения. Массовые сцены. Закон драматургии. Драма как изображение рефлекса цели. Судьба драматического произведения. Приложение – Конструктивные черты русской драмы 1917—1920 гг.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ И КИОСКАХ ГОСИЗДАТА

1 р. 75 к.

ГОСИЗДАТ РСФСР

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ПОД РЕДАКЦИЕЙ: В. ВАСИЛЬЕВСКОГО, В. ИВАНОВА, С. КАНАТЧИКОВА, Ф. РАСКОЛЬНИКОВА и В. ФРИЧЕ.

КРАСНАЯ НОВЬ

В 1929 г. в журнале „Красная новь" будут напечатаны.

Вс. Иванов. Новый роман „Кремль" и „Повесть о неизвестном солдате".
К. Федин. Рассказ „Старик".
М. Горький. Отрывки из 3-й части трилогии „Сорок лет" („Жизнь Клима Самгина").
Ив. ольнов. Рассказ „Орел".
Б. Пильняк. Повесть „Пименовский переулок".
Юрий Олеша. Повесть „Нищие".
В. Катаев. Повесть „Судьба героя" и др.

В 1929 г. в журнале „КРАСНАЯ НОВЬ" предполагаются к напечатанию новые произведения:

Глеба Алексеева. ★ А. Аросева. ★ Вл. Бахметьева. ★ Андрея Белого. ★ С. Буданцева. ★ Ивана Вольнова. ★ Ф. Гладкова. ★ В. Дмитриева. ★ С. Заяицкого. ★ Вс. Иванова. ★ В. Каверина. ★ А. Караваевой. ★ В. Катаева. ★ С. Клычкова. ★ М. Кольцова. ★ Б. Лавренева. ★ Леонида Леонова. ★ Ю. Либединского. ★ Вл. Лидина. ★ Н. Ляшко. ★ Х. М. Мугуева. ★ С. Малашкина. ★ Н. Никитина. ★ Г. Никифорова. ★ Л. Никулина. ★ А. Новикова-Прибоя. ★ Ив. Новикова. ★ Ю. Олеши. ★ П. Павленко. ★ Б. Пильняка. ★ А. Платонова. ★ П. Романова. ★ С. Семенова. ★ А. Серафимовича. ★ С. Сергеева-Ценского. ★ М. Слонимского. ★ А. Толстого. ★ Ю. Тынянова. ★ А. Фадеева. ★ К. Федина. ★ А. Яковлева и др.

Поэмы и стихи: П. Антокольского. ★ Н. Асеева. ★ Э. Багрицкого. ★ А. Безыменского. ★ С. Городецкого. ★ А. Жарова. ★ В. Инбер. ★ В. Ильиной. ★ В. Казина. ★ В. Кириллова. ★ С. Кирсанова. ★ С. Обрадовича. ★ П. Орешина. ★ Б. Пастернака. ★ П. Радимова. ★ Вс. Рождественского. ★ И. Садофьева. ★ Г. Санникова. ★ В. Саянова. ★ М. Светлова. ★ И. Сельвинского. ★ М. Тарловского. ★ Н. Тихонова. ★ Н. Ушакова и др.

В научно-публицистическом и литературно-критическом отделах журнала принимают участие:

И. Анисимов. ★ Д. Аранович. ★ Беспалов. ★ И. Бороздин. ★ А. Вубнов. ★ Н. Бухарин. ★ Вл. Васильевский. ★ Б. Волин. ★ С. Гусев. ★ А. Дивильковский. ★ Ив. Ежов. ★ А. Енукидзе. ★ С. Ингулов. ★ М. Калинин. ★ С. Канатчиков. ★ П. Керженцев. ★ Феликс Кон. ★ Н. Крупская. ★ И. Кубиков. ★ П. Лебедев-Полянский. ★ А. Лозовский. ★ А. Луначарский. ★ Д. Ма ильский. ★ И. Маца. ★ В. Молотов. ★ Н. Осинский. ★ Г. Поспелов. ★ Ф. Раскольников. ★ С. Розенталь. ★ Ф. Ротштейн. ★ Д. Рязанов. ★ М. Савельев. ★ А. Свидерский. ★ И. Сталин. ★ Ю. Стеклов. ★ А. Стецкий. ★ Д. Тальников. ★ В. Фриче. ★ А. Халатов. ★ Г. Чичерин. ★ Г. Якубовский. ★ Ем. Ярославский и др.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на год—16 р., на 6 мес.—9 р., на 3 м.—4 р. 50 к.
Отдельный номер—1 р. 75 к.

ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ: Москва, центр, Ильинка, 3, Периодсектор Госиздата, тел. 4-87-19; Ленинград, пр. 25 Октября, 28, Ленотгиз, тел. 5-48-0 в отделения, магазины и киоски Госиздата, уполномоченным, снабженным специальн и удостоверениями, во все киоски Всесоюзного контрагентства печати, во все почтово-телеграфные конторы, а также письмоносцам.